



М. И. Р. О. Д. К. А. Я. — К. Д. А. С. О. В. Н. И. К. А.

Д. ЛОНДОН



Маргарита Еден

- [Джек Лондон](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [Глава 36](#)
- [Глава 37](#)
- [Глава 38](#)
- [Глава 39](#)
- [Глава 40](#)
- [Глава 41](#)
- [Глава 42](#)
- [Глава 43](#)
- [Глава 44](#)
- [Глава 45](#)
- [Глава 46](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
-

Джек Лондон
Мартин Иден

Он отпер дверь своим ключом и вошел, а следом, в смущении сдернув кепку, шагнул молодой парень. Что-то в его грубой одежде сразу же выдавало моряка, и в просторном холле, где они оказались, он был явно не к месту. Он не знал, куда девать кепку, стал было засовывать ее в карман пиджака, но тот, другой, отобрал ее. Отобрал спокойно, естественно, и парень, которому тут, видно, было не по себе, в душе поблагодарил его. «Понимает, – подумал он. – Поможет, все обойдется».

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещьцу с низкой каминной полки. Он шарахался то вправо, то влево и лишь умножал опасности, что мерещились ему на каждом шагу. Между роялем и столом посреди комнаты, на котором громоздились книги, могли бы пройти шестеро в ряд, он же пробирался с опаской. Могучие ручки болтались по бокам. Он не знал, куда их девать, вдруг в страхе отпрянул, точно испуганная лошадь, – вообразил, будто сейчас свалит груду книг на столе, и едва не наскочил на вращающийся табурет перед роялем. Он заметил, какая непринужденная походка у того, впереди, и впервые осознал, что сам ходит совсем не как все прочие люди. И на миг устыдился своей неуклюжести. На лбу выступили капельки пота, он остановился, отер загорелое лицо платком.

– Обождите, Артур, дружище, – сказал он, пытаясь прикрыть тревогу шутливым тоном. – У меня аж голова кругом пошла. Надо ж мне набраться храбрости. Сами знаете, не желал я идти, да и вашему семейству, смекаю, не больно я нужен.

– Ничего-ничего, – ободряюще сказал Артур. – Незачем нас бояться. Мы самые обыкновенные люди. Э, да мне письмо!

Он отошел к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая гостю опомниться. И гость понял и в душе поблагодарил хозяина. Был у него дар понимания, проникновения; и хотя чувствовалось, что ему сейчас отчаянно не по себе, дар этот ни на минуту не изменил ему. Он опять вытер лоб, осмотрелся, и теперь лицо уже было спокойно, только взгляд настороженный, словно у дикого зверя, когда он чует ловушку. Оказавшись в незнакомом окружении, со страхом думая, что же будет дальше, он не понимал как себя здесь вести, ощущал, что ходит и держится неуклюже, боялся, что каждое его движение, и сама его сила отдает все той же неуклюжестью. Был он на редкость чуток, безмерно застенчив, и затаенная усмешка во взгляде Артура, брошенном поверх письма резанула его как ножом. Он заметил этот взгляд, но виду не подал, ибо в ту науку, которую он превзошел, входило и умение владеть собой. Взгляд, этот ранил его гордость. Он клял себя за то, что пришел и, однако, решил, что, уж раз пришел, будь что будет, отступать он не намерен. Лицо стало жестче, глаза сверкнули воинственно. Все примечая, он спокойнее огляделся по сторонам, и в мозгу отпечатались каждая мелочь красивого убранства этой комнаты. Ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда, широко раскрытые глаза вбирали окружающую красоту, и воинственный блеск в них уступал место теплоте сиянию. Он всегда чутко отзывался на красоту, а тут было на что отозваться.

Его внимание приковала картина, писанная маслом. Могучий прибой с грохотом разбивается о выступ скалы, мрачные грозовые тучи затянули небо, а вдали, за линией прибоя, на фоне грозного закатного неба – лоцманский бот в крутом повороте, он накренился, так что видна каждая мелочь на палубе. Была здесь красота, и она влекла неодолимо. Парень позабыл о своей неуклюжей походке, подошел ближе, совсем близко. И красота исчезла. На лице его

выразилось замешательство. Он смотрел во все глаза на эту, как ему теперь казалось, неряшливую мазню, потом отступил на шаг. И полотно вновь ослепило красотой. «Картина с фокусом», – подумал он разочарованно, однако среди множества захлестнувших его впечатлений кольнула досада: такую красоту принесли в жертву фокусу. Живопись была ему неведома. Прежде он только и видел олеографии да литографии, а они всегда четки и определены, стоишь ли рядом или смотришь издали. Правда, в витринах магазинов он видел и картины, писанные маслом, но стекло не давало всмотреться в них поближе.

Он оглянулся на приятеля, читающего письмо, и увидел на столе книги. В глазах тотчас вспыхнула тоскливая зависть и жадность, точно у голодного при виде пищи. Враскачку он двинулся к столу и вот уже любовно перебирает книги. Скользит глазами по названиям, по именам авторов, выхватывает обрывки текста, – ласкает том за томом и руками и взглядом, – но лишь одну книгу он когда-то читал. Остальные книги и писатели незнакомы. Ему попался том Суинберна, и он начал читать подряд, стихотворение за стихотворением, и забыл, где он, и щеки у него разгорелись. Дважды он закрывал книгу и, придерживая страницу пальцем, еще раз смотрел имя автора. Свинберн! Надо запомнить. У этого малого глаза на месте, он все видел как надо – и цвет и сверкающий свет. Кто же такой этот Свинберн? Давным-давно помер, как почти все поэты? Или еще живой, пишет? Он поглядел на титульный лист. Да, у Свинберна есть и другие книги. Что ж, утром первым делом надо сходить в библиотеку, разжиться его книжицами. Парень опять погрузился в чтение и забыл обо всем на свете. Он не заметил, что в комнату вошла молодая женщина. Опомнился, лишь услышав слова Артура:

– Руфь, это мистер Иден.

Он закрыл книгу, заложил указательным пальцем и, еще прежде чем обернуться, ощутил радостное волнение – не от знакомства с девушкой, но от слов ее брата. В этом мускулистом парне таилась безмерно ранимая чуткость. Стоило внешнему миру задеть какую-то струну в его сознаний – и все мысли, представления, чувства тотчас вспыхнут, запляшут, точно трепетное пламя. Был он на редкость восприимчив и отзывчив, а живое воображение не знало покоя в беспрестанном поиске подобий и различий. «Мистер Иден» – вот что радостно поразило его, ведь всю жизнь его звали Иден. Мартин Иден или просто Мартин. И вдруг, «мистер»! Это кое-что да значит, отметил он про себя. Память мигом обратилась в громадную камеру-обскуру, и перед его внутренним взором заскользили нескончаемой вереницей картины пережитого – кочегарки и кубрики, стоянки и причалы, тюрьмы и кабаки, тифозные бараки и трущобы, и одновременно раскручивалась нить, воспоминаний – как называли его при всех этих поворотах судьбы.

А потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных картин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с облаком золотистых волос и одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Он не заметил, что на ней надето, знал только, что одежда была такая же поразительная, как она сама. Хрупкий золотистый цветок на тоненьком стебле. Нет, дух, божество, богиня – земля не могла породить такую возвышенную красоту. Или, выходит, книги не врут, и в высших сферах и впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот малый Свинберн. Видать, когда писал про ту деву, Изольду из книжки со стола, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это он увидел, почувствовал; подумал в одно мгновение. А меж тем все шло своим чередом. Девушка протянула руку и, прямо глядя ему в глаза, просто, будто мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до сих пор встречал, жмут руку по-другому. Да по правде сказать, мало кто из них здоровается за руку. Поток воспоминаний, картин – как он знакомился с женщинами – хлынул, грозя его захлестнуть. Но он отмахнулся от них и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему знакомы совсем другие женщины! И тотчас подле Руфи, по обе стороны, выстроились женщины, которых он знал. Бесконечно долгое

мгновенье стоял он посреди какой-то портретной галереи, где царила она, а вокруг расположилось множество женщин, и всех надо было окинуть беглым взглядом и оценить, и непреложной мерой была она. Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц и бойкие, ухмыляющиеся девчонки из кварталов к югу от Маркетстрит. Скотницы с ферм и смуглые мексиканки с неизменной сигаретой в углу рта. Их вытеснили японки с кукольными личиками, жеманно переступающие ножками в туфельках на деревянной подошве; евразийки с нежными лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, увенчанные цветами женщины Южных морей. А потом всех заслонила нелепая чудовищная толпа – неряхи и распустехи, слоняющиеся на панелях Уайтчепеля, опухшие от джина ведьмы из гнусных притонов и все непристойные, сквернословящие исчадия ада, гарпии в ужасающем женском обличье, которые охотятся на матросов, портовая грязь и нечисть, распоследние отребья и отбросы человечества.

– Присядьте, мистер Иден, – говорила меж тем девушка. – Я давно хотела с вами познакомиться, с тех самых пор, как Артур нам рассказал. Вы поступили так мужественно...

Он протестуяще махнул рукой, пробормотал, мол, чего он такого особенного сделал, всяк на его месте поступил бы так же. Она заметила, что рука, которой он махнул, покрыта свежими подживающими ссадинами, взглянула на другую, опущенную руку – то же самое. Кинула и еще быстрый оценивающий взгляд, заметила на щеке шрам, другой виднеется из-под волос на лбу, и еще один уходит под крахмальный воротничок. Она подавила улыбку, заметив красную полосу на бронзовой шее – натерло воротничком. Не привык, видно, к жестким воротничкам. Своим женским глазом увидела она и его костюм – дешевый, неизящный крой, на плечах морщит и на руках тоже – выпирают бицепсы.

Отмахиваясь и бормоча, мол, ничего такого он не сделал, он подчинился ей, решил, надо где-то сесть. Успел восхититься непринужденностью, с какой села она, и направился к креслу напротив, подавленный сознанием собственной неуклюжести. Ощущение это было ему внове. Всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, он и знать не знал ловкий он или неуклюжий. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Он опасливо сел на краешек кресла, мучительно гадая, куда девать руки. Как ни положи, все они не на месте. Артур пошел к двери, и Мартин Иден проводил его тоскующими глазами. Один на один в комнате с этим бледным неземным созданием он совсем растерялся. Ни тебе бармена – заказать выпивку, ни какого ни то мальчонки – послать за угол за банкой пива, и таким вот приятным образом свести знакомство.

– У вас шрам на шее, мистер Иден, – заговорила девушка.

– Как это случилось? Наверно, вы пережили какое-нибудь приключение.

– Один мексиканец полоснул, – ответил он, облизнул запекшиеся губы и прокашлялся. – Драка у нас была. Нож-то я у его выдернул, а он чуть не откусил мне нос.

Сказал он скупой, а перед глазами возникло красочное видение – знойная звездная ночь в Салина-Крус, белая полоса песчаного берега, огни грузовых пароходов в гавани, приглушенные расстоянием голоса пьяных матросов, толпятся портовые грузчики, разъяренное лицо мексиканца, звериный блеск глаз при свете звезд, и сталь впивается в шею, фонтан крови. Толпа, крики, два сцепившихся в схватке тела, его и мексиканца, перекатываются опять и опять, взрывают песок, а откуда-то издали томный звон гитары. Все это встало перед глазами, и трепет воспоминания охватил его – интересно, как бы все это получилось у того парня, который нарисовал шхуну там на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов – вот бы здорово, а в середине, на песке, темная гурьба зевак вокруг дерущихся. И чтоб нож как следует виден, блестит в свете звезд. Но всего этого было не угадать по его скупым словам.

– Мексиканец чуть не откусил мне нос, – только и сказал он в заключение.

– О-о! – выдохнула Руфь чуть слышно будто издалека, и на ее чутком личике выразился

ужас.

Тут и его опалило жаром, сквозь загар на щеках слегка проступила краска смущения, ему же показалось, будто щеки жжет, как перед открытой топкой в кочегарке. Видать, не положено говорить с порядочной девушкой об эдаких подлостях, о поножовщине. В книгах люди вроде нее про такое не говорят, а может, ничего такого и не знают.

Оба молчали, разговор, едва начавшись, чуть не оборвался. Потом она сделала еще одну попытку, спросила про шрам на щеке. И еще не договорила, а он уже сообразил, что она старается говорить на понятном ему языке, и положил, наоборот, разговаривать на языке, понятном ей.

– Случай такой взошел, – сказал он, потрогав щеку. – Ночью дело было, вдруг заштормило, сорвало гик, потом тали, гик проволочный, хлещет по чему попало, извивается будто змея. Вся вахта старается изловить, я кинулся, ну и схлопотал.

– О-о! – произнесла она на сей раз так, будто все поняла, хотя на самом деле это была для нее китайская грамота, и она представления не имела ни что такое «гик», ни что такое «схлопотал».

– Этот парень, Свинберн, – начал он, желая переменить разговор, как задумал, но коверкая имя.

– Кто?

– Свинберн, – повторил он с той же ошибкой. – Поэт.

– Суинберн, – поправила Руфь.

– Вот-вот, он самый, – пробормотал Мартин, вновь залившись краской. – Он давно умер?

– Да разве он умер? Я не слыхала, – Она посмотрела на него с любопытством. – Где ж вы с ним познакомились?

– В глаза его не видал, – был ответ. – Прочитал вот его стихи из той книжки на столе, перед тем как вам войти. А вам его стихи нравятся?

И она подхватила эту тему, заговорила быстро, непринужденно. Ему полегчало, он сел поудобнее, только сжал ручки кресла, словно оно могло взбрыкнуть и сбросить его на пол. Он сумел направить разговор на то, что ей близко, и она говорила и говорила, а он слушал, старался уловить ход ее мысли и дивился, сколько всякой премудрости уместилось в этой хорошенькой головке, и упивался нежной прелестью ее лица. Что ж, мысль ее он улавливал, только брала досада на незнакомые слова, они так легко слетали с ее губ, и на непонятные критические замечания и рассуждения, зато все это подхлестывало его, давало пищу уму. Вот она умственная жизнь, вот она красота, теплая, удивительная, такое ему и не снилось. Он совсем забылся, жадно пожирал ее глазами. Вот оно, ради чего стоит жить, бороться, победить... эх, да и умереть. Книжки не врут. Есть на свете такие женщины. И она такая. Он воспарил на крыльях воображения, и огромные сияющие полотна раскинулись перед его мысленным взором, и на них возникали смутные гигантские образы – любовь, романтика, героические деяния во имя Женщины – во имя вот этой хрупкой женщины, этого золотого цветка. И сквозь зыбкое трепещущее видение, словно сквозь сказочный мираж, он жадно глядел на женщину во плоти, что сидела перед ним и говорила о литературе, об искусстве. Он и слушал тоже, но глядел жадно, не сознавая, что пожирает ее глазами, что в его неотступном взгляде пылает само его мужское естество. Но она, истая женщина, хоть и совсем мало знающая о мире мужчин, остро ощущала этот обжигающий взгляд. Никогда еще мужчины не смотрели на нее так, и она смутилась. Она запнулась, запуталась в словах. Нить рассуждений ускользнула от нее. Он, пугал ее, и, однако, оказалось до странности приятно, что на тебя так смотрят. Воспитание предостерегало ее об опасности, о дурном, коварном, таинственном соблазне; инстинкты же ее победно звенели, понуждая перескочить через разделяющий их кастовый барьер и завоевать

этого путника из иного мира, этого неотесанного парня с ободранными руками и красной полосой на шее от непривычки носить воротнички, а ведь он явно запачкан, запятнан грубой жизнью. Руфь была чиста, и чистота противилась ему; но притом она была женщина и тут-то начала постигать противоречивость женской натуры.

– Да, так вот... да, о чем же я? – она оборвала на полуслове и тотчас весело рассмеялась над своей забывчивостью.

– Вы говорили, этому... Суинберну не удалось стать великим поэтом, потому как... а дальше. не досказали, мисс, – напомнил он, и вдруг внутри засосало вроде как от голода, а едва он услышал, как она смеется, по спине вверх и вниз поползли восхитительные мурашки. Будто серебро, подумал он, будто серебряные колокольца зазвенели; и вмиг на один лишь миг его перенесло в далекую-далекую землю, под розовое облачко цветущей вишни, он курил сигарету и слушал колокольца островерхой пагоды, зовущие на молитву обутых в соломенные сандалии верующих.

– Да... благодарю вас, – сказала Руфь. – Суинберн потерпел неудачу потому, что ему все же не хватает... тонкости. Многие его стихи не следовало бы читать. У истинно великих поэтов в каждой строке прекрасная. правда и каждая обращена ко всему возвышенному и благородному в человеке. У великих поэтов ни одной строки нельзя опустить, каждая обогащает мир.

– А по мне, здорово это, что я прочел, – неуверенно сказал Мартин, – прочел-то я, правда, немного. Я и не знал какой он... подлюга. Видать, это в других его книжках вылезает.

– И в этой книге, которую вы читали, многие строки вполне можно опустить, – строго, наставительно сказала Руфь.

– Видать, не попались они мне, – объяснил Мартин. – Я чего прочел, стихи что надо. Прямо светится да сверкает, у меня аж все засветилось в нутре, вроде солнце зажглось, не то прожектор. Зацепил он меня, хотя, понятно, я в стихах не больно смыслю, мисс.

Он запнулся, неловко замолчал. Он был смущен, мучительно сознавал, что не умеет высказать свою мысль. В прочитанном он почувствовал огромность жизни, жар ее и свет, но как передать это словами? Не смог он выразить свои чувства – и представился себе матросом, что оказался темной ночью на чужом корабле и никак не разберется ощупью в незнакомом такелаже. Ладно, решил он, все в его руках, надо будет освоиться с этим новым окружением. Не случилось еще такого, чтоб он с чем-то не совладал, была бы охота, а теперь самое время захотеть выучиться говорить про то, что у него внутри, да так, чтоб она поняла. В мыслях его Руфь заслонила полмира.

– А вот Лонгфелло... – говорила она.

– Ага, этого я читал, – перебил он, спеша выставить в лучшем виде свой скромный запас знаний о книгах, желая дать понять, что и он не вовсе темный, – «Псалом жизни», «Эксцельсиор» и... все вроде.

Она кивнула и улыбнулась, и он как-то ощутил, что улыбнулась она снисходительно... жалостливо-снисходительно. Дурак он, чего полез хвастать ученостью. У этого Лонгфелло скорей всего книжек пруд пруди.

– Прошу прощенья, мисс, зря я встрял. Сдается мне, я тут мало чего смыслю. Не по моей это части. А только добыюсь я, будет по моей части.

Прозвучало это угрожающе. В голосе слышалась непреклонность, глаза сверкали, лицо стало жестче. Руфи показалось, у него выпятился подбородок, придавая всему облику что-то неприятно вызывающее. Но при этом ее словно обдало хлынувшей от него волною мужественности.

– Я думаю, вы добьетесь, это будет по... по вашей части, – со смехом закончила она. – Вы такой сильный.

Ее взгляд на миг задержался на его мускулистой шее, бронзовой от загара, с грубыми жилами, прямо бычьей, здоровье и сила переливались в нем через край. И хотя он смущенно краснел и робел, ее снова потянуло к нему. Нескромная мысль внезапно поразила ее. Если коснуться этой шеи руками, можно впитать всю его силу и мощь. Мысль эта возмутила девушку. Будто вдруг обнаружилась неведомая ей дотоле порочность ее натуры. К тому же физическая сила в ее глазах – нечто грубое, вульгарное. Идеалом мужской красоты для нее всегда была изящная стройность. И однако мысль оказалась упорной. Откуда оно, желание обхватить руками загорелую шею гостя, недоумевала она. А суть в том, что сама она была отнюдь не крепкая, и тело ее и душа тянулись к силе. Но она этого не знала. Знала только, что ни разу в жизни ни один мужчина никогда не волновал ее так, как этот, который то и дело возмущал ее своей чудовищно безграмотной речью.

– Верно, я не хилый, – сказал он. – Меня с копыт не скovyрнешь, я и гвозди жевать могу. А вот сейчас никак не переварю, чего вы говорите. Не по зубам мне. Не учили меня этому. Книжки я люблю, и стихи тоже, и читаю всякую свободную минутку, а только по-вашему отродясь про них не думал. Потому и толковать про них не умею. Я вроде как штурман – занесло невесть куда, а ни карты, ни компаса нету. Надо мне сориентироваться. Может, укажете, куда держать путь? Вы-то откуда узнали все это, про что рассказывали?

– В школе, вероятно, и вообще училась, – ответила она.

– Несмысленным и я в школу ходил, – возразил было Мартин.

– Да, но я имею в виду среднюю школу, и лекции, и университет.

– В университете учились? – откровенно изумился он. Теперь она стала еще недостижимей, ее отнесло по крайней мере еще на миллион миль.

– И сейчас учусь. Слушаю специальный курс английской филологии.

– Что такое «английская филология», он не знал, подумал, и тут он невежда, и принялся спрашивать дальше:

– Стало быть, сколько мне надо учиться, чтоб дойти до университета?

Она улыбнулась, одобряя такую тягу к знаниям.

– Это зависит от того, сколько вы учились до сих пор, – сказала она. – В старшие классы вы не ходили? Нет, конечно. Ну а восемь классов кончили?

– Нет, в седьмой уже не пошел, – ответил он. – Но из класса в класс переходил с отличием.

И тут же обозлился на себя за похвальбу и так яростно вцепился в ручку кресла, даже кончикам пальцев стало больно. И в эту минуту в дверях появилась какая-то женщина. Девушка встала и стремительно пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обняв друг друга за талию, направились к нему. Мамаша, видать, подумал он. Была она высокая, светловолосая, стройная, осанистая и лицом красивая. Платье как раз под стать дому. Глаз радуется, такое оно складное да нарядное. И сама и платье – прямо как на сцене. А потом он вспомнил, сколько раз стоял и глазел, как входят в лондонские театры такие вот важные разряженные дамы, и сколько раз полицейские выталкивали его из крытой галереи на морозящий дождь. И сразу же воспоминания перенесли к Гранд-отелю в Иокогаме, там с обочины тротуара он тоже видал таких важных дам. Теперь перед глазами замелькали бесчисленные картины самого города Иокогамы и тамошней гавани. Но угнетенный тем, что ему сейчас предстояло, он постепенно погасил калейдоскоп памяти. Он знал, надо встать, тогда тебя познакомят, и неловко поднялся с кресла, и вот он стоит – брюки на коленях пузыряются, руки нелепо повисли, лицо напряглось в ожидании неизбежной пытки.

До столовой он добирался точно в страшном сне. Останавливался, спотыкался, его шатало, кидало из стороны в сторону, казалось, ему вовек не дойти. Но наконец он все-таки вступил в столовую, и его посадили подле Нее. Его испугала целая выставка ножей и вилок. Они оцетинились, предвещая неведомые опасности, и он заворуженно уставился на них, пока на их слепящем фоне не двинулись чередой новые картины матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, раздирая ее складными ножами и руками, или выдавшими виды оловянными ложками черпали из жестяных мисок густой гороховый суп. В ноздри била вонь от тухлого мяса, в ушах отдавалось громкое чавканье едоков, и чавканью вторил треск обшивки и жалобный скрип переборки. Он смотрел, как едят матросы, и решил, что едят они, как свиньи. Да, здесь надо поосторожней. Чавкать он не будет. Надо быть начеку.

Он обвел глазами стол. Напротив сидели Артур с братом Норманом. Ее братья, напомнил он себе, и они сразу показались ему славными ребятами. Как любят друг друга в этой семье! Ему вновь представилась встреча Руфи с матерью – вот они поцеловались, вот идут к нему обнявшись. В его мире таких нежностей между родителями и детьми не увидишь. Ему открылось, каких жизненных высот достиг мир, стоящий выше того, где обретается он. Это – самое прекрасное из того немногочисленного, что уловил здесь его беглый взгляд. Он был глубоко тронут, и нежность, рожденная пониманием, смягчила сердце. Всю свою жизнь он жаждал любви. Любви требовало все его существо. Так уж он был устроен. И однако жил без любви и мало-помалу ожесточался. И даже не знал, что нуждается в ней. Не знал и теперь. Лишь увидел ее воочию, и откликнулся на нее, и подумал, как это прекрасно, возвышенно, замечательно.

Он радовался, что здесь нет мистера Морза. Ему и так нелегко знакомиться с этим семейством – с ней, с ее матерью, с братом Норманом. Артура он уже кое-как знал. А знакомиться еще с отцом – это уж было бы слишком. Казалось, никогда еще он так тяжело не работал. Рядом с этим самый каторжный труд – просто детская игра. На лбу проступила испарина, рубашка взмокла от пота – таких усилий требовал весь этот незнакомый обиход. Приходилось делать все сразу: есть непривычным манером, управляться с какими-то хитроумными предметами, поглядывать исподтишка по сторонам, чтобы узнать, как с чем обращаться, впитывать все новые и новые впечатления, мысленно оценивать их и сортировать, и притом он ощущал властную тягу к этой девушке, тяга становилась неясным, мучительным беспокойством. Жгло желание стать вровень с нею в обществе, и опять и опять сверлила мысль, каким бы способом ее завоевать, и возникали в сознании смутные планы. А еще, когда он украдкой взглядывал на сидящего напротив Нормана или на кого-нибудь другого, проверяя, каким ножом или вилкой надо сейчас орудовать, черты каждого запечатлевались в мозгу, и невольно он старался разобраться в них, угадать, – что они для нее. Да еще надо было что-то говорить, слушать, что говорят ему и о чем перебрасываются словами остальные, и, когда требовалось, отвечать, да следить, как бы с языка по привычке не слетело что-нибудь неприличное. Он и так и замешательстве, а тут в придачу еще лакей, непрестанная угроза, зловещим сфинксом бесшумно вырастает за спиной, то и дело загадывает загадки и головоломки и требует немедленного ответа. С самого начала трапезы Мартина угнетала мысль о чашах для ополаскивания пальцев. Ни с того ни с сего он поминутно спохватывался, когда же их подадут и как их признать. Он слышал про такой обычай и теперь, оказавшись за столом в этом благородном обществе, где за едой ополаскивают пальцы, он уж бесприменно, вот-вот, рано или поздно увидит эти самые чаши, и ему тоже надо будет ополоснуть пальцы. Но всего важнее было решить, как вести себя здесь, мысль эта глубоко засела в мозгу и, однако, все время

всплывала на поверхность. Как держаться? Непрестанно, мучительно бился он над этой задачей. Трусливая мыслишка подсказывала притвориться, кого ни то из себя разыграть, другая, еще трусливей, остерегала – не по плечу ему притворяться, не на тот лад он скроен и только выставит себя дураком.

Он маялся этими сомнениями всю первую половину обеда, и оттого был тише воды, ниже травы. И не подозревал, что своей молчаливостью опровергает слова Артура, – тот накануне объявил, что приведет к обеду дикаря, но им бояться нечего – дикарь презанятный. В тот час Мартин Иден нипочем бы не поверил, что брат Руфи способен на такое предательство, да еще после того, как он этого брата вызволил из довольно скверной заварушки. И он сидел за столом в смятении, что он тут не к месту, и притом зачарованный всем, что происходило вокруг. Впервые в жизни он убедился, что можно есть не только лишь бы насытиться. Он понятия не имел, что за блюда ему подавали. Пища как пища. За этим столом он насыщал свою любовь к красоте, еда здесь оказалась неким эстетическим действием. И интеллектуальным тоже. Ум его был взбудоражен. Здесь он слышал слова, значения которых не понимал, и другие, которые встречал только в книгах,

– никто из его окружения, ни один мужчина, ни одна женщина, даже произнести бы их не сумели. Он слушал, как слова эти слетают с языка у любого в этой удивительной семье – ее семье, – и его пробирала дрожь восторга. Вот оно необыкновенное, прекрасное, полное благородной силы, про что он читал в книгах. Он был в том редком, счастливом состоянии, когда видишь, как твои мечты гордо выступают из потаенных уголков фантазии и становятся явью.

Никогда еще жить не возносила его так высоко, и он старался оставаться в тени, слушал, наблюдал, радовался и сдержанно, односложно отвечал: «Да, мисс» и «Нет, мисс» – ей и «Да, мэм» и «Нет, мэм» – ее матери. Отвечая ее братьям, он обуздывал себя, – по моряцкой привычке с языка готово было слететь «Да, сэр», «Нет, сэр». Так не годится, это все равно что признать, будто ты их ниже, а если хочешь ее завоевать, это нипочем нельзя. Да и гордость в нем заговорила. "Право слово,

– в какую-то минуту сказал он себе, – ничуть я не хуже ихнего, ну, знают они всего видимо-невидимо, подумаешь, мог бы и я их кой-чему поучить". Но стоило ей или ее матери обратиться к нему «мистер Иден», и, забыв свою воинственную гордость, он сиял и таял от восторга. Он культурный человек, вот так-то, он обедает за одним столом с людьми, о каких прежде только читал в книжках. Он и сам будто герой книжки, разгуливает по печатным страницам одетых в переплеты томов.

Но пока он сидел там – вовсе не дикарь, каким описал его Артур, а кроткая овечка, – он упрямо думал да гадал, как же себя повести. Был он отнюдь не кроткая, овечка, и роль второй скрипки, никогда не подошла бы этой благородной, сильной натуре. Говорил он, лишь когда от него этого ждали, и говорил примерно так, как шел в столовую: спотыкался, останавливался, подыскивая в своем многоязычном словаре нужные слова, взвешивая те, что явно годятся, но боязно – вдруг неправильно их произнесешь, – отвергая другие, которых здесь не поймут, или они прозвучат уж очень грубо и резко. И непрестанно угнетало сознание, что из-за этой осмотрительности, мешающей оставаться самим собой, он выглядит олухом. Да еще вольнолюбивый нрав теснили эти жесткие рамки, как теснили шею крахмальные оковы воротничка. Притом он был уверен, что все равно сорвется. Природа одарила его могучим умом, остротой чувств, и неугомонный дух его не знал покоя. Внезапно им овладевал какой-либо замысел или настроение и в муках стремились выразиться и обрести форму, и, поглощенный ими, он забывал, где он, и с языка слетали привычные слова, те самые, из которых всегда состояла его речь.

И когда за плечом у него опять возник докучливый слуга и, прервав его раздумья, настойчиво что-то предложил, Мартин сказал коротко, резко:

– Пау.

За столом все тотчас выжидательно насторожились, чопорный лакей злорадствовал, а Мартин едва не сгорел от стыда. Но тут же нашелся. И объяснил:

– Это по-канакски «хватит», само сорвалось. Пишется: «П-а-у».

Он уловил любопытство в задумчивом взгляде Руфи, устремленном на его руки, и, войдя во вкус объяснений, сказал:

– Я только-только сошел на берег с одного тихоокеанского почтового. Он опаздывал, и в портах залива Пюджет мы работали, грузили как проклятые смешанный фрахт – вы, верно, не знаете, каково это. Оттого и шкура содрана.

– Да нет, я не об этом думала, – в свою очередь поспешила объяснить Руфь. – У вас кисти кажутся не по росту маленькими.

Щеки его вспыхнули. Он решил, она обличила еще один его изъян.

– Да, – с досадой согласился он. – Слабоваты они у меня. Руки, плечи – ничего, как видно, силища бычьего. А дам кому в зубы, гладишь, и себе кулак разобью.

И сразу пожалел о сказанном. Стал сам себе противен. Распустил язык. Не к месту это, здесь так нельзя.

– Какой вы молодец, что пришли на помощь Артуру, заступились за незнакомого человека, – тактично перевела она разговор – она заметила, что он расстроен, хотя и не поняла почему. А он понял, что она сказала это по доброте, горячая волна благодарности поднялась в нем, и опять он забыл, что надо выбирать слова.

– Чепуха! – сказал он. – Тут бы всякий за парня вступился. Эти бандюги перли на рожон, Артур-то к ним не лез. Они на него накинулись, а уж я – на них, накостылял будь здоров. Тогда и шкуру на руках ободрал, зато зубы кой-кому повышибал. Нипочем не прошел бы мимо. Я как увижу....

Он замолк с открытым ртом, едва не выдав, какая же он мерзкая тварь, едва не показав, что попросту недостоин дышать с ней одним воздухом. И пока Артур, подхватив рассказ, в двадцатый раз расписывал свою встречу с пьяными хулиганами на пароме и как Мартин Иден кинулся в драку и спас его, сам спаситель, нахмутив брови, размышлял о том, какого сейчас свалял дурака, и отчаянней прежнего бился над задачей, как же себя вести среди этих людей. Нет, у него явно ничего не получается. Он не их племени и языка их не знает, так определил он для себя. Подделываться под них он не сумеет. Маскарад не удастся, да и не по нем это – рядиться в чужие одежды. Притворство и хитрости не в его натуре. Будь что будет, а надо оставаться самим собой. Говорить на их языке он еще не умеет, но ничего, научится. Это он решил твердо. А пока, чем играть в молчанку, станет разговаривать как умеет, только малость поприличней, чтоб понимали и не больно возмущались. А еще не станет он, хотя и молча, делать вид, будто в чем смыслит, если на самом деле не смыслит. Так он порешил, и, когда братья, заговорив про университетские занятия, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин спросил:

– А это чего такое «триг»?

– Тригонометрия, – сказал, Норман. – Высший раздел матики.

– А матика это чего? – последовал новый вопрос, и все засмеялись – на этот раз виной тому был Норман.

– Математика... арифметика, – последовал ответ.

Мартин кивнул. Ему приоткрылись беспредельные горизонты познания. Все, что он видел, становилось для него осязаемым. При редкостной силе его воображения даже отвлеченное

обретало ощутимые формы. В мозгу совершалась некая алхимия, и тригонометрия, математика, сама область знаний, которую они обозначали, обратилась в красочную картину. Мартин увидел зелень листвы и прогалины в лесу – то в мягком полумраке, то искрящиеся на солнце. Издалека очертания были смутны, затуманены сиреневой дымкой, но за сиреневой этой дымкой ждало очарование неведомого, прелесть тайного. Он словно хлебнул вина. Впереди – приключения, дело и для ума и для рук, мир, который надо покорить, и вмиг из глубин сознания вырвалась мысль: покорить, завоевать для нее, этой воздушной, бледной, точно лилия, девушки, что сидит рядом.

Мерцающее видение было разъято на части, рассеяно Артуром, который весь вечер пытался заставить своего дикаря разговориться. Мартин Иден помнил о принятом решении. Он стал наконец самим собой, поначалу сознательно и расчетливо, но вскоре увлекся – и радостно творил, воссоздавал перед глазами слушателей ту жизнь, какую знал, какую жил сам. Вот он матрос на контрабандистской шхуне «Алкиона», перехваченной таможенным катером. Он смотрел тогда во все глаза и теперь может рассказать, что видел. И он, рисует перед слушателями беспокойное море, к суда, и моряков. Он передает им свою зоркость, и все, что видел он, они увидели наконец его глазами. Как истинный художник, отбирает он самое нужное из множества подробностей и набрасывает картины жизни, пламенеющие светом и яркими красками, и наполняет их движением, захватывая слушателей потоком буйного красноречия, вдохновения, силы. Минутами их отпугивала беспощадная обнаженность его рассказа, грубоватая речь, но жестокость тотчас сменялась красотой, а трагедия смягчалась юмором, и перед ними открывались прихотливые повороты и причуды моряцкой природы.

Он рассказывал, а Руфь не сводила с него изумленных глаз. Его жар разогревал ее. Неужели до сих пор она всегда жила в холоде, думалось ей. Хотелось прислониться к этому горящему ярким пламенем неистовому человеку, в ком, точно в вулкане, бурлили силы, энергия, здоровье. Так тянуло прислониться к нему, что она с трудом подавила в себе это желание. Но было в ней и другое желание – отшатнуться. Внушали отвращение и эти исполосованные шрамами, потемневшие от тяжелой работы руки, будто в них въелась сама грязь жизни, и красная полоса, натертая воротничком, и могучие бицепсы. Его грубость отпугивала. Каждое грубое слово оскорбляло слух, а грубость его жизни оскорбляла душу. И все равно опять и опять к нему тянуло, и наконец подумалось: наверно, есть в нем какая-то злая сила, иначе откуда у него эта власть над ней. Все, во что она твердо верила, вдруг стало зыбким. Его необыкновенные приключения и постоянный риск сокрушали условности. Он так легко встречает опасности, так беззаботно смеется в лицо невзгодам, что кажется, жизнь вовсе не требует серьезных усилий и сдержанности, она – игрушка, которой можно забавляться, вертеть на все лады, беспечно порадоваться ей, а потом беспечно отбросить. «Так играй же! – кричало что-то в Руфи. – Прислонись к нему, раз хочется, обхвати обеими руками его шею!» Возмутительная, безрассудная мысль, но напрасно Руфь напоминала себе, что сама она воплощение чистоты и культуры и обладает всем, чего у него нет. Она огляделась и увидела, что все остальные смотрели на него точно зачарованные; Руфь пришла бы в отчаяние, не заметь она в глазах матери ужаса, смешанного с восхищением, но все-таки ужаса. Этот человек явился из тьмы и несет в себе зло. Мать понимает это, и значит, это правда. И она доверится суждению матери, как доверялась всегда и во всем. Его огонь уже не грел, и страх перед ним не пронизывал душу.

Позднее, за фортепьяно, она играла для него, наперекор ему, играла с вывозом, смутно желая подчеркнуть, как неодолима разделяющая их пропасть. Она обрушила на него музыку, словно беспощадные удары дубиной по голове, и музыка ошеломила его, подавила, но и подхлестнула. Он смотрел на девушку с благоговением. Как и она, ощущал, что пропасть между ними ширится, но еще того быстрее в нем росло стремление преодолеть эту пропасть. Однако

слишком чуткий, слишком впечатлительный, не мог он просидеть весь вечер, уставившись в эту пропасть, да еще когда звучит музыка. Он был необычайно восприимчив к музыке. Словно алкоголь, она воспламеняла его чувства, словно наркотик – подхлестывала воображение и возносила над облаками. Она изгоняла низменную прозу жизни, затопляла душу красотой, возвышала, у него вырастали крылья. Той музыки, что играла Руфь, он не понимал. Совсем по-другому барабанили по клавишам в дансингах и ревела медь духовых оркестров, а ничего, иного он не слышал. Но в книгах что-то попадалось о такой вот музыке, и игру Руфи он принимал больше на веру, поначалу терпеливо ожидая певучей мелодии, ясного, простого ритма, озадаченный тем, что ритмы, постоянно менялись. Вот он как будто уловил мелодию, расправил крылья воображения, а она тут же тонет в сумбуре враждующих звуков, которые ничего ему не говорят и возвращают на землю его утратившее легкость воображение.

В какую-то минуту ему подумалось, уж не хочет ли она оттолкнуть его этой музыкой. Он ощутил ее неприязнь и пытался разгадать, что же твердят ее пальцы, летая по клавишам. Потом отмахнулся от этой мысли, недостойной, невозможной, и уже свободней отдался музыке. В нем пробуждалась прежняя чудесная окрыленность. Тело стало невесомым, и весь он – дух, уже не прикованный к земле; и в нем и вокруг разливалось ослепительное сияние; а потом все окружающее исчезло, его подхватило и он, качаясь, взмыл над миром, над бесконечно дорогим ему миром. Перед глазами теснились несчетные яркие картины, в них смешалось знакомое и незнакомое. Он входил в неведомые гавани омытых солнцем земель, бродил по базарам меж дикарей, каких еще никто никогда не встречал. Он вдыхал ароматы пряных островов, как бывало теплыми безветренными ночами в море или длинными тропическими днями, он лавировал в полосе юго-восточных пассатов среди увенчанных пальмами коралловых островков, утопающих в бирюзовом море позади и всплывающих в бирюзовом море впереди. Картины эти возникали и исчезали, быстрые как мысль. Вот верхом на необузданном скакуне он летит по сказочно расцвеченным пустынным просторам Аризоны; а через миг уже глядит сквозь мерцающий жар вниз, в Долину Смерти, в гроб повапленный, или плывет на веслах по стынущему океану, где высятся и сверкают под солнцем громады ледяных островов. Он лежит на коралловом атолле, где кокосовые пальмы подступают вплотную к воркующему прибою. Голубоватым пламенем горят останки давным-давно потерпевшего крушение корабля, и в отсветах женщины танцуют хулу, и раздаются варварские любовные клики певцов, поющих под звон укулеле и грохот тамтамов. Чувственная тропическая ночь. Вдалеке, среди звезд темнеет кратер какого-то вулкана. Над головой плывет бледный лунный серп, и низко в небе горит Южный Крест. Мартин был точно арфа: все, что он в жизни узнал и что стало его сознанием, было струнами, а нахлынувшая на него музыка – ветром, бьющим в струны, и струны отзывались воспоминаниями и грезами. Он не просто чувствовал. Ощущения облекались в форму, цвет, сияние, а воображение, разыгрываясь, дерзко воплощало их в нечто возвышенное, волшебное. Прошое, настоящее, будущее смешались; и Мартина несло, покачивая, по необъятному теплему миру через доблестные приключения и благородные дела, к Ней и с Ней, да, с Ней, и он завоевывал ее, и, обхватив одной рукой, влек в полет через королевство своей души.

И Руфь, глянув через плечо, увидела отблески этого на его лице. Лицо преобразилось, огромные глаза сияли на нем, и сквозь завесу звуков созерцали трепетный пульс жизни, исполинские видения; созданные самим его духом. Она поразилась. Грубый нескладный невежа исчез. Плохо сшитое платье, руки в ссадинах, обожженное солнцем лицо остались, но казались теперь тюремной решеткой, из-за которой глядит великая душа, безмолвная, бессловесная, оттого что не умеет выразиться вслух. То было мимолетное озарение, в следующий миг Руфь опять увидела перед собой неотесанного парня и посмеялась над прихотью своей фантазии. Но

что-то от этого мимолетного впечатления осталось. И когда Мартину пришла пора уходить и он стал неуклюже прощаться, она дала ему почитать том Суинберна и еще Браунинга

– слушая курс английской литературы, она занималась Браунингом. Он благодарил, краснея и запинаясь, и таким казался мальчишкой, что волна жалости поднялась в ней, жалости неодолимой, поистине материнской. Она уже не помнила ни неотесанного парня, ни плененную душу, и мужчину, под чьим по-мужски жадным взглядом ей стало сладко и страшно. Сейчас перед ней был просто мальчишка. Шершавой, заскорузлой рукой он жал ей руку и говорил запинаясь:

– Самый замечательный день в жизни. Я... это... не привык я к такому...– Он беспомощно огляделся. – К таким вот людям, к домам... В новинку мне это... и нравится.

– Надеюсь, вы еще навестите нас, – говорила Руфь, пока он прощался с братьями.

Он нахлобучил кепку, смущенно, враскачку шагнул за дверь и исчез.

– Ну, что ты о нем скажешься – тотчас спросил Артур.

– Необыкновенно интересен... Будто свежим ветром подуло, – ответила она. – Сколько ему лет?

– Двадцать... почти двадцать один. Я его сегодня спрашивал. Мне-то казалось, он много старше.

«А я на три года старше», – думала она, целуя братьев и желая им спокойной ночи.

Мартин Иден спускался по ступеням, а рука сама сунулась в карман пиджака. Вынырнула с коричневой рисовой бумагой и щепоткой мексиканского табаку, искусно свернула сигарку. Он глубоко затянулся и медленно, неспешно выдохнул клуб дыма. – Черт побери! – громко сказал он с благоговейным изумлением. – Черт побери! – повторил он. И еще раз пробормотал: «Черт побери!» Потом рука потянулась к воротничку, он сорвал его и сунул в карман. Моросил холодный дождик, а Мартин обнажил голову, расстегнул жилет и зашагал враскачку, как ни в чем не бывало. Он едва замечал, что дождит. Восторженно грезил наяву, перебирал в мыслях все только что пережитое.

Наконец-то он встретил Женщину – он не часто думал об этом прежде, не склонен он был думать о женщинах, но такую ждал и смутно надеялся рано или поздно встретить. Сидел с ней рядом за столом. Жал ей руку, глядел ей в глаза и на миг увидал в них прекрасную душу... но нет, не прекраснее глаз, в которых светилась душа, не прекраснее плоти, в которую душа облечена. О плоти он не думал, и это для него было внове, ведь женщины, которых он знал прежде, вызывали в нем только плотские желания. А вот о ее плоти почему-то так не думалось. Словно тело ее не такое, как у всех – бренное, подвластное недугам. Нет, оно не просто оболочка души. Оно – порождение души, чистое и благодатное воплощение ее божественной сути. Ощущение божественности ошеломило его. Спугнуло мечты и отрезвило его. Никогда прежде не воспринимал он ни слов, ни указаний, ни намеков на божественное. Никогда он в божественное не верил. Он всегда был неверующим, всегда добродушно подсмеивался над судовыми священниками и их разговорами о бессмертии души. За гробом жизни нет, возражал он, живешь здесь, сегодня, а потом

– вечная тьма. Но вот в глазах девушки он увидел душу, бессмертную душу, которая не может умереть. Никогда еще никто, ни мужчина, ни женщина, не заставил его задуматься о бессмертии. Только она пробудила эту мысль в первый же миг, первым взглядом. И вот он идет, и перед глазами чуть светится ее лицо, бледное и серьезное, милое и чуткое, улыбается милосердно и нежно, как способна улыбаться лишь фея, и такой оно сияет чистотой, какую он и вообразить не мог. Чистота эта сразила его, точно удар. И испугала. Он знал и добро и зло, но даже не подозревал, что жизни может быть присуще чистота. А теперь, в ней, он постиг чистоту как высшее воплощение доброты и непорочности, которые вместе составляют жизнь вечную.

И тотчас возникло честолюбивое желание тоже достичь вечной жизни. Он и воды-то этой девушке поднести недостоин, это уж точно; неслыханная удача, сказочное везенье позволили ему увидеть ее в этот вечер, сидеть рядом, говорить с нею. Все вышло случайно. Нет здесь его заслуги. Не достоин он такого счастья. Он готов молиться на нее. Теперь он смиренный, кроткий, полон самоуничижения и сознает собственное ничтожество. С таким настроением идут исповедываться грешники. Конечно, он грешен. И как у смиренных и униженных в час покаяния нет-нет да и мелькнет перед глазами блистательная картина их будущего торжества, так и ему приоткрывалось будущее, которого он достигнет, завладев ею. Но что же значит владеть ею, это представлялось туманно, совсем не похоже на то, что он прежде понимал под обладанием. Он возносился на крыльях сумасбродного честолюбия, и вот он уже вместе с ней достигает невообразимых высот, делит с ней мысли, упивается всем, что есть прекрасного и благородного. Ее душой – вот чем он хотел завладеть, стремился к обладанию, очищенному от всего низменного, к свободному единению душ, но додумать это не умел. Не было у него таких мыслей. В сущности, он сейчас вовсе не думал. Чувство возобладало над разумом, и, весь дрожа, трепеща от неведомых доныне ощущений, он блаженно плыл по морю чувствований, где само

чувство, восторженное и одухотворенное, возносилось над высочайшими вершинами жизни.

Он шел шатаясь, точно пьяный, и лихорадочно бормотал:

– Черт подери! Черт подери!

Полицейский на углу с подозрением уставился на него, потом распознал моряцкую походку.

– Где набрался-то? – резко спросил он.

Мартин Иден спустился с небес на землю. Натура у него была подвижная, он быстро ко всему приспосабливался, легко перевоплощался, смотря по обстоятельствам. Услыхав окрик полицейского, мгновенно очнулся, стал самым обыкновенным матросом.

– Вот ловко! – со смехом отозвался он. – Вслух говорю, а самому невдомек.

– Еще немного и запоешь, – определил полицейский.

– Не, нипочем. Дайте-ка огоньку, сяду сейчас на трамвай и домой.

Он закурил, попрощался и пошел своей дорогой.

– Надо же! – тихонько воскликнул он. – Этот обалдуй решил, что я пьяный. – Он улыбнулся про себя и задумался. – И верно, пьяный я, – прибавил он. – Вот не думал, чтоб поглядеть на женское лицо и такое с тобой сделается.

На Телеграф-авеню он сел на трамвай, идущий в Беркли. В вагоне полно было юнцов и молодых людей, они распевали песни, а время от времени хором что-нибудь выкрикивали. Мартин Иден с любопытством, их разглядывал. Студенты университета. Учатся вместе с ней, из того же общества, может, и знакомы с ней, могли бы каждый день с ней видеться, только захоти. А надо же, не хотят, вот ездили куда-то развлекаться, чем бы провести этот вечер с ней, разговаривать с ней, сидеть вокруг нее, и восхищаться, и обожать. Мысль перекинулась на другое. Он заметил одного из толпы – глазки-щелочки, отвислая губа. Дрянный малый, сразу видать. На корабле стал бы трусом, слюнтяем доносчиком, Нет, он, Мартин Иден, куда как лучше. При этой мысли он повеселел. Будто стал ближе к Ней. И начал сравнивать себя с этими студентами. Ощутил свое сильное мускулистое тело, – да, он наверняка покрепче будет. А вот головы ихние набиты знаниями, и они могут разговаривать с ней на ее языке. Осознав это он пришел в уныние. Но мозги-то у нас на что? – мысленно воскликнул он. Чего они смогли, то и он сможет. Узнавали про жизнь по книгам, а он-то жил всю по-настоящему. Он тоже много чего знает, только совсем про другое. Есть ли среди них такие, кто, умеет вязать узлы, стоять за штурвалом, на вахте? Жизнь его развернулась перед ним вереницей картин – опасности, риск, лишения, тяжелый труд. Он припомнил свои неудачи, передраги, в какие попадал, пока набирался ума-разума. Уж в этом-то он их превзошел. Рано или поздно им тоже придется зажить подлинной жизнью, и хватить лиха. Очень хорошо. Покуда они будут проходить эту науку, он сможет изучать другую сторону жизни по книгам.

Трамвай пересекал местность, отделявшую Окленд от Беркли, дома здесь были редки, и Мартин глядел в оба, чтоб не прозевать знакомый двухэтажный домик с самодовольной вывеской «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». На углу Мартин Иден сошел. Задержался взглядом на вывеске. Она говорила ему больше, чем сами слова. Буквы и те выдавали самовлюбленное ничтожество, душонку, склонную к мелким подлостям. Бернард Хиггинботем был женат на сестре Мартина, и Мартин Идеи хорошо его изучил. Он отпер дверь своим ключом и поднялся на второй этаж. Здесь обитал его зять. Бакалейная лавка помещалась внизу. В воздухе стоял запах гниющих овощей. Ощупью пробираясь по коридору, Мартин споткнулся об игрушечную коляску, брошенную кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом стукнулся о дверь. «Скряга! – пронеслась мысль. – Скаредничает, грошовую лампочку не зажжет, а квартирантам недолго и шею сломать».

Он нашарил дверную ручку и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и

Хиггинботем. Она латала мужнины брюки, а он, тощий, длинный, развалился на двух стульях, – со второго свешивались ноги в поношенных домашних туфлях. Оторвавшись от газеты, он взглянул поверх нее на вошедшего темными лживыми колючими глазами. При виде зятя в Мартине всегда поднималось отвращение. Никак не понять, что нашла в этом Хиггинботеме сестра. Этакое вредное насекомое, так и подмывает раздавить его ногой. «Ничего, когда-нибудь я еще набью ему морду,» – нередко утешал себя Мартин, вынужденный терпеть его присутствие. Глазки зятя, злобные, точно у хорька, впились в него с неудовольствием.

– Ну, чего еще? – резко спросил Мартин. – Выкладывай.

– Эту дверь красили только на прошлой неделе, – угрожающе и вместе жалобно произнес мистер Хиггинботем. – А ты знаешь, сколько нынче дерут профсоюзники. Ходил бы поосторожней.

Мартин собрался было ответить, да раздумал – что толку связываться. Не задерживаясь взглядом на подлом, мерзком человечешке, он посмотрел на литографию на стене. И поразился. Прежде она всегда нравилась ему, а сейчас будто увидел впервые. Барахло – вот что это такое, как все и этом доме. Мысленно он вернулся в дом, откуда только что ушел, и увидел сперва картины, а потом Ее – пожимая ему руку на прощанье, она глядела на него так славно, по-доброму. Он забыл, где находится, забыл про Бернарда Хиггинботема, пока сей джентльмен не спросил:

– Призрак что ли увидел?

Мартин очнулся, посмотрел в ехидные, свирепые, трусливые глаза-бусинки, и перед ним, как на экране, возникли эти же глаза, когда Хиггинботем продает что-нибудь внизу, в лавке, – подобострастные, самодовольные, масляные и льстивые.

– Да, – ответил Мартин. – Увидел призрак. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гертруда.

Он пошел из комнаты, споткнулся о распоровшийся шов заштопанного ковра.

– Не хлопай дверью, – остерег Хиггинботем.

Мартин бросило в жар, но он сдержался и без стука притворил за собой дверь..

Хиггинботем с торжеством поглядел на жену.

– Напился, – хрипло прошептал он. – Говорил я тебе, малый напьется.

Она покорно кивнула.

– Глаза у него очень блестели, – согласилась она, – и воротничка нету, а уходил в воротничке. Но, может, и всего-то выпил стаканчик-другой.

– Да его ноги не держат, – заявил супруг. – Я-то видел. Идет – спотыкается. Сама слыхала, в коридоре чуть не грохнулся.

– Наверно, об Алисину коляску споткнулся, – сказала она, – В темноте не видать.

В душе Хиггинботем поднимался гнев, и голос он тоже возвысил. Весь день в лавке он был тише воды, ниже травы, дожидаясь вечера, когда среди домашних можно наконец стать самим собой.

– Говорят тебе, твой драгоценный братец пришел пьяный.

Он чеканил слова холодно, резко, безжалостно, точно штамповальная машина. Жена вздохнула и промолчала. Была она крупная, тучная, всегда неряшливо одетая, всегда замученная бременем своей плоти, домашних забот и мужнина права.

– Говорят тебе, сидит это в нем, от папаши унаследовал, – продолжал Хиггинботем тоном обвинителя. – Помрет в канаве, тем же манером. Сама знаешь.

Жена со вздохом кивнула и продолжала шить. Оба не сомневались, что Мартин вернулся пьяный. Не способные воспринять красоту, они не распознали в блестящих глазах и пылающих щеках примет первой юношеской любви.

– Прекрасный пример подает детям, – вдруг фыркнул Хиггинботем, нарушив молчание, его

злила безответность жены. Иногда ему хотелось даже, чтобы она больше ему перечила. – Если еще раз придет выпивший, пускай выметайся. Поняла? Не желаю терпеть его дебоширство, нечего ему пьянством растлевать невинных деток. – Хиггинботему нравилось новое для него слово, недавно вычитанное в газете. – Да, растлевать, вот как это называется.

И опять жена только вздохнула, горестно покачала головой и все продолжала шить. Хиггинботем вернулся к газете.

– А за последнюю неделю он заплатил? – метнул он поверх газетного листа.

Она кивнула, потом прибавила:

– Кой-какие деньжата у него еще есть.

– А когда опять в море?

– Видать, когда спустит все заработанное, – ответила она.

– Вчера в Сан-Франциско ездил приглядеть корабль. Только он еще при деньгах, и разборчивый он, не на всякий корабль станет наниматься.

– Нечего ему, голодранцу задирать нос, – фыркнул Хиггинботем. – Разборчивый нашелся!

– Он чего-то говорил, мол, какая-то шхуна готовится плыть на край света, клад будут искать... если, мол, хватит у него денег дожидаться, поплывет с ними.

– Захотел бы остепениться, я б его взял возчиком, – сказал супруг, но в голосе не было и намека на благожелательность. – Том взял расчет.

На лице жены отразились тревога и недоумение.

– Сегодня, вечером ушел. Нанялся к Карузерам. Они будут ему платить больше, мне это не по карману.

– Говорила я тебе, уйдет он, – воскликнула жена. – Ты мало ему платил, он больше стоит.

– Потихе у меня, – взъелся Хиггинботем. – Тыщу раз тебе говорил, не суйся в мои дела. Дождешься у меня.

– Мне все равно, – она шмыгнула носом. – Том был хороший парнишка.

Супруг свирепо поглядел на нее. Совсем от рук отбилась.

– Не был бы твой братец бездельником, я взял бы его возчиком, – проворчал он.

– За стол и жилье он плати, – возразила она. – И он мне брат, и ничего тебе пока что не задолжал, какое у тебя право бесперечь к нему цепляться. Я ведь тоже не бесчувственная, хоть и прожила с тобой семь лет.

– А сказала ему, пускай бросает читать за полночь, не то будешь брат с него за газ? – спросил Хиггинботем.

Жена не ответила. Бунтарский дух ее сник, задавленный в глубине усталой плоти. Муж торжествовал. Победа осталась за ним. Глаза блеснули, с наслаждением он слушал, как она хлюпает носом. Он упивался, унижая ее, унижить ее теперь куда легче, чем бывало в первые годы супружества, пока орава детворы и вечные мужнины придирки не измотали ее вконец.

– Ну, скажешь завтра, только и делов, – продолжал Хиггинботем. – И вот что, пока не забыл, пошли-ка завтра за Мэриан, пускай посидит с детишками. Тома-то нет, придется самому стать за возчика, а ты, имей в виду, будешь вместо меня в лавке.

– Так ведь завтра у меня стирка, – слабо возразила жена.

– Тогда встань пораньше и сперва постирай. Я до десяти не выеду.

Он злобно зашуршал газетой и опять принялся читать.

Мартин Иден у которого от стычки с зятем все кипело внутри, ощупью пробрался по темному коридору и вошел к себе в крохотную каморку для прислуги, где только и умещались кровать, умывальник да стул. Мистер Хиггинботем из скаредности прислугу не держал – жена и сама справится. К тому же комната прислуги позволяла пускать не одного, а двух квартирантов. Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины одышливо заскрипели под ним, но он не обратил на это внимания. Начал было снимать башмаки, но вдруг уперся взглядом в стену напротив, где на белой штукатурке проступали длинные грязно-бурые пятна – следы протекшего сквозь крышу дождя, и увидел: на этом нечистом фоне то плывут, то вспыхивают видения. Он забыл про башмаки, и смотрел долго-долго, потом губы его дрогнули и он шепнул: «Руфь!»

«Руфь!» Он и помыслить не мог, что обыкновенный звук может быть так прекрасен. Имя это ласкало слух, и Мартин упоенно повторял его: «Руфь!» То был талисман, волшебное слово, заклинание. Стоит прошептать его – и вот уже перед ним мерцает ее лицо, золотым сияньем заливает грязную стену. И не только стену. Оно уплывает в бесконечность, и душа устремляется за ним в эти золотые глубины на поиск ее души. Все лучшее, что было в Мартине, изливалось великолепным потоком. Уже одна мысль о ней облагораживала и очищала его, делала лучше и рождала желание стать лучше. Это было ново. Никогда еще не встречал он женщину, рядом с которой стал бы лучше. Наоборот, все они будили в нем животное. Он этого и не подозревал, но как ни жалок был их дар, многие отдали ему лучшее, что в них было. Никогда не задумываясь о самом себе, он не догадывался, что есть в нем что-то, пробуждающее любовь в женских сердцах, – и потому их так к нему влечет. Женщины часто его добивались, сам же он ничуть их не добивался; и никогда бы не подумал, что благодаря ему иные женщины становились лучше. До сих пор он смотрел на них с беззаботной снисходительностью, а теперь ему казалось, женщины вечно цеплялись за него, тянули вниз своими грязными руками. Было это несправедливо по отношению к ним и к себе. Но, впервые задумавшись о самом себе, он и не мог судить по справедливости, прошлое теперь виделось ему позорным, и он сгорал от стыда.

Он порывисто поднялся и попробовал разглядеть себя в грязном зеркале над умывальником. Провел по зеркалу полотенцем и опять стал себя рассматривать, долго, внимательно. Впервые в жизни он посмотрел на себя по-настоящему. Глаза у него были зоркие, но до этой самой минуты замечали лишь вечно изменчивую картину мира, в который он всматривался так жадно, что всматриваться в себя было уже недосуг. Он увидел голову и лицо молодого двадцатилетнего парня, но, непривычный оценивать мужскую внешность, не понял, что тут хорошо, а что плохо. На широкий выпуклый лоб падают темный каштановые пряди, волнистые, даже чуть кудрявятся – ими восхищалась каждая женщина, каждой хотелось гладить их ласково, перебирать. Но он лишь скользнул по этой гриве взглядом, решив, что в Ее глазах это не достоинство, зато долго, задумчиво разглядывал высокий квадратный лоб, стараясь проникнуть внутрь, понять, хорошая ли у него голова. Толковые ли мозги скрываются за этим лбом – вот вопрос, который сейчас его донимал. На что они способны? Далеко ли они его поведут? Приведут ли к Ней?

Интересно, видна ли душа в этих серо-стальных глазах, часто совсем голубых, вдвойне зорких оттого, что привыкли всматриваться в соленые дали озаренного солнцем океана. И еще интересно, какими его глаза кажутся ей. Он попробовал вообразить, что чувствует она, глядя в его глаза, но фокус не удался. Он вполне мог влезть в чужую шкуру, – но лишь если знал, чем и как тот человек живет. А чем и как живет она? Она чудо, загадка, где уж ему угадать хоть одну ее мысль! Ладно, по крайней мере, глаза у него честные, низости и подлости в них нет.

Коричневое от загара лицо поразило его. Ему и невдомек было, что он такой черный. Он закатал рукав рубашки, сравнил белую кожу ниже локтя, изнутри, с лицом. Да, все-таки он белый человек. Но руки тоже загорелые. Он вывернул руку, другой рукой перекатил бицепс, посмотрел с той стороны, куда меньше всего достает солнце. Рука там совсем белая. Подумал, что бронзовое лицо, отраженное в зеркале, когда-то было таким же белым, и засмеялся: ему и в мысль не пришло, что немного найдется на свете бледноликих фей, которые могли похвастаться кожей светлей и глаже, чем у него, светлей, чем там, где ее не опалило яростное солнце.

Рот был бы совсем как у херувима, если бы не одна особенность его полных чувственных губ: в минуту напряжения он крепко их сжимает. Порою стиснет в ниточку – и рот становится суровый, непреклонный, даже аскетический. У него губы бойца и любовника. Того, кто способен упиваться сладостью жизни, а может ею пренебречь и властвовать над жизнью. Подбородок и нижняя челюсть сильные, чуть выдаются вперед с оттенком той же воинственности. Сила в нем уравнивает чувственность и как бы привносит в нее свежесть, заставляя любить красоту только здоровую и отзываться ощущениям чистым. А меж губами сверкают зубы, которые не ведали забот дантиста и не нуждались в его помощи. Белые зубы, крепкие, ровные, решил Мартин, разглядывая их. И, разглядывая, вдруг забеспокоился. Откуда-то из глубин памяти всплыло смутное впечатление: вроде есть на свете люди, которые каждый день чистят зубы. Люди, что стоят куда выше него, люди ее круга. Наверно, и она каждый день чистит зубы. Что бы она подумала, узнай она, что он отродясь не чистил, зубы? Он непременно купит зубную щетку, будет и у него такая привычка. Завтра же начнет, не откладывая. Одними только подвигами до нее не дотянешься. Придется и в обиходе своем все менять, и зубы чистить, и ошейник носить, хотя надеть крахмальный воротничок для него – все равно что отречься от свободы.

Он все не опускал руку, потирая большим пальцем мозолистую ладонь и разглядывая ее – грязь будто въелась в самую плоть, никакой щеткой не отдерешь. А какая ладонь у нее! Вспомнил и чуть не захлебнулся восторгом. Точно лепесток розы, подумал он; прохладная и нежная, будто снежинка. Вот уж не представлял, что женская рука, всего лишь рука, может быть такой восхитительно нежной... Вообразилось чудо – как она ласкает, такая рука, он поймал себя на этой мысли и виновато покраснел. Слишком грубо, не годится так думать о ней. Такая мысль вроде спорит с возвышенностью ее души. Вся она – хрупкий светлый дух, недостижимый для всего низменного, плотского; и все-таки опять и опять возвращалось это ощущение – ее нежная ладонь в его руке. Он привык к шершавым, мозолистым рукам фабричных девчонок и женщин, занятых тяжелой работой. Что ж, понятно, отчего их руки такие жесткие, но ее ладонь... Она такая нежная оттого, что никогда не знала труда. С благоговейным страхом он подумал: а ведь кому-то незачем работать ради куска хлеба, и между ним и Руфью разверзлась пропасть. Ему вдруг представилась эта аристократия – люди, которые не трудятся. Будто огромный бронзовый идол вырос перед ним на стене, надменный и могущественный. Сам он работал с детства, кажется, даже первые воспоминания связаны с работой, и все его родные работали ради куска хлеба. Вот Гертруда. Руки ее загубели от бесконечной домашней работы и то и дело распухают от стирки, багровеют, точно вареная говядина. А вот другая, его сестра, Мэриан. Прошлым летом она работала на консервном заводе, и ее славные тоненькие ручки теперь все в шрамах от ножей, резавших помидоры. Да еще по суставу на двух пальцах отхватила прошлой зимой резальная машина на картонажной фабрике. В памяти остались загубелые ладони матери, когда она лежала в гробу. И отец работал до последнего вздоха; к тому времени, как он умер, ладони его покрывали мозоли в добрых полдюйма толщиной. А у Нее руки мягкие, и у ее матери, и даже у братьев. Вот это всего поразительней; вернейший, ошеломляющий знак высшей касты, знак того, как бесконечно далека Руфь от него, Мартина.

Горько усмехнувшись, он опять сел на кровать и наконец снял башмаки. Дурак. Опьянел от женского лица, от нежных белых ручек. А потом у него перед глазами, на грязной штукатурке стены, вдруг возникла картина. Он стоит у мрачного многоквартирного дома. Поздний вечер, лондонский Ист-Энд, и подле него стоит Марджи, пятнадцатилетняя фабричная девчонка. Он проводил ее домой после обеда, который раз в году хозяин устраивает для рабочих. Она жила в этом мрачном доме, где и свинье-то не место. Он протянул руку на прощанье. Марджи подставила губы для поцелуя, но он не собирался ее целовать. Почему-то он ее побаивался. И тогда она лихорадочно стиснула его руку. Он почувствовал, какая у нее жесткая мозолистая ладонь, и волна жалости захлестнула его. Он увидел ее тоскливые голодные глаза, истощенное недоеданием почти еще детское тело, пугливо и неистово рванувшееся из детства к зрелости. И он обнял ее с бесконечным состраданием, наклонился и поцеловал в губы. Она негромко радостно вскрикнула и по-кошачьи прильнула к нему. Несчастный заморыш! Мартин все вглядывался в эту картину далекого прошлого. По коже поползли мурашки, как в то вечер когда она приникла к нему и сердце его согрела жалость. Какая серая картина, все склизко серое, и под морозящим дождем склизкие камни мостовой. А потом лучезарное сиянье разлилось по стене, и, заслоня ту картину, проступило, замерцало бледное лицо Руфи в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

Он взял со стула книги – Браунинга и Суинберна – и поцеловал их. «А все равно– она мне сказала прийти опять», – подумал он. Еще раз глянул на себя в зеркало и громко, торжественно произнес:

– Мартин Иден, завтра первым делом пойдешь в библиотеку и считаешь, как полагается вести себя в обществе. Понятно?

Он погасил свет, и под тяжестью его тела заскрипели пружины.

– И еще надо бросить сквернословить, дружище, надо бросить сквернословить, – сказал он вслух.

Он задремал, потом заснул, и такие ему снились диковинные сны, какие может увидеть разве что курильщик опиума.

Наутро он проснулся и после радужных снов очутился в парной духоте, все пропахло мыльной пеной и грязным бельем, сотрясало от дребезжания и скрежета тяжких будней. Выйдя из своей каморки, Мартин услышал хлюпанье воды, резкий окрик, громкую затрепину – это задерганная сестра отвела душу на кем-то из своих многочисленных отпрысков. Вопль малыша пронзил Мартина как ножом. Он ощутил, что все, даже самый воздух, которым он дышит, мерзко, низменно. Как далеко это от красоты и покоя, которыми полон дом Руфи. Там мир духовный, здесь – материальный, и притом низменно материальный.

– Элфрид, поди сюда, – позвал он плачущего малыша и полез в карман брюк за деньгами, он держал их небрежно и тратил с той же легкостью, с какой жил. Сунул мальчонке монету в двадцать пять центов, прижал его на минутку к себе, хотелось унять его слезы.

– А теперь беги, купи леденцов, да смотри поделись с братьями и сестрами. Купи таких, чтоб сосать подольше.

Гертруда подняла разгоряченное лицо от корыта и глянула на него.

– Хватило бы к пятицентовика. Всегда ты так, не знаешь цену деньгам. Теперь малый объестся, живот заболит.

– Ничего, сестренка, – весело возразил Мартин. – Над моими деньгами трястись нечего. Доброе тебе утро, и поцеловал бы, да ты вот занятая.

Быть бы с сестрой поласковее, хорошая она, и по-своему его любит. Но с годами она все больше становится на себя не похожа, бывает, ее не поймешь. Тяжкая работа, куча ребятишек, сварливый муж – наверно, из-за всего этого она так переменялась. И вдруг

– Мартину вообразилось, будто все ее существо вбирает в себя что-то от гниющих овощей, вонючей мыльной воды и замусоленной мелочи, которую она принимает за прилавком.

– Поди позавтракай, – буркнула она, хотя в душе была довольна. Из всего бродячего выводка братьев Мартин всегда был ее любимцем. – И прибавила, вдруг ощутив как что-то дрогнуло в ее сердце: – Дайка-ка я тебя поцелую.

Большим и указательным пальцем она сняла стекающую пену с одной руки, потом с другой. Мартин обхватил ее расплывшуюся талию и поцеловал влажные от жары и пара губы. Ее глаза наполнились слезами – не столько от сильного чувства, сколько от слабости, которую вызывала вечная непосильная работа. Сестра оттолкнула его, но он уже успел заметить ее слезы.

– Завтрак в духовке, – поспешно сказала она. – Джим, должно, уж встал. Я спозаранку на ногах, стирка, у меня. А теперь пошевеливайся и поскорей выметайся. Дома нынче хорошего не жди, Том-то взял расчет, придется Бернарду самому побывать за возчика..

Мартин пошел на кухню, а сердце щемило, распаренное лицо сестры, ее неряшливый вид растравляли душу. Будь у нее на это немного времени, она бы его любила. Но она до полусмерти замучена. Скотина Бернард Хиггинботем, совсем ее загонял. И однако Мартин поневоле почувствовал, что в сестрином поцелуе не было никакой прелести. Правда, то был необычный поцелуй. Уже многие годы Гертруда целовала его, лишь когда он уходил в плаванье или возвращался. Но сегодняшний поцелуй отдавал мыльной пеной, а губы у нее дряблые. Они не прижались к его губам быстро, сильно, как положено в поцелуе. Это был поцелуй усталой женщины, чья усталость копилась так долго, что она разучилась целоваться. Мартин помнил ее девушкой – до того, как выйти замуж, она, бывало, после тяжелого рабочего дня в прачечной ночь напролет танцевала с лучшими танцорами, а наутро прямоком с танцев опять отправлялась в прачечную – и хоть бы что. А потом он подумал о Руфи, у нее, наверно, губы прохладные и нежные, ведь вся она – прохлада и нежность. Должно быть, она и целует, как пожимает руку,

как смотрит на тебя, – бесхитростно, от души. Он осмелился представить, будто ее губы коснулись его губ, да так живо это представил, что у него закружилась голова и показалось, он парит в облаке розовых лепестков и весь пропитался их ароматом.

На кухне он застал Джима, второго квартиранта, тот лениво ел овсяную кашу и смотрел скучливо, отсутствующим взглядом. Он был подручным слесаря, и его слабовольный подбородок, сластолюбие и вместе с тем трусоватая тупость были верным знаком, что в жизни ему не преуспеть.

– Чего не ешь? – спросил он, когда Мартин уныло ковырнул уже простывшую недоваренную кашу. – Опять вчера напился?

Мартин покачал головой. Все, что вокруг, угнетало своим убожеством. Казалось, Руфь Морз теперь от него дальше прежнего.

– А я напился, – беспокойно хихикнув, похвастался Джим. – Набрался под завязку. И девчонка подвернулась первый сорт! Домой меня Билли доставил.

Мартин кивком подтвердил, что слушает – так уж он был устроен – выслушивал всякого, кто бы с ним ни заговорил, – и налил себе чашку чуть теплого кофе.

– В Лотос-клуб на танцы пойдешь вечером? – спросил Джим. – Пиво будет, а если нагрянет компания из Темескала, заварушки не миновать. Мне-то плевать. Все равно поведу свою подружку. Ух, и погано ж у меня во рту!

Он скривился, попытался смыть мерзкий вкус глотком кофе.

– Ты Джулию знаешь?

Марин покачал головой.

– Подружка моя, – объяснил Джим, – пальчики оближешь. Познакомил бы тебя с ней, да боюсь, отобьешь. И чего девчонки к тебе льнут, ей-ей не пойму, а только все они от нас к тебе кидаются, прямо тошно.

– У тебя ни одной не переманил, – равнодушно ответил Мартин. Надо ж как-то досидеть за завтраком.

– Ну да, не переманил, – вскинулся Джим. – А Мэгги?

– Ничего у меня с ней не было. Даже и не танцевал с ней больше, только в тот вечер.

– Во-во, того раза и хватило! – воскликнул Джим, – Станцевал ты с ней да поглядел на нее – крышка. Оно конечно, у тебя на уме ничего такого не было, а она мне сразу от ворот поворот. Больше и не глядит на меня. Знай все про тебя спрашивает. Ты б только захотел, она б тебе живо свиданье назначила.

– Так ведь я не хотел.

– А все едино. Где уж мне с тобой тягаться. – Джим посмотрел на него с восхищением. – И чем это ты их зацепляешь, Март?

– Не сохну по ним, вот чем, – был ответ.

– Прикидываешься, мол, тебе до них и дела нет? – жадно допытывался Джим.

Мартин призадумался, ответил не сразу.

– Пожалуй, и так можно, да сдается, оно по-другому. Мне и правда нет до них дела... почти что. А ты прикинься, глядишь, и подействует.

– Эх, не был ты вчера на танцульке в гараже Райли, – ни с того ни с сего заявил Джим. – Многие ребята сплеховали. Был там один красавчик из Западного Окленда. По кличке Крыса. Такой ловкий. Никто в подметки ему не годился. Мы все жалели, что тебя нет. А где тебя носило?

– Ездил в Окленд, – ответил Мартин.

– Представление глядел?

Мартин отодвинул тарелку и встал.

– Вечером на танцах будешь? – крикнул вдогонку Джим.

– Нет, навряд ли, – ответил Мартин.

Он спустился по лестнице и вышел на улицу, спеша надыхаться. В спертom воздухе квартиры он задышался, а болтовня подручного доводила до бешенства. В иные минуты он еле сдерживался, готов был ткнуть того мордой в тарелку с кашей. Казалось, чем дольше Джим болтает, тем дальше отступает от него Руфь. Как стать достойным ее, когда водишь компанию с такой вот скотиной? Марина ужаснулась огромности встающей перед ним задачи, придавило тяжкое бремя – принадлежность к рабочему люду. Все держит его и не дает подняться – сестра, ее дом и семья, подручный слесаря Джим, все, кого он знает, все, с чем связан самой жизнью. Он ощутил оскомину от жизни, а ведь прежде она радовала, хотя вокруг было все то же. Никогда его не одолевали сомнения, разве только над книгами, так ведь книги они книги и есть, – красивые сказки о сказочном неправдоподобном мире. Но теперь он увидел этот мир, подлинный, самый настоящий, и на вершине его – цветок, женщину по имени Руфь; и с тех пор ему суждена горечь и острая, болезненная тоска и мука безнадежности, тем более жгучие, что питает их надежда.

Он поколебался, в какую читальню пойти, в Берклийскую или Оклендскую, и порешил в Оклендскую, ведь в Окленде живет Руфь. Как знать, вдруг он ее встретит там: библиотека – самое подходящее для нее место. С чего начинать в библиотеке, он не знал и долго бродил между бесчисленными рядами полок с беллетристикой, и наконец девушка, похожая на француженку, с тонкими чертами лица – она, видно, тут распоряжалась, – сказала ему, что списочный отдел наверху. Он не сообразил спросить совета у человека, сидящего там за столом, и отправился путешествовать среди полок с книгами по философии. Про философские книги он слышал, но ему и не снилось что по этой части столько понаписано. Высокие полки с громоздящимися на них увесистыми томами вызывали растерянность и в то же время подзадоривали. Тут было над чем поломать голову. В математическом отделе он увидел книги по тригонометрии, принялся было листать и в недоумении уставился на непонятные формулы и цифры. Он же умеет читать на родном языке, а это какая-то чужая речь. Норману и Артуру она известна. Он слышал ее от них. А ведь они братья Руфи. Он ушел от этих полок в отчаянии. Казалось, книги наступают со всех сторон, сейчас раздавят. Раньше он и не догадывался, что запас человеческих знаний так велик.

Стало страшно. Да разве его мозгу со всем этим совладать? Потом вспомнилось, что есть же люди, и немало, кто с этим совладал; и он шепотом дал себе великую клятву, страстно поклялся, что, раз с этим справились те люди, справится и он, он не глупее других.

Так он бродил там и разглядывал набитые мудростью человечества полки, и уныние то и дело сменялось восторгом. В одном из смешанных отделов он наткнулся на «Конспект Норрье». Он благоговейно переворачивал страницы. Этот язык ему все же сродни. Их роднит море. Потом он увидел «Навигационный справочник» Боудича и книги Лекки и Маршалла. Вот он будет изучать навигацию. Бросит пить, выучится и станет капитаном. В эту минуту ему казалось: Руфь совсем рядом. Став капитаном, он женится на ней (если она пойдет за него). А не пойдет, что ж, благодаря Ей он станет жить достойно и все равно бросит пить. Потом вспомнил про страховые компании и про судовладельцев, и те и другие над капитаном хозяева, и те и другие могут его погубить, а выгода у них прямо противоположная. Он окинул взглядом комнату, десять тысяч книг, и прищурился. Нет, ну его, море. В этом книжном богатстве – силища, и если ему суждены великие дела, он должен совершить их на суше... И потом, капитанам ведь не положено брать с собой в плавание жен.

Наступил полдень, а там день стал клониться к вечеру. Мартин забыл про еду, он рылся в книгах о правилах приличия – ведь не только о том, какое новое дело выбрать, думал он, он

ломал голову и над совсем простым и определенным вопросом. Если познакомился с девушкой из хорошего общества и она пригласила тебя заходить, скоро ли можно зайти? Вот как сложился у него в уме этот вопрос. Обширный свод правил хорошего тона ужаснул его, и он запутался в лабиринте объяснений – как принято у воспитанных людей обмениваться визитными карточками. Он бросил поиски. Он не нашел того, что искал, зато понял, какая прорва времени требуется, чтобы, вести себя как положено воспитанному человеку, и еще понял, что этому учатся с колыбели.

– Нашли, что вам было нужно? – спросил человек за столом, когда Мартин уходил.

– Да, сэр, – ответил он. – Хорошая у вас библиотека.

Тот кивнул.

– Приходите почаще, будем вам рады. Вы моряк?

– Да, сэр, – ответил он. – Еще приду.

И спускаясь по лестнице, с недоумением спросил себя: «А как это он прознал, что я моряк!»

И весь первый квартал шел скованно, прямо, неуклюже, а потом задумался, забылся и зашагал, как всегда, свободно, враскачку.

Ужасное нетерпенье, сродни голоду, обуяло Мартина Идена. Он жаждал вновь увидеть девушку, чьи тоненькие ручки ухватили его жизнь великаньей хваткой. И не мог набраться храбрости и пойти к ней. Боялся, а вдруг прошло еще слишком мало времени и он окажется виноват в страшном нарушении страшной штуки, называемой этикетом. Долгие часы проводил он в Оклендской и Берклийской библиотеках, да притом не только записался туда сам, но записал своих сестер Гертруду и Мэриан и еще Джима, чье согласие получил за несколько кружек пива. Он брал книги по четырем абонементом, и теперь в его каморке допоздна горел свет и мистер Хиггинботем требовал с него за это, лишних пятьдесят центов в неделю.

Он читал уйму книг, и они лишь обостряли его беспокойство. Каждая страница каждой книги была щелкой, позволяющей заглянуть в царство знаний. Чтение разжигало аппетит, и голод усиливался. Притом Мартин не представлял, с чего надо начинать, и постоянно ощущал; насколько ему не хватает знания самых азов. Ссылки на имена и события, которые, как он понимал, должны были быть ясны каждому, ставили его в тупик. Так же было и с поэзией, он читал много стихов и приходил от них в неистовый восторг. Он прочел стихотворения Суинберна, которых не было в томике, полученном от Руфи, и прекрасно понял «Долорес». Но Руфь, конечно же, не поняла, решил он. Где ей понять такое, при ее изысканной жизни? Потом ему попались стихи Киплинга, и его захватила певучесть, ритм, волшебство, в которые тот облакал все привычно знакомое. Его изумило, как тонко этот поэт чувствует жизнь, какой он проницательный психолог. Для Мартина психология была новым словом. Он купил толковый словарь, что нанесло изрядный урон его кошельку и приблизило день, когда придется снова уйти в плавание, чтобы опять заработать денег. К тому же это привело в ярость Хиггинботема, который предпочел бы, чтобы Мартин отдавал свои деньги в уплату за жилье.

Подойти к дому Руфи днем Мартин не решался, зато вечерами рыскал вокруг, точно вор, украдкой поглядывал на окна, ему были милы даже стены, ее жилища. Несколько раз он чуть было не попался на глаза ее братьям, а однажды шел следом за мистером Морзом, на освещенных улицах всматривался в его лицо и при этом всю дорогу мечтал о какой-нибудь внезапной опасности, чтобы можно было кинуться и спасти ее отца. В другой вечер его бдение было вознаграждено – в окне второго этажа мелькнула Руфь. Он увидел только ее голову и плечи и поднятые руки – она поправляла перед зеркалом прическу. То было лишь мгновение, но для Мартина хватило мгновения, – кровь забурила вином и запела в жилах. А потом Руфь опустила штору. Но теперь он знал, где ее комната, и с той поры часто топтался там, в тени дерева на другой стороне улицы, и курил сигарету за сигаретой. Как-то днем он увидел ее мать, та выходила из банка, и он лишний раз убедился, какое огромное расстояние отделяет от него Руфь. Она из тех, кто имеет дело с банками. Он отродясь не был в банке и думал, что подобные учреждения посещают только очень богатые и очень могущественные люди.

В одном отношении с ним произошел нравственный переворот. На него подействовала ее опрятность и чистота, и всем своим существом он теперь жаждал стать опрятным. Это необходимо, иначе он никогда не будет достоин дышать одним с ней воздухом. Он стал чистить зубы, скрести руки щеткой для мытья посуды и, наконец, в аптечной витрине увидел щеточку для ногтей и догадался, для чего она. Он купил ее, а продавец, поглядев на его ногти, предложил ему еще и пилку для ногтей, так что он завел еще одну туалетную принадлежность. В библиотеке ему попалась книжка об уходе за телом, и он тотчас пристрастился обливаться по утрам холодной водой, чей немало удивил Джима и смутил Хиггинботема, который не одобрял подобные новомодные фокусы, но всерьез задумался, не требовать ли с Мартина

дополнительной платы за воду. Следующим шагом были отутюженные брюки. Став внимательней к внешности, Мартин быстро заметил разницу: у трудового люда штаны пузыряются на коленях, а у всех, кто рангом повыше, ровная складка идет от колен к башмакам. Узнал он и отчего так получается и вторгся в кухню сестры в поисках утюга и гладильной доски. Поначалу у него случилась беда: он непоправимо сжег одну пару брюк и купил новые, и этот расход еще приблизил день, когда надо будет отправиться в плавание.

Но перемены коснулись не только внешнего вида, они шли глубже. Он еще курил, но больше не пил. Прежде ему казалось, выпивка – самое что ни на есть мужское занятие, и он гордился, что голова у него крепкая и уж почти все собутыльники валяются под столом, а он все не хмелеет. Теперь же, встретив кого-нибудь из товарищей по плаванию, а в Сан-Франциско их было немало, он, как и раньше, угощал их, и они его угощали, но для себя он заказывал кружку легкого пива или имбирную шипучку и добродушно сносил их насмешки. А когда на них нападала пьяная плаксивость, приглядывался к ним, видел, как пьяный понемногу превращается в животное, и благодарил бога, что сам уже не такой. Каждый жил не так, как хотел, и рад был про это забыть, а напившись, эти тусклые тупые души уподоблялись богам, и каждый становился владыкой в своем раю, вволю предавался пьяным страстям. Мартину крепкие напитки были теперь ни к чему. Он был пьян по-иному, глубже, – пьянила Руфь, она зажгла в нем любовь и на миг дала приобщиться к жизни возвышенной и вечной; пьянили книги, они породили мириады навязчивых желаний, не дающих покоя; пьянило и ощущение чистоты, которой он достиг, от нее еще прибыло здоровья, бодрость духа и сила так и играли в нем.

Как-то вечером он наудачу пошел в театр – вдруг она тоже там – и действительно углядел ее с галерки. Она шла по проходу партера с Артуром и каким-то молодым человеком в очках, с курчавой гривой, при виде которого в Мартине мигом вспыхнули и опасения и ревность. Она села в первом ряду, и он уже мало что видел в этот вечер, только ее – издали, словно в дымке – хрупкие белые плечи и пышные золотистые волосы. Зато другие смотрели по сторонам, и, изредка взглядывая на соседей; он заметил двух девушек в ряду перед ним, чуть в стороне, они оборачивались и бойко улыбались ему. Он всегда легко знакомился. Не свойственно ему было задирать нос. В прежние времена он улыбнулся бы в ответ, и не только, и подзадорил бы их на новые улыбки. Но теперь все стало по-другому. Ответив улыбкой, он отвернулся и намеренно не смотрел в сторону девушек. Но несколько раз, забыв и думать про них, он случайно встречал их улыбки. В один день себя не переделаешь, не мог он подавить в себе присущее ему добродушие, и в такие минуты тепло, дружески улыбался девушкам. Все это было привычно. Он понимал, они по-женски заигрывают с ним. Но все теперь стало по-другому. Далеко внизу, в партере, сидела единственная на свете женщина, совсем иная, бесконечно непохожая на этих девушек из его среды, и оттого они вызывали у него лишь жалость и печаль. В душе он желал им обрести хоть малую толику ее достоинств и светлой красоты. Но нипочем не обидел бы их за кокетство. Оно не польстило ему, он даже почувствовал себя униженным: не будь он простым матросом, с ним бы не заигрывали. Принадлежи он к кругу Руфи, они не отважились бы на это, и при каждом их взгляде Мартин чувствовал, как цепко держит его родная среда, не давая вырваться.

Он встал раньше, чем занавес опустился в последний раз, – хотел увидеть Руфь, когда она выйдет из театра. На тротуаре у подъезда всегда толпятся мужчины, можно надвинуть кепку на глаза, укрыться за чьей-нибудь спиной, и она его не заметит. В толпе, которая хлынула из театра, он оказался из первых, но едва занял место на краю тротуара, как появились обе девушки. Он понял, они ищут его, и готов был сейчас проклясть в себе то, что влечет к нему женщин; Понял, когда неторопливо будто ненароком они подошли поближе. Замедлили шаг и, поравнявшись с ним, оказались в гуще толпы. Одна, проходя, задела Мартина и словно бы только теперь его заметила. Была она тоненькая, темноволосая, с черными дерзкими глазами.

Но обе улыбнулись ему, и он ответил улыбкой.

– Привет! – сказал он.

Это вышло само собой – сколько раз все так и начиналось при подобных случайных встречах. Да и как было не сказать. Присущая ему широта натуры, терпимость и доброжелательность не дали бы поскупиться на такую малость. Черноглазая девушка приветливо улыбнулась, довольная и явно готовая остановиться, а подружка, держа ее под руку, хихикнула и тоже явно не прочь была задержаться. Он поспешно соображал. Вдруг Руфь выйдет и увидит, что он разговаривает с ними, это не годится. Он круто повернулся и естественно, будто так и надо, зашагал рядом с черноглазой. Теперь-то он не был неловким, и язык не прилипал к гортани. Он чувствовал себя в своей тарелке, распрекрасно шутил, сыпал жаргонными словечками, острил – все, как и положено поначалу при таких вот знакомствах и быстротечных романах.. На углу, где почти весь людской поток двинулся прямо, он хотел свернуть. Но черноглазая пошла следом, ухватила его за руку повыше локтя и, увлекая за собой подругу, крикнула:

– Постой, Билл! Куда помчался? Чего это ты вдруг – решил, что ль, избавиться от нас?

Он со смехом остановился и обернулся к ним. Видно было, как позади них под фонарями движется толпа. А здесь темнее и можно незамеченным увидеть, как мимо пройдет Руфь. Должна пройти, ведь это дорога к ее дому.

– Как ее звать? – спросил он ту, что хихикала, кивнув на черноглазую.

– У ней спроси, – прыснула она в ответ.

– Так как– же? – повернувшись к черноглазой, спросил он.

– А ты сам еще не назвался, – возразила, она.

– А ты не спрашивала, – Мартин улыбнулся. – Зато сразу попала в точку. Я и есть Билл, право слово.

– Прямо уж! – Она глянула ему в глаза горячо, призывно. – Ну, по-честному, как тебя?

И опять заглянула в глаза... Вся извечная женская суть красноречиво выразилась в этом взгляде. И он без труда разгадал ее, и уже знал наверняка, что, едва он пойдет в наступление, она начнет застенчиво, мягко уклоняться, готовая в любую минуту дать обратный ход, окажись он недостаточно напорист. И потом, все-таки он живой человек, не мог он не ощутить, как она привлекательна, и, конечно же, ее внимание льстило мужскому тщеславию. Да, он отлично понимал эту игру; знал таких девчонок как свои пять пальцев. Добропорядочные, по меркам их среды, она тяжело трудятся, получают гроши и, презирая возможность себя продать, чтобы зажить полегче, робко мечтают о крупице счастья в пустыне жизни, а впереди, в будущем, борьба двух возможностей: беспросветный тяжкий труд или черная пропасть последнего падения, куда путь короче, хотя платят больше.

– Билл, – ответил Мартин и кивнул в подтверждение. – Верное слово, Билл и есть.

– Не разыгрываешь? – допытывалась она.

– Никакой он не Билл, – встряла ее подруга.

– А ты почему знаешь? – спросил он. – Ты ж меня раньше в глаза не видала.

– А мне и так видать, заливаешь, – был ответ.

– По-честному, Билл, как тебя звать-то? – спросила черноглазая.

– Сойдет хоть Билл, – признался он.

Она игриво ткнула его в плечо.

– Я ж знала, врешь, а все одно, ты славный парень.

Он поймал ее зовущую руку и ощутил на ладони знакомые рубцы и меты,

– Когда с консервного ушла? – спросил он.

– А ты почему знаешь? Да он мысли угадывает! – в один голос воскликнули девушки.

Он вел с ними бессмысленный разговор, обычный между теми, кто не умеет мыслить, а перед его внутренним взором высились библиотечные полки, хранящие вековую мудрость человечества. С горечью улыбнулся он этой несообразности, и его одолели сомнения. Но между тем, что он видел внутренним зрением, и шутилой болтовней он успевал следить за текущей мимо толпой из театра. И вот он увидел Ее в свете фонарей, между братом и незнакомым молодым человеком в очках, и сердце у него упало. Так долго ждал он этой минуты. Он успел заметить что-то светлое, пушистое, что укрывало ее царственную головку, заметил благородство линий ее укутанной фигурки, изящество ее осанки и руки, которая слегка приподняла юбку; и вот уже ее не видно, а перед ним девушки с консервной фабрики с их безвкусными попытками принарядиться, с безнадежными потугами сохранить опрятность, в дешевых платьях, с дешевыми лентами, с дешевенькими кольцами на пальцах. Его потянули за рукав, и он услышал голос:

– Проснись, Вилл! Чего это с тобой?

– Что ты говоришь? – спросил он.

– Да ничего, – ответила темноглазая, вскинув голову. – Я только сказала...

– Что?

– Я говорю, хорошо бы ты где ни то откопал приятеля... для нее (показав на подругу), и мы б куда сходили выпили фруктовой воды с мороженым, а то кофе или еще чего.

Мартина вдруг одолела душевная тошнота. Слишком резок был переход от Руфи – к такому. Совсем рядом с дерзкими вызывающими глазами этой девушки сияли ему из непостижимых глубин непорочности ясные лучистые, точно у святой, глаза Руфи. И он ощутил, как в нем встрепенулись силы. Он лучше своего окружения. Жизнь для него означает больше, чем для этих фабричных девчонок которые только и думают о мороженом да ухажере. А ведь в мыслях он всегда жил иной, тайной жизнью. Он пытался поделиться ими, но не нашлось ни одной женщины, да, и ни одного мужчины, кто бы его понял. Пытался, да, но только озадачивал слушателей. А раз его мысли выше их понимания, значит, и сам он должен быть выше, убеждал он себя сейчас. В нем заговорила сила, и он сжал кулаки. Если для него жизнь означает больше, так и потребовать от нее надо больше; но с таких вот разве чего требуешь. Этим дерзким черным глазам нечего ему предложить. Известно, какие за ними скрываются мысли, – о мороженом да еще кой о чем. А вот глаза рядом с ними, глаза как у святой, – они предлагали все мыслимое и немислимое, до чего он еще и додуматься не мог. Книжки и картины предлагают они, красоту и покой и все утонченное изящество более возвышенного существования. Ему знаком ход каждой мысли этой черноглазой. Все равно как часовой механизм. Можно проследить движение каждого колесика. Они зовут к низменному удовольствию, ограниченному, как могила, оно быстро приедается, и за ним ждет лишь могила. А глаза святой зовут к тайне, к невообразимому чуду, к жизни вечной. Он увидел в них ее душу и свою душу тоже.

– Одно плохо в этой программе, – вслух сказал он. – свиданье у меня.

В глазах девушки вспыхнуло разочарование.

– Не иначе, больного друга надо навестить, – съехидничала она.

– Нет, настоящее свиданье, как полагается.. – Мартин запнулся. – С девушкой.

– Не врешь, нет? – серьезно спросила она.

Он посмотрел ей прямо в глаза:

– Нет, верно говорю. А чего б нам в другой раз не встретиться? Ты так и не сказала, как тебя звать. И живешь где?

– Лиззи, – ответила она, смягчаясь, сжала его локоть, на минуту прильнула к нему. – Лиззи Конноли. Живу на углу Пятой и Маркет-стрит.

Он еще немного поболтал с ними и распрощался. И домой пошел не сразу; стоя под деревом, где обычно нес свою вахту, он смотрел на окно и шептал: «У меня свиданье с тобой, Руфь. Только с тобой».

С того вечера, когда он впервые увидел Руфь, он целую неделю просидел над книгами, а пойти к ней все не решался... Не раз бывало – наберется храбрости и уже готов пойти, но опять одолеют сомнения и решимость тает. Он не знал, в какой час полагается зайти, спросить об этом было не у кого, и он боялся безнадежно оплошать. От прежних приятелей и прежних привычек он отошел, новых приятелей не завел, только и оставалось что читать, и он посвящал чтению столько часов, что не выдержал бы и десяток пар обычных глаз. Но у него зрение было превосходное, да и вообще превосходное, редкостное здоровье. К тому же ум у него был вовсе нетронутым. Всю жизнь оставался нетронутым, не ведающим отвлеченных мыслей, какие может зародить книга, он был точно добрая почва, – и вполне созрел для посева. Его не изнуряли ученьем, и он так жадно вгрызался в книжную премудрость, что не оторвешь.

К концу недели Мартину казалось, прошли столетия, – так далеко позади осталась прежняя жизнь, прежние взгляды. Но ему отчаянно не хватало подготовки. Он пытался читать книги, которые требовали многолетнего, специального образования. Сегодня он берется за книгу по древней философии, а завтра – по сверхсовременной, и от столкновения противоречивых идей голова идет кругом. Так же вышло и с экономистами. В библиотеке он увидел на одной полке Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и малопонятные умозаключения одного не помогали убедиться, что идеи другого устарели. Он был сбит с толку, но все равно жаждал понять. Его заинтересовали сразу экономика, промышленность и политика. Проходя через Муниципальный парк, он заметил небольшую толпу, а посередине – человек шесть, они покраснелись, громко, с жаром о чем-то спорили. Он присоединился к слушателям и услышал новый, незнакомый язык философов из народа. Один оказался бродягой, другой лейбористским агитатором, третий студентом юридического факультета, а остальные – рабочие, любители поговорить. И Мартин впервые услышал о социализме, анархизме, о едином налоге и узнал, что существуют непримиримые общественные учения. Он услышал сотни незнакомых терминов, принадлежащих к тем областям мысли, которых он при своей малой начитанности пока даже не касался. А потому он не мог толком уследить за ходом спора, и оставалось лишь гадать и с трудом нащупывать мысли, заключенные в столь непонятных выражениях. Были там еще черноглазый официант из ресторана, – теософ, член профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, который озадачил всех странной философией: что в мире существует, то разумно, и еще один старик, который без конца вещал о космосе, об атоме-отце и атоме-матери.

За несколько часов, что Мартин там пробыл, в голове у него все перепуталось, и он кинулся в библиотеку смотреть значение десятка неведомых слов. Из библиотеки он унес под мышкой четыре тома: «Тайную доктрину» госпожи Блаватской, «Прогресс и нищету», «Квинтэссенцию социализма» и «Войну религии и науки». На свою беду, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка ошетикивалась длиннющими непонятными словами. Он читал полусидя в постели и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Столько было незнакомых слов, что, когда они попадались вновь, он уже не помнил их смысла, и приходилось вновь лезть в словарь. Он стал записывать значение новых слов в блокнот и заполнял листок за листком. А разобраться все равно не мог. Читал до трех ночи, голова шла кругом, но не уловил в этой книге ни единой существенной мысли. Он поднял глаза, и ему показалось, комната вздымается, кренится, устремляется вниз, будто корабль во время качки. Он отшвырнул, «Тайную доктрину», пустил ей вслед заряд ругательств, погасил свет и улегся спать. С другими тремя книгами ему повезло немногим больше. И не потому, что он туп, ни в чем не способен разобраться; мысли эти были бы ему вполне доступны, но не хватало привычки мыслить, не хватало и слов-инструментов, которые

помогли бы мыслить. Он догадался об этом и некоторое время подумывал было читать только словарь, пока не усвоит все слова до единого.

Зато утешением для него стала поэзия, он без конца читал стихи, и всего больше радости приносили ему поэты не слишком сложные, их было легче понять. Он любил красоту и нашел ее в стихах. Поэзия, как и музыка, глубоко волновала его; и сам того не зная, через нее он готовил ум к работе более трудной, которая ему еще предстояла. Страницы его разума были чисты, все прочитанное, что ему нравилось, легко строфа за строфой отпечатывалось на этих страницах, и скоро он уже с великой радостью повторял их наизусть вслух или про себя, наслаждаясь музыкой и красотой этих строк. Потом он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гейли и «Век сказки» Булфинча, стоявшие бок о бок на библиотечной полке. Это было озарение, яркий свет во тьме его невежества, и он с еще большей жадностью накинулся на стихи.

Библиотекарь так часто видел Мартина, что стал примечать его и всякий раз встречал улыбкой и кивком. Оттого Мартин и решился обратиться к нему. Взял несколько книг и, пока тот ставил штампы в карточках, выпалил:

– Послушайте, я у вас хочу кой-что спросить.

Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать.

– Вот если познакомился с молодой леди и она. приглашает заходить, через какое время можно зайти?

Мартин почувствовал, что рубашка стала тесна и прилипла к плечам, даже в пот бросило, так трудно было про это спросить.

– Да, по-моему, когда угодно, – ответил библиотекарь.

– Да, но... тут одна загвоздка, – возразил Мартин. – Она... я... понимаете, тут такое дело: вдруг ее не застанешь дома. Она в университете учится.

– Тогда зайдите еще раз.

– Не так я вам сказал, – дрогнувшим голосом признался Мартин, решая полностью отдаться на милость этого человека. – Я-то вовсе не ученый, из простых, хорошего общества не нюхал. Эта девушка... совсем не то, что я, она... Я ей в подметки не гожусь. Может, дурак я, по-вашему, нашел про что спрашивать? – вдруг резко оборвал он себя.

– Нет-нет, что вы, уверяю вас, – возразил тот. – Ваш вопрос несколько выходит, за рамки справочного отдела, но я буду только рад помочь вам.

Мартин поглядел на него с восхищением.

– Вот бы мне наостриться эдак языком чесать, тогда ко дну не пойдешь, – сказал он.

– Прошу прощенья?

– Я говорю, вот бы мне так разговаривать, легко да вежливо, ну, все такое.

– А! – понимающе отозвался тот.

– В какое время лучше идти? Середь дня... не больно близко к обеду или там к чаю? Или вечером?

А то в воскресенье?

– Вот вам мой совет, – оживился библиотекарь. – Позвоните ей по телефону и выясните.

– Так и сделаю, – сказал Мартин, взял книги и пошел к дверям. На полдороге обернулся и спросил: – Когда разговариваешь с молодой леди... ну, хоть с мисс Лиззи Смит... как надо говорить «мисс Лиззи» или «мисс Смит»?

– Говорите «мисс Смит», – со званием дела сказал библиотекарь. – Всегда говорите «мисс Смит»... пока не познакомитесь поближе.

Так Мартин Иден разрешил эту задачу.

– Приходите в любое время, и всю вторую половину дня дома, – ответила Руфь по

телефону, когда он, запинаясь, спросил, как бы вернуть ей книги.

Она сама встретила его на пороге и женским глазом тотчас заметила отглаженные брюки и едва уловимую, но несомненную перемену к лучшему во всем его облике. И еще ее поразило его лицо. Казалось, оно чуть ли не яростно пышет здоровьем, волны силы исходят от него и обдают ее. И опять потянуло прислониться к нему, согреться его теплом, и опять она подивилась, как действует на нее его присутствие. А он, стоило, здороваясь, коснуться ее руки, в свой черед опять ощутил блаженное головокружение. Разница между ними заключалась в том, что Руфь с виду оставалась спокойной и невозмутимой, Мартин же покраснел до корней волос. С прежней неловкостью, спотыкаясь, он шагал за ней и поминутно рисковал задеть что-нибудь из мебели плечом.

Едва они уселись в гостиной, он почувствовал себя свободнее, куда свободней, чем ожидал. Это благодаря ей; и оттого, как приветливо она держалась, он любил ее сейчас еще неистовее. Сперва поговорили о тех книгах, что он брал у нее, – о Суинберне, перед которым он преклонялся, и о Браунинге, которого не понял; Руфь переводила разговор с одной темы – на другую и при этом обдумывала, чем бы ему помочь. С той первой их встречи она часто об этом думала. Она очень хотела ему помочь. Он вызывал у нее жалость и нежность, каких она ни к кому еще не испытывала, и жалость не унижала Мартина, скорее, в ней было что-то материнское. Такого человека не пожалеешь обычной жалостью, ведь он мужчина в полном смысле слова – он пробудил в ней девичьи страхи, взволновал душу, заставил трепетать от незнакомых мыслей и чувств. И опять неодолимо тянуло смотреть на его шею и сладостно было думать, что если обхватить ее руками. Желание это и сейчас казалось сумасбродным, но Руфь уже стала привыкать к нему. У нее и в мыслях не было, что сама новорожденная любовь явится ей в подобном обличье. В мыслях не было, что чувство, вызванное Мартином, и есть любовь. Она думала, что ей просто-напросто интересен человек незаурядный, в котором заложены и ждут пробуждения многие достоинства, и даже воображала, будто ее отношение к нему – чистейшая филантропия.

Не знала она, что желает его; и для Мартина все было по-другому. Он-то знал, что любит, и желал ее, как не желал никого и ничего за всю свою жизнь. Он любил поэзию за красоту, но с тех пор как познакомился с Руфью, перед ним распахнулись врата в безбрежные просторы любовной лирики. Благодаря Руфи он понял даже больше, чем когда читал Булфинча, и Гейли. Была одна строчка, на которую неделю назад он бы и внимания не обратил: «Без памяти влюбленный, он умереть готов за поцелуй», а теперь она не шла у него из головы. Чудо и правда этой строки восхищая, и, глядя на Руфь, он знал, что и сам мог бы с радостью умереть за поцелуй. Это он и есть без памяти влюбленный; никакой другой титул не заставил бы его возгордиться больше. Наконец-то он понял смысл жизни, понял, для чего появился на свет.

Он не сводил с нее глаз и слушал ее, и дерзкие мысли рождались у него в голове. Он вспоминал неистовый восторг, какой испытал, когда в дверях она подала ему руку, и страстно мечтал вновь ощутить ее руку в своей. Невольно то и дело переводил взгляд на ее губы и жаждал коснуться их. Но не было в этой жажде ничего грубого, приземленного. С беспредельным восторгом следил он за их игрой, за каждым их движением, когда с них слетали слова, и, однако, то были не обыкновенные губы, как у других людей. Не просто губы из плоти и крови. То были уста непорочной души, и казалось, желает он их по-иному, совсем-совсем не так, как тянуло его к губам других женщин. Он мог бы поцеловать ее губы, коснуться их своими плотскими губами, но с тем возвышенным, благоговейным пылом, с каким лобзают ризы господни. Он не сознавал, что в нем происходит переоценка ценностей, не подозревал, что свет, сияющий в его глазах, когда он смотрит на нее, сияет и в глазах всех мужчин, охваченных любовью. Не догадывался, какой пылкий, какой мужской у него взгляд, даже и вообразить не

мог, что под этим жарким пламенем трепещет и ее душа. Всепокоряющая непорочность Руфи возвышала, преображала, и его чувства, мысли возносились к отрешенному целомудрию звездных высей, и знай он, что блеск его глаз пронизывает ее горячими волнами и разжигает ответный жар, он бы испугался. А Руфь в смутной тревоге от этого восхитительного вторженья, порой сама не зная почему, сбивалась, замолкала на полуслове и не без труда вновь собиралась с мыслями. Она всегда говорила легко, и непривычные заминки озадачил бы ее, не реши она с самого начала, что слишком уж необычен ее собеседник. Ведь она так впечатлительна, и, в конце концов, вполне естественно, что сам ореол выходца из неведомого ей мира так на нее действует.

В глубине сознания все время сидел тот же вопрос, как бы ему помочь, к этому она и клонила, но Мартин ее опередил.

– Может, вы дадите мне один совет? – начал он, и она с такой готовностью кивнула, что сердце Мартина заколотилось. – Помните, в тот раз я говорил, не могу я толковать про книги и про всякое другое, не умею? Ну, я после много про это думал. В библиотеку сколько много ходил, прорву книжек перебрал, да почти все мне не по зубам. Может, лучше начну я с самого начала. Учиться-то я толком не учился, никакой возможности не было. Сызмальства трудился до седьмого поту, а теперь, как побывал в библиотеке, глянул на книжки совсем другими глазами, да и книжки-то совсем другие, сдается мне, не те я книжки прежде читал. Понятно, не ранчо или там в кубрике и вот хоть у вас в доме книжки-то разные. А я одни те книжки и читал. Ну, и все равно... Не хвалясь скажу: не такой я, как они, с кем кампанию водил. Не то чтоб лучше матросов или там ковбоев, с кем по свету мотался... Я, знаете, и ковбоем был, недолго... только вот книжки всегда любил, читал все, что под руку попадет... Ну и вот... думал, что ли, по-другому.

Да, так к чему я гну-то. В таком вот доме я отродясь не бывал. А на прошлой неделе пришел и вижу все это, и вас, и мамашу вашу; и братьев, и всякое разное... ну, и мне понравилось. Слыхал я про такое, и в книжках тоже читал, а поглядел на ваш дом, ну, прямо как в книжках. Ну, и, стало быть, нравится мне это. Сам такого захотел. И сейчас хочу. Хочу дышать воздухом, какой в этом доме... чтоб полно книг, и картин, и красивых вещей, и люди разговаривают без крику, а сами чистые, и мысли у них чистые. Я-то весь век чем дышал – только и есть что жратва, да плата за квартиру, да потасовки, да попойки, только про это и разговор. Вон вы в тот раз пошли встречать мамашу, поцеловали ее, а я подумал: такой красоты сроду не видал. Я сколько много в жизни видал, а из других, кто кругом меня, почитай никто этого не видит, так уж получается. Я люблю видеть, мне охота видеть побольше.

Все до дела не дойду. А дело вот оно: хочу я пробиться к такой жизни, какая у вас в доме. Жизнь – это куда больше, чем нализаться, да вкалывать с утра до ночи, да мотаться по свету. Так вот, как мне пробиться? Как приняться, с чего начать? Сил-то я не пожалею, я, знаете, в работе кого хошь загоню и обгоню. Только вот начать, а уж там буду работать день и ночь. Может, вам смешно, мол, нашел, про что спрашивать. Уж кого-кого, а вас бы спрашивать не годится, понимаю, да только больше спросить некого... вот разве Артура. Может, его и надо было спросить. Если б я...

Голос ему изменил. Хорошо продуманный план споткнулся об ужаснувшее Мартина предположение, что спрашивать следовало Артура и что он оказался дурак дураком. А Руфь заговорила не сразу. Слишком поглощена она была усилиями понять, как же эта спотыкающаяся, корявая речь и примитивность мысли сочетаются с тем, что она читала в его лице. Никогда еще не заглядывала она в глаза, излучающие такую силу. Перед ней был человек, для которого нет невозможного, – вот что прочла она в его взгляде, и, однако, он не умеет толково высказать свои мысли. Одно с другим как-то не вязалось. Сама же она рассуждала

слишком сложно, а соображала стремительно, и не способна была по справедливости оценить простоту. Однако уже в том, как он пытался высказаться, она уловила внутреннюю силу. Ей почудилось, его разум – исполин, что корчится; пытаюсь вырваться из оков. Когда она наконец заговорила, в ее лице светилось бесконечное сочувствие.

– Вы сами сознаете, чего вам не хватает: образования. Вам следует начать с самого начала – вернуться в среднюю школу, окончить ее, а потом поступить в университет.

– Но на это нужны деньги, – перебил Мартин.

– Ах да! – воскликнула она. – Об этом я не подумала. Но у вас, наверное, есть родные... кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?

Он покачал Головой.

– Отец с матерью померли. Есть у меня два сестры... одна замужем, и вторая, сдается мне, скоро выйдет замуж. И еще полно братьев... Я самый младший... да от них никто подмоги не видал. Всегда только об себе думали, шатались по свету, искали, где более лучше. Старший помер в Индии. Двое нынче в Южной Америке, один в плаванье, китов промышляет, еще один с цирком бродяжит, на трапеции крутиться. И я, видать, вроде них. С одиннадцати годов сам об себе заботился... как мать померла. Выходит, самому надо учиться, да только надо мне узнать, с чего начинать.

– Мне кажется прежде всего надо взяться за грамматику. Вы говорите.... – она собиралась сказать «ужасно», но спохватилась и закончила: – не очень грамотно.

Мартин покраснел, его бросило в пот.

– Ну да, по-матросски, и такое словечко, бывает, вверну вам не понять. Так ведь одни эти слова мне и даются. В голове-то есть и другие слова... из книжек понабрался... да выговорить не умею, потому и не говорю.

– Дело не столько в том, что вы говорите, сколько в том как именно говорите. Вы не сердитесь, что я с вами откровенная? Я не хочу, вас обидеть.

– Нет-нет! – воскликнул Мартин и в душе поблагодарил ее за доброту. – Валяйте. Должен я знать, так уж лучше от вас узнать, чем от кого еще..

– Ну так вот, вы говорите «чем от кого еще» или «кого ни то еще» вместо «кого-нибудь еще». Вы употребляете тавтологичные сочетания.

– А это чего такое? – требовательно спросил он, потом робко прибавил: – Видите, я даже не пойму, чего вы объясняете.

– Боюсь, я просто ничего не объяснила, – с улыбкой сказала она. – Вы говорите «более лучше». Прилагательное «лучший» в сравнительной степени нельзя сочетать со словом «более». В этом сочетании слово «более» избыточное, ненужное. Нельзя сказать: «Он одет более лучше», правильно в этом случае: «Он одет лучше».

– Все очень даже понятно, – сказал он. – А раньше мне было невдомек. «Я буду говорить лучше», а не «более лучше». Ясное. дело. Раньше мне было невдомек, а теперь уж больше никогда так не скажу.

Она обрадовалась и удивилась, что он так быстро и точно схватывает.

– Все это вы прочтете в грамматике, – продолжала Руфь. – Я и еще кое-что заметила в вашей речи Вы говорите «сколько много», когда надо сказать «как много» или просто – «много».

– Скажите пример, – попросил он.

– Ну... – Она задумалась, наморщила лоб, крепко сжала губы, а он смотрел на нее, и она казалась ему в эту минуту еще прелестнее. – Вот, например: «Сколько много книг я прочел», или «Я сколько много всего в жизни видал».

Он поворочал фразы в голове.

– Вам это не режет слух? – подсказала она.

– Видать, так неправильно, – не вдруг ответил он.

– Лучше не говорить «видать».

Как мило выговорила она это слово.

Мартин вспыхнул.

– И вы говорите «ложить» вместо «класть», – продолжала Руфь. – И «ихний» вместо «их» и «от их», «у их» вместо «от них», «у них».

– Как такое? – Он наклонился к ней, чувствуя, что перед всей этой ее мудростью впору стать на колени.

– Вы произносите...да нет, незачем все это перечислять. Вам необходима грамматика. Я сейчас возьму учебник и покажу, с чего начать.

Она встала, и в голове у него мелькнуло что-то из прочитанных в книжке правил поведения, и он неловко поднялся, опасаясь, то ли, что надо, делает, вдруг она подумает, будто он собрался уходить...

– Кстати, мистер Иден, – окликнула она его уже от дверей,

– что такое «нализаться»? Вы несколько раз так сказали.

– А, нализаться, – засмеялся он. – Жаргон это. Мол, вы напились виски, пива, или еще чего и захмелели.

– И еще одно, – Руфь тоже засмеялась. – Не употребляйте «вы» в безличных предложениях. «Вы» – очень личное местоимение, и сейчас вы сказали не совсем то, что намеревались.

– Не пойму я, о чем вы.

– Ну как же, вот вы сказали мне, мол, «вы напились виски, пива... и захмелели», Получается, что это я захмелела, понимаете?

– А вы бы не захмелели?

– Разумеется, захмелела бы, – с улыбкой ответила Руфь. – Но было бы вежливей, если бы вы ничего подобного мне не приписывали. В таких случаях предпочтительней обходиться без местоимений.

Она вернулась с грамматикой, подвинула свой стул к Мартину и села, и он подумал: видно, это он должен был подвинуть ей стул. Она листала страницы, а их склоненные головы оказались совсем рядом. И так он был поражен волнующей близостью Руфи, что едва ли воспринимал план будущих занятий, который она ему рисовала. Но вот она стала объяснять, как много значат спряжения, и он начисто забыл о ней. Он впервые слышал о спряжениях, важнейшие основы языка приоткрылись ему, и открытие привело его в восторг. Он ниже наклонился к странице, и волосы Руфи коснулись его щеки. До сих пор только раз ему случалось потерять сознание, а сейчас показалось, это повторится. Дыханье перехватило, удары сердца отдавались в горле – не вздохнуть. Никогда еще она не казалась такой близкой. В этот миг через глубокую пропасть, разделявшую их, перекинулся мост. Но его чувство к ней вовсе не стало от этого менее возвышенным. Не она опустилась до него. Это он воспарил в облаках и его подняло к ней. Он и в этот миг преклонялся перед нею, это было сродни благоговейному пылу верующего. Ему казалось, он покусился на святая святых, и он тихонько, осторожно отвел голову, уклоняясь от прикосновения, от которого трепетал, будто под электрическим током, а Руфь этого и не заметила.

Шли недели, Мартин изучал грамматику, пересматривал книжки о правилах поведения в обществе и с жадностью читал все, что ему заблагорассудится. От прежнего своего окружения он оторвался. Девушки, бывавшие в Лотос-клубе, гадали, что с ним приключилось, и донимали расспросами Джима, а кое-кто из парней завсегдатаев гаража Райли, не слитком стойких в драках, только радовался, что его больше не видно. Тем временем Мартин раскопал в библиотеке еще один клад. Если грамматика дала ему понятие о том, как строится язык, то эта книга дала понятие о том, как строится поэзия, и за дорогой ему красотой он стал различать размеры, ритмику и форму, стал постигать, как и отчего возникает красота. Еще одна современная книга, которая ему попала, рассматривала поэзию как реалистическое искусство, рассматривала всесторонне, со множеством примеров из лучших произведений. Никакие романы не читал он так увлеченно, как эти серьезные книги. И свежий, за все двадцать лет не обремененный науками ум, подхлестываемый зрелой жаждой познавать, схватывал прочитанное поистине мужской хваткой, неведомой уму ученическому.

Когда с нынешней выигрышной позиции он оглядывался назад, прежний его мир – мир суши и моря и кораблей, матросов и алчных женщин – казался совсем маленьким; и однако он сливался с его теперешним миром и становился шире. Мартин стремился осмыслить все сущее в единстве и цельности и, когда стал находить точки соприкосновения этих двух миров, поначалу удивился. А возвышенность и красота мышления, открывавшиеся ему в книгах, облагораживали его. И оттого он все тверже верил, что в верхах общества, в кругах, к которым принадлежит Руфь и ее родные, так возвышенно мыслят все и согласно с таким строем мысли живут. Мир, в котором жил он, был низменным, и он хотел очиститься от грязи низменной повседневности и подняться в те возвышенные сферы, где обитали высшие классы. Все детство и юность его одолевало смутное беспокойство, чего-то ему не доставало, он сам не знал чего, и пока не встретил Руфь, все время искал что-то и не находил. Теперь же беспокойство стало острым, мучительным, он понимал наконец, понимал ясно, отчетливо, что ему нужно: красота, и напряженная умственная жизнь, и любовь.

За эти несколько недель он раз шесть видел Руфь, и каждая встреча вдохновляла его. Руфь помогала ему в занятиях грамматикой, поправляла произношение и надоумила взяться за математику. Но встречи их были посвящены не только этим простейшим занятиям. Слишком много он уже повидал, слишком зрелый, был у него ум, и конечно же, он не мог удовлетвориться одними только дробями, кубическими корнями, грамматическим и синтаксическим разбором; и временами они разговаривали о другом

– о стихах, которые он недавно прочел, о поэте, чьим творчеством она занималась в последнее время. И если она читала вслух свои любимые строфы, Мартин наслаждался безмерно. Никогда ни у одной женщины не слышал он такого голоса. Малейший его звук воспламенял любовь, каждое слово повергало в волнение и трепет. Голос ее покорял, как музыка, богатством оттенков, мягкостью и глубиной – такое рождает культура и утонченность души. Он слушал ее, а в памяти звучали резкие крики темнокожих дикарок и злобных старых ведьм и чуть менее грубые, но все равно режущие слух голоса фабричных работниц, женщин и девушек его среды. Потом все они воплощались в зримые образы и чередой проходили перед его мысленным взором, и каждая, по контрасту, умножала прелесть Руфи. Мартин блаженствовал тем больше, что он знал, она до тонкости постигает суть прочитанного, с радостным трепетом по достоинству оценивает красоту выраженной на бумаге мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и так чутко, всей душой отзывалась на красоту, что нередко он видел у нее на

глазах слезы. В такие минуты ее волнение возвышало его, он чувствовал себя чуть ли не божеством, и, глядя на нее и слушая, казалось, глядел в лицо самой жизни, читал ее тайны. А потом он осознал, какой тонкости восприятия достиг, и решил, что это от любви и нет на свете ничего прекраснее любви и, пройдя вспять коридорами памяти, оглядел все прежние утехи и наслаждения – опьянение вином, женские ласки, грубые драки и состязанья в силе, – и рядом с высокой страстью, что владела им сейчас все ему показалось мелким и низменным.

Руфь не очень понимала, что происходит. Она никогда еще не испытывала сердечных тревожений. Все познания по этой части она брала, из книг, где по прихоти автора все, повседневное преображается в сказку; она не подозревала, что этот неотесанный матрос прокрадывается к ней в сердце, что там копят потаенные силы, что однажды они вырвутся на свободу и в ней забушует пожар. Истинного пламени любви она не знала. Ее понятия о любви были чисто теоретические, ей представлялся ясный огонек, ласковый, как роса на заре или легкая зыбь на озере, нежаркий, как бархатно-черные летние ночи. Пожалуй, ей казалось, что любовь – это безмятежная привязанность, нежное служение любимому в неярком свете напоенного ароматом цветов неземного покоя. Ей и не снились вулканические потрясения любви, палящий жар, что испепеляет сердце, обращает в бесплодную пустыню. Не знала она, какие силы таятся в людях и в ней самой; пучины жизни прикрывала красивая сказка. Супружеская привязанность, соединявшая ее родителей, представлялась ей идеальной любовной близостью, и она предвкушала, как рано или поздно, без потрясений и волнений, и сама вступит в такую же исполненную тихой прелести жизнь бок о бок с любимым.

Оттого она и смотрела на Мартина Идена как на некую новинку, личность необычную, и воображала, что этой новизной и необычностью он так на нее и действует. Что ж тут удивительного! Ведь когда смотришь на диких животных в зверинце, когда видишь, как разыгралась буря, когда вздрагиваешь при вспышке зигзага молнии, тоже испытываешь непривычные чувства. Во всем этом узнаешь стихию, что-то стихийное есть и в нем. Он приносит с собой дыхание морских ветров, необъятных просторов. Отблески тропического солнца пламенеют в его лице, а в упругих вздувшихся мышцах ощущается первобытная сила жизни. Таинственный мир суровых людей и еще более суровых дел, мир, недоступный ей, оставил на нем рубцы и шрамы. Он неприручен, дик, и то, как он покорен ей, в глубине души льстило ее тщеславию. Да еще родилось самое обыкновенное желание приручить дикаря. Желание неосознанное, у нее и в мыслях не было, что, в сущности, она хочет вылепить его по образу и подобию своего отца, которого она считала прекраснейшим человеком. И где ей, такой неискушенной, было понять, что ощущение стихийности, которое исходит от него, и есть величайшая стихия на свете – сама любовь, – сила, что неодолимо влечет друг к другу через весь мир мужчин и женщин, и столь же властно вынуждает оленей в должный час убивать друг друга ради самки, и даже простейшие частицы заставляет соединяться.

Быстрый духовный рост Мартина изумлял и занимал Руфь. Она обнаружила в нем достоинства, о которых и не подозревала и которые раскрывались день ото дня, точно цветы на щедрой почве. Она читала ему вслух Браунинга и часто поражалась, как оригинально он толковал спорные места. Ей не понять было, что, зная людей и самую жизнь, он как раз поэтому очень часто толковал эти места правильнее, чем она. Его суждения казались ей наивными, хотя нередко дерзкий полет мысли уносил его в такие звездные дали, куда она не в силах была следовать за ним, и лишь загоралась и трепетала от столкновения с этой неведомой силой. Потом она играла ему, уже без всякого вызова, но испытывая его музыкой, и музыка проникала в глубины, каких ей было не измерить. Все его существо раскрывалось навстречу музыке, словно цветок навстречу солнцу, и он быстро одолел пропасть, отделявшую привычные ему подстегивающие ритмы и созвучия танцулек от той классики, которую Руфь знала чуть ли не

наизусть. Однако он обнаружил плебейское пристрастие к Вагнеру – когда Руфь познакомила его с увертюрой к «Тангейзеру», музыка эта захватила его как ничто другое. В этой увертюре словно отразилась вся его жизнь. Его прошлое воплотилось в музыкальной теме «Грота Венеры». Руфь же для него слилась с темой «Хора пилигримов»; и, восхищенный увертюрой, он уносился ввысь, в далекие дали, в смутный мир духовных поисков, где вечно борются добро и зло.

Случалось ему усомниться, правильно ли она определяет и толкует то или иное музыкальное произведение, и на время он заражал сомнениями Руфь. Но когда она пела, сомнениям места не было, в пении была вся Руфь, и он только изумлялся дивной, мелодичности ее чистого сопрано. И невольно сравнивал: что перед ним пискливые голоса, надрывное взвизгиванье недокормленных и необученных фабричных девчонок и хриплые вопли, пропитые голоса женщин в портовых городах. Руфь с удовольствием пела и играла ему. По правде сказать, впервые в жизни к ней в руки попала живая душа, с которой можно было поиграть, душа податливая, наслаждением было лепить ее как глину; ведь Руфи казалось, будто она формирует его душу, и она подвижна была самыми благими намерениями. Да и приятно было проводить с ним время. Он уже не вызывал неприязни. Враждебность, которую она ощутила при первой встрече, была, в сущности, страхом перед тем, что всколыхнулось в ней самой, а потом страх угас. Она сама того не понимала, но словно чувствовала, что он принадлежит ей. К тому же его присутствие бодрило. Она усердно занималась в университете и, когда отрывалась от пыльных книг и ощущала исходящее от этого человека дыхание свежего морского ветра, у нее прибывало сил. Сила! Именно силы ей недоставало, и он щедро дарил ей силу. Оказаться с ним в одной комнате или встретить его в дверях – значило получить жизненный заряд. А когда он уходил, она с новым запасом энергии, с удвоенным пылом возвращалась к своим книгам.

Она хорошо знала стихи Браунинга, но ей и в голову не приходило, что играть с чужой ли душой, со своей ли не годится. Мартин все больше интересовал ее, и теперь она была одержима желанием перекроить его жизнь.

– Вот хотя бы мистер Батлер, – сказала она однажды, когда с грамматикой, математикой и поэзией на сегодня было покончено. – Вначале у него не было особых преимуществ. Его отец был кассиром в банке, но много лет страдал чахоткой, умер в Аризоне, и после его смерти мистер Батлер, его еще звали просто Чарльз Батлер, оказался один в целом свете. Видите ли, отец был из Австралии, так что в Калифорнии родных у него не было. Он пошел работать в типографию – я слышала это от него много раз – и вначале получал три доллара в неделю. Теперь же его годовой доход тридцать тысяч, не меньше. Как он этого достиг? Он был честен, добросовестен, усерден и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, не то что большинство молодых людей. Он взял себе за правило каждую неделю откладывать определенную сумму, как бы это ни было трудно. Вскоре он, разумеется, зарабатывал уже не три доллара в неделю, а больше, и чем выше становился его заработок, тем больше он откладывал.

Днем он работал, а после работы посещал вечернюю школу. Он всегда думал о будущем. Потом он поступил в полную среднюю школу, тоже вечернюю. Ему было только семнадцать лет, а он уже прекрасно зарабатывал в качестве наборщика, но он был честолобив. Он хотел выдвинуться, а не только зарабатывать на хлеб, и готов был на многие лишения, чтобы в конце концов добиться успеха. Он решил изучить право и поступил в контору моего отца рассыльным, – подумайте только! – всего по четыре доллара в неделю. Но он умел быть бережливым и кое-что сэкономил даже из этих четырех долларов.

Она замолкла, надо было перевести дыхание и проверить, как Мартин принимает ее рассказ. И увидела в его лице живой интерес к нелегкой юности мистера Батлера, однако при этом он хмурился тоже.

– Да, нелегко пришлось парню, – заметил он. – Четыре доллара в неделю. Попробуй-ка проживи.

Бьюсь об заклад, никаких разносолов не видывал. Я вон отдаю за жилье и за стол пять долларов в неделю, и ем только что досыта, верно вам говорю. Видать, собачья была у него жизнь. Харч...

– Он сам готовил себе еду, – перебила Руфь, – на керосинке.

– Харч у него, видать, был хуже матросского на самых распоследних судах, а уж это хуже некуда, там, бывает, матроса голодом морят.

– Но подумайте, какого положения он добился! – с восторгом воскликнула Руфь. – Подумайте, что он может себе позволить на свои теперешние доходы! Теперь он может стократ возместить лишения той ранней поры.

Мартин пристально на нее посмотрел.

– А вот бьюсь об заклад, – сказал он, – невесело ему нынче, хоть он и при больших деньгах. Смолоду голодом сидел, кишки свои не жалел, теперь, видать, ему от них лихо.

Под его испытующим взглядом Руфь опустила глаза.

– Бьюсь об заклад, теперь он желудком хворает! – вызывающе бросил Мартин.

– Да, правда, – призналась она, – но...

– Бьюсь об заклад, – не дослушал Мартин, – серьезный он всегда, угрюмый, вроде старого филина, и нет веселья ему, при всех его тыщах, И когда кто другой радуется, ему не больно весело смотреть. Верно я говорю?

Она кивнула и поспешила объяснить:

– Но просто он человек другого склада. Серьезный, рассудительный. Он всегда такой был.

– А как же, – подхватил Мартин. – Три доллара в неделю, четыре доллара в неделю, молодой парень сам куховарит на керосинке и гроши откладывает, день-деньской работает, вечерами учится – одна только работа, и ни тебе поухаживать, ни тебе повеселиться, даже и не знает, как это люди веселятся... Нет уж, слишком поздно он заполучил свои тридцать тыщ.

Чуткое воображение мигом высветило перед внутренним взором Мартина тысячи подробностей существования того парнишки, его душу, стиснутую единственным стремлением, что и привело его к тридцати тысячам годового дохода. С обычной для свободного полета его мысли стремительностью и полнотой ему ясно представилась вся жизнь Чарльза Батлера.

– Знаете, – прибавил он, – жалко мне мистера Батлера. Молодой он был, не соображал, а ведь обокрал себя, из-за этих тридцати тыщ в год вовсе жизни не видал. Теперь и за тридцать тыщ, экие деньжищи, не купить ему никакой радости, а ведь мальчишкой мог нарадоваться за десять центов – не откладывал бы их, а взял леденцов или там орехов, а то билетик на галерку.

Вот такая необычность взгляда и пугала Руфь. Не только удивляла новизной, не только противоречила ее мнениям, – Руфь всегда ощущала здесь зародыш правды, которая грозила опрокинуть или изменить ее собственные убеждения. Будь ей четырнадцать, а не двадцать четыре, она и сама, слушая Мартина, стала бы, пожалуй, по-иному смотреть на мир; но ей было двадцать четыре, и, консервативная по натуре и воспитанию, она уже впитала представления того узкого круга, в котором родилась и выросла. Правда, причудливые суждения Мартина в первую минуту ее тревожили, но она приписывала их своеобразию натуры этого человека и его удивительной жизни и быстро забывала. Однако, хотя она и не одобряла его взглядов, горячность Мартина, блестящие глаза, искренность, которой дышало его лицо, неизменно приводили ее в трепет, влекли к нему. Она бы никогда не подумала, что у этого выходца из совсем другого мира в такие минуты бывали прозрения, недоступные ей, и что мыслит он и шире и глубже. Ее ограниченность была ограниченностью ее мирка; но ум ограниченный не замечает своей ограниченности, видит ее лишь в других. А потому Руфь полагала, что мыслит

широко и, если их взгляды расходятся, виной тому ограниченность Мартина; и она мечтала помочь ему увидеть мир таким, каким видит она, расширить его горизонты, чтобы они совпадали с ее собственными.

– Но я еще не все рассказала, – продолжала она. – По словам моего отца, мистер Батлер с самого начала работал как ни один посыльный. Он всегда отличался необыкновенным усердием. Никогда не опаздывал, обычно приходил в контору даже раньше, чем положено. И, однако, он экономил время. Каждую свободную минуту посвящал учению. Учился счетоводству и машинописи, а за уроки стенографии платил тем, что диктовал по вечерам репортеру по судебным делам, которому требовалась практика. Скоро он стал письмоводителем и сумел достичь в своем деле совершенства. Мой отец оценил его по достоинству и понял, что он способен выдвинуться. По совету отца он поступил в юридический колледж. Стал юристом, и, как только вернулся в контору, отец сделал его своим младшим партнером. Он замечательный человек. Он несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов, и отец говорит, он, если захочет, может стать членом Верховного суда, как только освободится вакансия. Такая жизнь – вдохновляющий пример для всех нас. Она показывает, что волевой человек может подняться над своей средой.

– Замечательный человек, – искренне сказал Мартин.

Но что-то в этом повествовании оскорбило его чувство красоты, его понятие о жизни. Он не видел в жизни мистера Батлера цели, ради которой стоило во всем себе отказывать и терпеть лишения. Будь это любовь к женщине или стремление к красоте, Мартин бы понял. Когда с ума сходишь от любви, на все пойдешь ради поцелуя, но не маяться же ради тридцати тысяч в год. Нет, не по душе ему карьера мистера Батлера. В конце концов было в таком успехе что-то жалкое. Тридцать тысяч в год, конечно, хорошо, но больные кишки и неспособность радоваться простым человеческим радостям начисто обесценивают этот роскошный доход.

Многое из этих своих размышлений он попытался высказать Руфи, но она возмутилась в душе и ясно поняла, что его еще надо шлифовать и шлифовать. То была очень обычная узость мышления – те, кто ею страдают, убеждены что их цвет кожи, их верования и политические взгляды – самые лучшие, самые правильные, а все прочие люди во всем мире обделены судьбой. Из-за этой же узости иудей в древние времена благодарил Господа Бога, что тот не создал его женщиной, из-за нее же нынешний миссионер отправляется на край света, стремясь своей религией вытеснить старых богов; и из-за нее же Руфь жаждала переkreить этого выходца из иного мира по образу и подобию людей своего круга.

Мартин Иден возвратился из плавания, любовь гнала его в Калифорнию. Когда деньги его иссякли, он нанялся матросом на шхуну, отправлявшуюся на поиски сокровищ; восемь месяцев напрасных усилий – и Соломоновы острова стали свидетелями бесславного конца экспедиции. В Австралии с командой рассчитались, и Мартин тут же нанялся на корабль, идущий в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он немало заработал, так что теперь очень нескоро надо будет опять выйти в море, да еще и сумел много заниматься и много прочесть.

Учение давалось ему легко, и эту способность поглощать знания подкрепляла неукротимость духа и неукротимость любви к Руфи. Он взял с собой грамматику, читал и перечитывал ее опять и опять, пока его не перегруженный знаниями мозг не овладел этой премудростью. Он подмечал, как грешат против грамотности его товарищи по плаванию, и всякий раз мысленно поправлял их неуклюжие выражения и повторял про себя уже по всем правилам. Он радовался открытию, что ухо его становится чувствительным к ошибкам, что у него появляется некое грамматическое чутье. Искаженное слово, неверное произношение резали ему слух, как фальшивая нота, но пока еще такая фальшивая, нота нередко вырывалась и у него самого. Научиться всем этим новшествам с ходу он не мог.

Несколько раз подряд проштудировав грамматику, Мартин взялся за словарь и каждый день выучивал по два десятка новых слов. Оказалось, это задача не простая, и, стоя впередсмотрящим или за штурвалом, он упорно повторял слова из все удлиняющегося списка, их произношение и значения, и от этого неизменно клонило в сон. «Вряд ли», «по зрелом размышлении», «оставляет желать лучшего» – эти и иные выражения он шепотом повторял, стремясь привыкнуть к языку, каким разговаривала Руфь. «Их, их», а не «ихний», «что-то, что-то», а не «чтой-то» – настойчиво, тысячи раз твердил он и с удивлением стал замечать, что начинает разговаривать правильнее, чем сам капитан с помощниками и господа из кают-компании, охотники за сокровищами, которые финансировали экспедицию.

Капитан был норвежец с тусклыми глазами, у него невесть откуда оказалось собрание сочинений Шекспира, которое сам он и не думал читать, и Мартин стал стирать на капитана, а взамен получил доступ к драгоценным томам. И так он погрузился в шекспировские драмы, так легко запечатлелись у него в памяти многие места, которые особенно пришились по душе, что одно время весь мир стал ему представляться елизаветинскими трагедиями и комедиями и даже думать он начал белыми стихами. Это оттачивало слух и, давало прекрасное представление о богатстве родного языка; вдобавок это познакомило со многим, что устарело и вышло из употребления.

Восемь месяцев были проведены с толком, и, мало того что Мартин приобщался к правильной речи и высокому строю мыслей, он многое понял в себе. Рядом со скромностью – ведь он так мало знает – в нем теперь была уверенность в своей силе. Он чувствовал, что резко отличается от товарищей по плаванию, и у него хватало ума осознать, что разделяет их, скорее, не уже им достигнутое, а то, чего он еще способен достичь. Что смог он, смогли бы и они; но что-то зрело, бродило в нем, подсказывая, что он может больше, чем уже сделал. Несказанная красота мира томила душу, – вот если бы Руфь была здесь, разделить бы это с ней. Он решил, что опишет ей красивейшие уголки Океании. Творческое начало вспыхнуло в нем, побуждая воссоздать эту красоту, и не для одной Руфи, но для многих людей. И тут в неслыханном блеске его озарила великолепная мысль. Он станет писателем. Люди увидят, услышат, ощутят мир и его зрением, слухом, его сердцем. Он станет писать все, что угодно – о событиях вымышленных и подлинных, – стихи и прозу, и, как Шекспир, пьесы. Вот дело жизни, вот она, возможность

приблизиться к Руфи. Писатели – титаны мира, и, уж конечно, они будут получше мистеров батлеров, пускай даже у тех и тридцать тысяч годового дохода и, стоит им захотеть, они сразу станут членами Верховного суда.

Едва родившись, мысль эта овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско был как сон. Он опьянел от своего нежданного могущества, ему казалось, что для него нет ничего невозможного. Посреди пустынных просторов океана перед ним отчетливого вырисовывалось будущее. Лишь теперь он впервые ясно увидел Руфь и ее мир. Мир этот возник перед его мысленным взором во плоти, – можно было и так и эдак повернуть его и хорошенько разглядеть. Многое оказалось смутно, расплывчато, но Мартин увидел целое, а не подробности, и еще увидел, как этим миром овладеть. Писать! Мысль эта разгорелась в нем. Он начнет, как только возвратится. И первым делом опишет путешествие охотников за сокровищами. Продаст рассказ какой-нибудь сан-францисской газете. А Руфи ничего не скажет, и она вдруг увидит его имя напечатанным и удивится и обрадуется. Он будет писать, а учиться не бросит. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим. Он умеет работать, и никаким крепостям перед ним не устоять. Ему больше не придется плавать простым матросом; и тут в его воображении промелькнула паровая яхта. Есть писатели, у которых свои паровые яхты. Конечно, тут нужен разгон, предостерег он себя, хорошо, если поначалу удастся заработать столько, чтоб можно было учиться дальше. А потом, пройдет время, много ли, мало – неизвестно, он выучится, подготовится и напишет замечательные вещи, и его имя будет у всех на устах. Но куда важней – несравнимо важней, важней всего на свете, – он покажет, что достоин Руфи. Слава – это прекрасно, однако великолепная мечта его родилась ради Руфи. Не славы он ищет, он просто без памяти влюблен.

Он приехал в Оклэнд с туго набитым кошельком, поселился в той же каморке у Бернарда Хиггинботема и засел за работу. Даже не дал знать Руфи, что возвратился. Решил пойти к ней, когда напишет очерк про охотников за сокровищами. Отложить встречу с ней было не так уж трудно – в нем пылала яростная жажда творчества. К тому же очерк приблизит к нему Руфь. Много ли надо написать, он не знал, но сосчитал, сколько слов на развороте воскресного приложения к «Сан-францисскому наблюдателю», и решил так держать. За три дня, работая как бешеный, он закончил повествование, старательно, покрупнее для разборчивости переписал его, и тогда узнал из пособия по стилистике, взятого в библиотеке, что существуют на свете абзацы и кавычки. Прежде он ни о чем таком не задумывался и тотчас принялся заново переписывать свое сочинение, поминутно справляясь с пособием, и за один день узнал о том, как строить рассказ, больше, чем средний школьник узнает за год. Переписав свой очерк во второй раз и тщательно свернув трубочкой, он наткнулся в какой-то газете на советы начинающим авторам, и оказалось, что рукописи ни в коем случае нельзя сворачивать трубочкой, а писать следует на одной стороне страницы. Он же нарушил оба эти правила. Из той же заметки он узнал еще, что крупные газеты платят не менее десяти долларов за столбец. И когда переписывал рукопись в третий раз, утешался, умножая десять столбцов на десять долларов. Получалось все время одно и то же: сто долларов – повыгодней, чем плавать матросом. Не эти бы промахи, на все про все ушло бы три дня. Сотня долларов за три дня! В море он бы их заработал за три месяца, а то и поболее. Экая глупость – мотаться по морям, если можешь писать, порешил он, хотя деньги сами по себе ничего не значат. Они тем ценны, что дают свободу, позволяют купить приличную одежду, – а все это приблизит его, и очень быстро, к тоненькой бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и вдохновила его.

Он запечатал рукопись в большой конверт и адресовал ее редактору «Сан-францисского наблюдателя». Ему представлялось, будто все, что присылают в газету, немедленно печатается, и, послав рукопись в пятницу, он надеялся в воскресенье увидеть свое творение на страницах

газеты. Отличный способ оповестить Руфь, что он вернулся. Тогда в воскресенье во вторую половину дня он позвонит ей и увидит ее. А меж тем его уже занимала новая мысль, и он гордился, что она такая здравая, разумная и скромная. Он напишет приключенческую повесть для мальчишек и отошлет в «Спутник юношества». И он пошел в публичную библиотеку просмотреть комплекты «Спутника юношества». Оказалось, повести с продолжением печатаются там обычно в пяти номерах, около трех тысяч слов в каждом. Были и такие, которые печатались даже в семи номерах, и он решил писать именно такую.

Однажды он нанялся на китобойное судно, направлявшееся в Арктику, – плавание должно было продлиться три года, но уже через полгода все кончилось кораблекрушением. Одаренный живым, подчас необузданно пылким воображением, Мартин, однако, всему предпочитал доподлинную правду и хотел писать о том, что знает. Охоту на китов он знал и, основываясь на этом знании жизни, принялся сочинять приключения двух мальчишек – своих героев. Пустячная работа, решил он в субботу вечером. В тот день он закончил первый кусок в три тысячи слов, чем позабавил Джима, зато Хиггинботем весь обед злобно язвил насчет «писаки», который завелся в их семействе.

Мартин же с тайной радостью представлял, как зять захлопает глазами, когда раскроет поутру воскресный выпуск «Наблюдателя» и увидит очерк про охотников за сокровищами. В то воскресенье он спозаранку был уже у входной двери и лихорадочно перелистывал газету. Перелистал и еще раз, очень внимательно, потом сложил и оставил там; где взял. Хорошо хоть, никому загодя не сказал про свое сочинение. Наверно, ошибся в расчетах, написанное не так-то быстро попадает на страницы газеты, решил он, поразмыслив. Притом, в его сочинении нет таких уж свежих новостей, и скорей всего редактор прежде напишет ему об этом.

После завтрака он опять засел за повесть с продолжением. Слова так и лились, хотя он нередко отрывался – искал в словаре значение слова или заглядывал в учебник стилистики. А уж заглянув, часто при этом читал и перечитывал какую-нибудь главу, не больше одной за раз; и утешался тем, что, пока он не пишет то замечательное, что в себе чувствует, он, во всяком случае, набивает руку в искусстве строить сочинение и учится додумывать и выражать свои мысли.

Он трудился дотемна? потом отправился в читальню и до самого закрытия, до десяти часов, вдумчиво читал журналы и еженедельники. Такую он себе составил программу на неделю. Каждый день писал три тысячи слов и каждый вечер с пристрастием изучал журналы, раздумывая над рассказами, очерками и стихами, по мнению редакторов годными – для печати. Одно было несомненно. Он может писать не хуже всего этого великого множества писателей, а дайте только срок, и он напишет так, как им и не снилось. Прочитав в «Книжных новостях» заметку о гонорах журнальных авторов, он обрадовался не столько, что Киплинг получал доллар за слово, сколько тому, что первоклассные журналы платят не меньше двух центов за слово. «Спутник юношества» несомненно первоклассный журнал, а стало быть, за три тысячи слов, которые он написал в тот день, он получит шестьдесят долларов – в плавание столько заработаешь за два месяца!

Вечером в пятницу он дописал последнюю часть – всего получилась двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово получается четыреста двадцать долларов – неплохо за неделю работы. Столько денег сразу у него сроду не было. Не придумаешь, на что их все и потратить. Он напал на золотую жилу. Из нее можно черпать и черпать. Он купит еще одежды, подпишется на разные журналы, купит десятки справочников, а то ходи каждый раз в библиотеку. И все равно большая часть четырехсот двадцати долларов остается неистраченной. Он не знал, как тут быть, пока не додумался нанять прислугу Гертруде и купить Мэриан велосипед.

Он отправил пухлую рукопись в «Спутник юношества» и, задумав очерк о ловле жемчуга, в

субботу после обеда пошел к Руфи. Он заранее позвонил по телефону, и она сама встретила его в дверях. И опять ее обожгло жаркой волной – таким все в нем дышало здоровьем. Казалось, эта жаркая сила разлилась по всему ее телу, и Руфь затрепетала. Мартин взял ее руку в свои, заглянул в ее голубые глаза и вспыхнул, но за восемь месяцев под солнцем лицо его стало совсем бронзовым, и этот свежий загар скрыл краску на щеках, но не скрыл полосу на шее, натертую жестким воротничком. Красный след позабавил Руфь, но едва она заметила, как Мартин одет, смеяться расхотелось. Костюм сидел отлично – первый его костюм от портного – и казалось, Мартин стал стройнее, лучше сложен. К тому же кепку заменила мягкая шляпа, Руфь велела ее надеть и с одобрением отозвалась о том, как он теперь выглядит. Она уж и не помнила, когда так радовалась. Эта перемена – дело ее рук, тут есть чем гордиться, и она, конечно же, конечно, будет помогать ему и дальше.

Но самая серьезная перемена произошла в его речи, и именно это было ей всего приятнее. Он стал говорить не только правильнее, но и непринужденней, и его словарь стал много богаче. Однако стоило ему разволноваться или увлечься, и он опять ошибался в произношении слова, неправильно строил фразу. И случалось, смущенно запинаясь, вставляя в разговор лишь недавно выученное слово. Но при этом речь его не только стала непринужденнее; Руфь с удовольствием отметила, как свободен, остроумен ход его мысли. Именно веселые шутки, способность добродушно подтрунивать и сделали его любимцем в своем кругу, но раньше он не находил нужных слов, не умел правильно выражаться, а потому и не мог проявить эту способность при Руфи. Он еще только начинал осваиваться, чувствовать, что он не вовсе чужак здесь. Но был очень осторожен, намеренно осторожен, предпочитал, чтобы веселый и легкий тон задавала Руфь, а сам хоть и не отставал, не осмеливался ее опережать.

Он рассказал, чем был занят, поделился своими планами – зарабатывать на жизнь писательством и учиться дальше. Но к немалому его разочарованию, Руфь этого не одобрила. Его план не слишком ей понравился.

– Видите ли, – откровенно сказала она, – писательство должно быть профессией, как и все остальное. Я, разумеется, в этом не очень сведуща. Я лишь высказываю общепринятое мнение. Разве можно стать кузнецом, не проучившись этому ремеслу три года... или, кажется, пять? Писателям же платят много больше, чем кузнецам, и, должно быть, очень многие хотели бы, писать... пробуют стать писателями.

– Ну, а может быть, я как раз для этого и создан, чтобы писаться – допытывался Мартин, втайне ликуя, что так ловко подбирает слова, и вся эта сцена, самый дух ее тотчас высветились на широком экране воображения рядом с другими сценами его жизни – сценами грубыми, жестокими, пошлыми, мерзкими.

Вся эта пестрая мозаика мигом вспыхнула перед ним, не прервав беседу, не нарушив спокойное течение его мыслей. На экране воображения он увидел себя и милую прелестную девушку – они сидят напротив друг друга и беседуют на правильном языке в комнате, полной книг и картин, где все так прилично и культурно, все озарено ярким светом незыблемого великолепия; а по обе стороны тянутся, отступая к отдаленным краям экрана, совсем иные, уродливые, сцены, каждая – отдельная картинка, и он, зритель, волен разглядывать любую. Он видел их сквозь медленно плывущие пряди и клубы зловещего тумана, что истаивал в лучах ярко-красного, слепящего света. Вот ковбои у стойки пьют обжигающее горло виски, слышны непристойности, грубая брань, и сам он тут же, с ними, пьет и сквернословит заодно с самыми буйными или сидит за столом под коптящей керосиновой лампой, и стучат, звенят монеты, и карты переходят из рук в руки. Вот он на полубаке «Сасквеханны», голый по пояс, сжав кулаки, без перчаток бьется в знаменитой схватке с Рыжим Ливерпулем; а вот треклятая палуба «Джона Роджерса» в то серое утро, когда они попытались взбунтоваться, помощник капитана в

предсмертных муках судорожно дергается на крышке грузового люка, револьвер в руках капитана изрыгает огонь и дым, а вокруг теснятся разъяренные матросы, их лица искажены ненавистью, они отчаянно богохульствуют и падают под выстрелами... И опять перед Мартином та, главная картина, спокойная, чистая, освещенная ровным светом, где среди книг и картин сидела Руфь и беседовала с ним; вот и фортепьяно, на котором она потом будет ему играть, и до него доносится эхо его же тщательно выбранных, правильно произнесенных слов: «Ну, а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать?»

– Но даже если человек как раз для того и, создан, чтобы стать кузнецом, – со смехом возразила она, – я не слышала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не обучившись этому ремеслу.

– А что, вы мне посоветуете? – спросил он. – И не забудьте, я чувствую, у меня есть способность писать... не могу объяснить, просто знаю, есть у меня эта способность.

– Надо получить солидное образование, – был ответ, – независимо от того, станете ли вы в конце концов писателем. Какое бы поприще вы ни избрали, образование необходимо, и притом не поверхностное, не бессистемное. Вам бы следовало закончить среднюю школу.

– Да... – начал он, но она перебила, досказала то, о чем не подумала сразу:

– При этом вы, разумеется, могли бы продолжать писать.

– Пришлось бы, – хмуро сказал он.

– Почему? – Она взглянула на него немало озадаченная, ей не слишком приятно было, что он упорствует в своей затее.

– Потому что если не писать, не будет и средней школы. Мне надо на что-то жить и покупать книги и одежду.

– Совсем забыла, – засмеялась она. – Ну зачем вы не родились человеком со средствами?

– Лучше крепкое здоровье и воображение, – ответил он. – Набитая мошна дело хорошее, да ведь человеку этого мало.

– Не говорите «набитая мошна», – воскликнула она с милой досадой. – Это вульгарно, ужасно.

Он побагровел.

– Да-да, верно, – заикаясь, пробормотал он, – и пожалуйста, поправляйте меня каждый раз.

– Я... я с удовольствием... – Теперь уже она запнулась.

– В вас столько хорошего, я хотела бы, чтобы вы избавились от недостатков.

И тотчас он обратился в глину в ее руках и также сгоряча желал, чтобы она лепила из него что хочет, как она желала перекроить его наподобие своего идеала мужчины. И когда она заметила, что время сейчас для него удачное, вступительные экзамены в среднюю школу начинаются в следующий понедельник, он сразу же сказал, что будет их сдавать.

Потом она играла и пела ему, а он глядел на нее с тоской и жадностью, упивался ее прелестью и дивился, что ее не слушают сейчас, не томятся по ней сотни поклонников, как томится по ней он.

В тот вечер он остался обедать и, к удовольствию Руфи, произвел благоприятное впечатление на ее отца. Они говорили о моряцкой профессии, в чем Мартин разбирался отлично, и мистер Морз заметил потом, что гость произвел на него впечатление весьма здравомыслящего молодого человека. Мартин старался избегать матросского жаргона, подыскивал верные слова и оттого говорил медленно, зато успевал собраться с мыслями... Он держался свободнее, чем при первом знакомстве, почти год назад, и его застенчивость и скромность даже пришлось по вкусу миссис Морз, которой понравилась заметная в нем перемена к лучшему.

– Он первый мужчина, который привлек хоть какое-то внимание Руфи, – сказала она мужу. – До сих пор наша дочь была так не по возрасту безразлична к мужчинам, что я уже серьезно беспокоилась.

Мистер Морз пытливо посмотрел на жену.

– Ты постарайся, чтобы этот матрос ее разбудил? – спросил он.

– Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы она не осталась старой девой, – был ответ. – Если благодаря этому молодому Идену в ней проснется естественный интерес к мужчинам, это будет неплохо.

– Совсем неплохо, – отозвался муж. – Но предположим... а иной раз следует предполагать заранее, дорогая... предположим, в ней проснется интерес именно к нему?

– Невозможно! – Миссис Морз рассмеялась. – Она на три года старше его, и вообще это невозможно. Ничего такого не случится. Положись на меня.

Итак, роль Мартина была predetermined, а сам он тем временем затевал некое сумасбродство – на эту мысль его навели Артур и Норман. Воскресным утром братья отправляются на велосипедах в горы, сперва Мартина это никак не заинтересовало, но тут он узнал, что Руфь тоже ездит на велосипеде и участвует в прогулке. Сам он ездить не умел, и велосипеда у него не было, но раз она умеет, значит, надо и ему начать; и распрощавшись вечером с Морзами, он по дороге домой зашел в магазин и выложил за велосипед сорок долларов. Это куда больше, чем он зарабатывал тяжелым трудом за месяц, и кошелек его изрядно отощал; зато когда он прибавил сотню долларов, которую предстояло получить в «Наблюдателе», к четыремстам двадцати – уж меньше-то «Спутник юношества» не заплатит, – он решил, что теперь можно не больно ломать голову, куда девать эдакую прорву денег. Не огорчился он и когда, надумав сразу же поехать на велосипеде домой, погубил костюм. В тот же вечер он из лавки Хиггинботема позвонил портному и заказал новый. Потом втащил велосипед по узенькой лестнице, которая, наподобие пожарной, примыкала к дому с тыла, отодвинул у себя кровать от стены, и оказалось, теперь в комнатухе только и поместятся он да велосипед.

Воскресенье он хотел потратить на подготовку к экзаменам в среднюю школу, но увлекся историей о ловцах жемчуга и весь день лихорадочно писал, воссоздавал из слов пламеневшую в нем красоту и необыкновенные приключения. Рассказ об охотниках за сокровищами и в это утро не появился на страницах «Наблюдателя», но пыл Мартина не угас. Он унесся в недостижимые выси, не услышал, как его дважды позвали к столу – и остался без тяжеловесного обеда, который по воскресеньям неизменно украшал стол Хиггинботема. Такими обедами мистер Хиггинботем наглядно показывал, как он преуспел в жизни и сколь многого достиг, и по этому случаю неизменно раздражался препошлой речью во славу американских порядков и возможности выйти в люди, предоставленной благодаря этим порядкам каждому, кто в поте лица добывает хлеб свой, – а он сам, всякий раз напоминал он, уже вышел в люди, превратился

из приказчика во владельца бакалейной лавки «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет».

В понедельник утром Мартин Иден со вздохом глянул на неоконченных «Ловцов жемчуга-» и поехал в Окленд в среднюю школу. А когда через несколько дней справился о результатах экзаменов, оказалось, что он провалился по всем предметам, кроме английского языка.

– Вы превосходно владеете родным языком, – сообщил преподаватель Хилтон, пристально глядя на него через толстые стекла очков, – но по всем остальным предметам вы не знаете ничего, ровным счетом ничего, а что касается истории Соединенных Штатов, ваше невежество чудовищно, просто чудовищно, иначе не скажешь. Я посоветовал бы вам...

Хилтон замолчал и, одаренный сочувствием и воображением не больше чем какая-нибудь из его пробирок, уставился на Мартина. Он преподавал в средней школе физику, весьма мало зарабатывал, обременен был большим семейством и солидным запасом тщательно заученных, но отнюдь не осмысленных знаний.

– Слушаю вас, сэр, – почтительно сказал Мартин, думая, что лучше бы на месте Хилтона сейчас оказался человек из справочного отдела библиотеки.

– Я посоветовал бы вам вернуться в неполную среднюю школу, по крайней мере, года на два. Прощайте.

Провал этот не слишком огорчил Мартина, и он изумился, увидев, как омрачилось лицо Руфи, когда она услышала совет Хилтона. Она была так явно разочарована, что он и сам огорчился, но больше из-за нее.

– Вот видите, я была права, – сказала она. – Вы знаете гораздо больше любого из тех, кто поступает в старшие классы, а экзамены не выдержали. Все оттого, что знания у вас отрывочные, случайные. Вам необходимо систематическое образование, его могут дать лишь опытные учителя. Вам надо изучить самые основы. Мистер Хилтон прав, и на вашем месте я поступила бы в вечернюю школу. За полтора года вы пройдете там двухлетний курс. Кроме того, дни у вас останутся свободными и вы сможете писать или, если не сумеете этим зарабатывать на жизнь, будете где-нибудь служить.

«Но если дни уйдут на работу, а вечера на школу, когда же мне видеться с вами?» – прежде всего подумал Мартин, но от вопроса удержался. И вместо этого сказал:

– Как-то это по-ребячьи – учиться в вечерней школе. Но это бы ладно, был бы толк. А по-моему, толку не будет. Сам я выучусь быстрее, чем с учителями. На школу уйдет прорва времени (он подумал о Руфи, он так жаждет ее завоевать), не могу я терять время зря. Нет у меня лишнего времени.

– Вам необходимо еще очень многое узнать. – Руфь смотрела участливо, и Мартина кольнула совесть: какая же он скотина, что не соглашается с ней. – Физикой и химией без лабораторных занятий овладеть нельзя, а в алгебре и геометрии, как вы сами убедитесь, тоже невозможно разобраться без учителей. Вам нужны опытные преподаватели, специалисты, владеющие искусством передавать знания.

Он помолчал, подыскивая слова, которые не прозвучали бы похвальбой.

– Вы не подумайте, что я хвастаюсь, – начал он. – Ничего похожего. А только сдается мне, у меня, можно сказать, дар учиться. Я могу заниматься сам. Я тут как рыба в воде. Вы сами видите, как я справился с грамматикой. И я еще много чему выучился, вы даже не представляете, сколько я всего узнал. И это я только начинаю. Дайте срок, я... – Он запнулся, хотел увериться, что говорит правильно, – я наберу темп. Это еще первые шаги. Я только начинаю кумекать...

– Пожалуйста, не говорите «кумекать», – прервала Руфь.

– Смекать, – поспешно поправился он.

– Лучше обходиться без этого слова, – возразила она.

Он все барахтался, стараясь выплыть.

– Я куда гну, я только начинаю соображать, что тут к чему.

Из жалости она воздержалась от замечания, и Мартин продолжал:

– Сдается мне, знания – они вроде штурманской рубки. Как приду в библиотеку, всегда про это думаю. Дело учителей по порядку растолковать ученикам все, что есть в рубке. Учителя – проводники по штурманской рубке, вот и все. Ничего нового они тут не выдумывают. Не они все это сработали, не они создали. В рубке есть карты, компас, все, что надо, а учительское дело все новичкам показать, чтоб не заблудились. Ну, а я не заблужусь. Я уж дорогу распознаю. Почти всегда знаю, где я есть... опять не так сказал?

– Выражение «где я есть» неправильное.

– Ну да, – с благодарностью согласился Мартин, – Я почти всегда знаю, где я. Так где же я? Да в штурманской рубке. А некоторым, видать...

– Наверно, – поправила она.

– Некоторым, наверно, нужны проводники... почти всем, а я так думаю, я могу обойтись без них. Я уже сколько времени пробыл в рубке и вот-вот научусь разбираться, соображу, какие мне нужны карты, какие берега я хочу исследовать. Раскинул я мозгами и вижу: сам я, один, справлюсь куда быстрее.

Известно ведь, ход эскадры применяется к скорости самого тихоходного корабля, ну, и с учителями так же. Нельзя им идти быстрее рядовых учеников, а я пойду своим шагом и обгоню их.

– «Тот шагает быстрее, кто шагает один», – процитировала Руфь.

– А с вами я все равно бы шагал быстрее, – готов был выпалить Мартин, и ему уже представились бескрайние залитые солнцем просторы и полные звезд бездны, и он плыл там вместе с нею, обхватив ее рукой, и ее светло-золотистые волосы льнули к его лицу. И в тот же миг он осознал свое жалкое косноязычие. Господи! Если бы он мог передать ей словами то, что видел сам! Взмывало, мучительной тоской отозвалось желание нарисовать те картины, что, незванные, вспыхивали в зеркале памяти. А, вот оно! Тайна приоткрылась ему. Вот что, оказывается, делали великие писатели и замечательные поэты. Вот почему они стали титанами. Они умели выразить то, что думали, чувствовали, видели. Дремлющие на солнцепеке собаки часто скулят и лают, но они не способны рассказать, что же им привиделось такое, отчего они заскулили и залаяли. Он часто гадал, что же они видят. Вот и сам он – всего лишь дремлющий на солнцепеке пес. Он видит величественные, прекрасные картины, но, чем пересказать их Руфи, только и может скулить да лаять. Нет, больше он не станет дремать на солнце. Он подымет, стряхнет с себя сон и будет стараться изо всех сил, работать не покладая рук, учиться – пока не прозреет, не заговорит, пока не сумеет разделить с ней богатство запечатленных в памяти картин. Открыли ведь другие секрет выразительности, обратили слова в послушных слуг, ухитряются так их сочетать, что вместе слова эти значат куда больше, чем сумма их отдельных значений. Мартина глубоко взволновала приоткрывшаяся ему тайна, и опять засияли перед ним залитые солнцем просторы и звездные бездны... А потом он, заметил, какая стоит тишина, и увидел, что Руфь весело смотрит на него и глаза ее смеются.

– Я грезил наяву, – сказал он, и от звука этих слов екнуло сердце. Откуда взялись у него такие слова? Они совершенно точно выразили то, из-за чего прервался их разговор. Произошло чудо. Никогда еще не выражал он возвышенную мысль так возвышенно. Но ведь он никогда и не пытался облечь в слова возвышенные мысли. Вот именно. Теперь все понятно. Он никогда не пробовал. А Суинберн пробовал, и Теннисон, и Киплинг, и все другие поэты. В уме

промелькнули «Ловцы жемчуга». Он ни разу не осмелился заговорить о важном, о красоте, которой был одержим, – об этом источнике его вдохновения. Он вернется к истории о ловцах жемчуга, и она станет совсем другая. Беспредельность красоты, что по праву наполняла эту историю, поразила его, и опять он загорелся и осмелел и спросил себя, почему не воспеть эту красоту прекрасными стихами, как воспевали великие поэты. А вся непостижимая прелесть, вдохновенный восторг его любви к Руфи! Почему не воспеть и любовь, как воспевали великие поэты? Они складывали стихи о любви. Сложит и он. Черт побери...

Со страхом он услышал, как этот возглас отдался в ушах. Замечтавшись, он чертыхнулся вслух. Кровь бросилась в лицо, хлынула волнами, поглощая бронзу загара, и вот уже краска стыда разлилась по шее до самого воротничка и вверх, до корней волос.

– Я... я... простите меня, – пробормотал он. – Я задумался.

– А прозвучало это у вас как будто молитесь, – храбро ответила Руфь, но внутренне вся сжалась, похолодела. Впервые при ней выругался знакомый человек, и она была возмущена – не только из принципа и не от благовоспитанности, – буйный порыв жизни, ворвавшийся в отгороженный от всего грубого сад ее девичества, глубоко ее оскорбил.

Но, она простила и удивилась, как легко ей было простить. Отчего-то прощать ему оказалось совсем нетрудно. У него не было возможности стать таким, как другие мужчины, и он так старается, и делает успехи. Она и не подозревала, что ее снисходительность к нему может быть вызвана какими-то иными причинами. Да и как ей было понять. До двадцати четырех лет она прожила в безмятежном равновесии, ни разу даже не влюбилась, а потому не умела разбираться в своих чувствах; не испытал еще жара настоящей любви, не сознавала, что сейчас в ней разгорается любовь.

Мартин опять вернулся к «Ловцам жемчуга» и давно бы уже покончил с ними, если бы то и дело не отрывался, пытаясь писать стихи. Его вдохновляла Руфь, и стихи он писал любовные, но ни одного не завершил. Высоким искусством поэзии за день не овладеешь. Рифма, ритм, композиция стиха уже сами по себе достаточно сложны, но кроме этого, сверх этого, есть и еще что-то неуловимое, ускользающее, он ощущал это во всех прекрасных стихах великих поэтов, а поймать, заключить в свои стихи не мог. То был сам непостижимый дух поэзии, Мартин чуял его близость, охотился за ним, но тот не давался. Казалось, это – жаркое сияние, обманный уплывающий туман, до которого не дотянуться, лишь изредка вдруг посчастливится ухватить несколько прядей и сплести из них строчки, которые звенели внутри неотступным эхом или проплывали перед мысленным взором воздушными видениями неправдоподобной красоты. Это было горько. Он жаждал высказать себя, а получалась обыкновеннейшая болтовня, такое мог всякий. Он читал написанное вслух. Уверенной поступью шагал размер, рифма подхватывала, отбивала столь же безукоризненный ритм, но не было в них ни жара, ни высокого волнения, которое ощущал в себе Мартин. Не мог он этого понять и, в отчаянии, поверженный, угнетенный, снова и снова возвращался к очерку. Конечно же, проза более легкий способ высказаться.

После «Ловцов жемчуга» он написал очерк о море и о жизни матросов, и об охоте на черепаха, и еще о северо-восточных пассатах. Потом попробовал себя в рассказе и с ходу написал шесть рассказов и разослал их в разные журналы. Он писал много, усердно, с утра до вечера, до поздней ночи, отрывался лишь, чтобы войти в читальню, в библиотеку за книгами или к Руфи. Он был поистине счастлив. Жизнь была полна как никогда. Пламя, горевшее в нем, не слабело ни на миг. К нему пришла радость созидания, та, которой будто бы владеют только боги. Все, что было вокруг – запах гниющих овощей и мыльной пены, неряшливый вид сестры, злорадная ухмылка Хиггинботема, – просто сон. Подлинная жизнь шла у него в голове, и каждый рассказ был частицей этой подлинной жизни.

Дня не хватало. Столько всего хотелось узнать. Он урезал сон до пяти часов, и оказалось, этим вполне можно обойтись. Попробовал спать четыре с половиной часа и с сожалением вернулся к пяти. Он бы с радостью посвятил все остающееся от сна время любому из своих занятий. Жаль было отрываться от сочинительства ради ученья, отрываться от ученья и идти в библиотеку, приходилось гнать себя из штурманской рубки знаний или из читальни, от журналов, полных секретами мастерства тех, кто сумел продать плоды трудов своих. Что-то рвалось в нем, когда надо было встать и уйти от Руфи, но по темным улицам он не шел, а мчался, спеша скорее попасть домой, к своим книгам. А труднее всего было захлопнуть учебник алгебры или физики, отложить книгу и карандаш, закрыть усталые глаза и уснуть. Самая мысль, что надо выключиться из жизни, даже так ненадолго, была ненавистна и утешало одно, что уже через пять часов зазвенит будильник. Все же он потеряет не больше пяти часов, а потом трезвон вырвет его из беспамятства, и начнется новый чудесный день длиной в девятнадцать часов.

Тем временем шла неделя за неделей, деньги таяли, а новых доходов не было. Через месяц после того, как он послал в «Спутник юности» приключенческую повесть для мальчишек, рукопись ему вернули. Отказали в самых деликатных выражениях, и Мартин ничуть не обиделся, решил, что редактор славный малый. Совсем иные чувства вызвал у него редактор «Сан-францисского наблюдателя». Прождав ровно две недели, Мартин ему написал. Еще через неделю написал опять. На исходе месяца поехал в Сан-Франциско и направился к редактору. Но увидеться с этой высокой персоной не удалось, помешал охранявший врата цербер – рыжий

мальчишка-рассыльный. К концу пятой недели рукопись вернулась по почте, без единого сопроводительного слова. Ни письменного отказа, ни объяснения, ничего. Так же поступили с его материалами и прочие ведущие сан-францисские газеты. Получив рукописи, Мартин послал их в журналы восточных штатов, но их вернули и того быстрее, в сопровождении печатных бланков с отказом.

Так же вернулись и рассказы. Мартин читал их и перечитывал, они нравились ему, очень нравились, он просто понять не мог, почему их отвергают, пока однажды не прочел в какой-то газете, что рукописи должны быть перепечатаны на машинке. Все стало ясно. Ну конечно, редакторы так заняты у них нет ни времени, ни сил разбираться в чужом, почерке. Он взял напрокат пишущую машинку и за один день научился печатать. Каждый день теперь он перепечатывал написанное за день, а прежние рукописи перепечатывал, как только они возвращались. К немалому его удивлению, стали приходить обратно и те, что он отпечатал на машинке. Казалось, челюсть у него стала еще упрямей, подбородок выпятился воинственной, и он отправил рукописи в другие редакции.

Подумалось, что он не судья своим же сочинениям. Он испробовал – как отнесется к ним Гертруда. Прочел ей вслух рассказ. Глаза у нее заблестели, она посмотрела на него с гордостью и сказала:

– Знато, вон ты, стало быть, чего пишешь.

– Да, да. А рассказ... нравится он тебе? – нетерпеливо спросил Мартин.

– Знато, а как же, – был ответ. – Знато, страх как интересно.

Мартин, однако, заметил, сестру что-то смущает. На ее добродушном лице все ясней проступало недоумение, И он ждал.

– Слышь, Март, – после долгого молчания, – а чем дело-то кончилось? Этот молодой, он еще все пыжится, чудно так разговаривает, досталась она ему?

Он объяснил развязку, написанную, как ему казалось, мастерски и вполне понятно, и сестра сказала:

– Во-во, я это и хотела знать. Чего ж ты так прямо не написал?

Он прочел ей не один рассказ и не два и уяснил себе одно: ей нравятся счастливые концы.

– Знатный рассказ, рассказ что надо, – объявляла она, отрывалась от корыта, распрямляла спину, красной распаренной рукой отирала потный лоб, – а только запечалилась я. Плакать охота. Печалей этих кругом и так полно. Вот про чего хорошее подумаешь, тогда и самой вроде хорошо. Слышь, а чтоб ему жениться на ней и... Ты не в обиде, Март? – опасливо спрашивала она. – Устала я, потому, видать, и хочется хорошего. А все одно, знатный рассказ... знатный, а как же. И куда ж ты его запродашь?

– Ну, это уж другое дело, – засмеялся Мартин.

– Нет, а как и впрямь запродашь, сколько, думаешь, дадут?

– Да уж сотню. Никак не меньше, такие нынче цены.

– Ишь как! Вот бы и впрямь запродать.

– Легкие денежки, а? – Потом с гордостью прибавил: – Это я за два дня написал. Выходит, полсотни долларов в день.

Он страстно хотел прочесть свои рассказы Руфи, но не смел. Надо подождать, пускай сперва хоть несколько напечатают, решил он, тогда она поймет, чего ради он трудился. Тем временем он продолжал усиленно заниматься. Никогда еще дух приключений не манил его так неодолимо, как во время этих поразительных странствий в царстве разума. Он купил учебники по физике и химии и не оставлял занятия алгеброй, решал теперь и новые задачи, вникал в опыты. Результаты лабораторных работ он принимал на веру, а могучая сила воображения помогала ему представлять реакции химических веществ яснее, чем рядовому студенту во время

опытов в лаборатории. Мартин поглощал страницы, несущие груз знаний, и, ошеломленный, обретал ключи к природе вещей. Прежде он воспринимал мир, не задумываясь, а теперь постигал, как все в этом мире устроено, как связаны, взаимодействуют энергия и материя. В сознании постоянно вспыхивали объяснения то одного, то другого, что было давно знакомо. Он думал, как это мудро и просто – рычаг, блок, вспоминал корабельные лебедки, ганшпуги, тали. Теперь ему понятна стала теория навигации, благодаря которой корабли безошибочно находят путь в морских просторах, где нет ни дорог, ни вех. Ему открывались секреты штормов, и дождей, и приливов, и причины возникновения пассатов, и он задумался, не поспешил ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Сейчас-то он, конечно, написал бы лучше. Раз он побывал с Артуром в Калифорнийском университете, затаив дыхание, исполненный благоговения, прошел по лабораториям, смотрел, как делаются опыты, и слушал лекцию профессора физики.

Но сочинительство он не забросил. Поток рассказов не иссякал, и еще он начал писать стихи попроще, какие встречал в журналах, но однажды, потеряв голову, попусту потратил две недели – написал белыми стихами трагедию и был огорошен, когда ее тотчас отвергли шесть журналов. Потом он открыл для себя Хенли и по образцу его «Больничных зарисовок» написал цикл стихов о море. Незамысловатые эти стихи полны были света, красок, романтики, приключений. Он назвал их «Голоса моря», и ему казалось, ничего лучше он еще не писал. Стихотворений было тридцать, Мартин написал их за месяц, сочиняя по одному в день, после окончания дневной работы над прозой, а прозы он за день писал столько, сколько обычный преуспевающий автор пишет за неделю. Труд не пугал его. Да это разве труд! Он обретал дар речи, и вся красота и чудо, что годами копились в его немой доньне, косноязычной душе, теперь полились живым неукротимым потоком.

«Голоса моря» он не показал никому, даже редакторам. Он им больше не доверял. Но не от недоверия не представил он «Голоса» на их суд. Такими прекрасными казались ему эти стихи, что он хотел приберечь их до того далекого лучезарного дня, когда решится прочесть их Руфи и разделить их с ней. А пока он хранил их у себя, читал вслух, возвращался к ним снова и снова и под конец уже знал на память.

Он жил полной жизнью каждое мгновение, не только наяву, но и во сне, все эти пять часов ум его бунтовал против передышки и претворял мысли и события дня в нелепые, немыслимые сновидения. В сущности, он никогда не отдыхал, и организм менее выносливый, мозг не столь уравновешенный, не выдержали бы, сломились. Он теперь реже бывал вечерами у Руфи: приближался июнь, скоро ей сдавать экзамены на степень бакалавра и она окончит университет. Бакалавр искусств! Он думал о ее ученой степени, и ему казалось, она слишком далеко умчалась, не догнать.

Один вечер в неделю она дарила ему, и он приходил поздно и обычно оставался обедать, а потом слушал, как Руфь, играла на фортепьяно. То были праздники. Атмосфера дома Морзов, так резко отличающаяся от той, в какой жил Мартин, и сама близость Руфи укрепляли решимость взобраться на те же высоты. Не красота, живущая в нем, двигала им, не острое желание творить – он сражался ради нее. Он прежде всего и, превыше всего любил. Все остальное он подчинил любви. Отвага любящего затмила отвагу искателя знаний. Ведь мир изумлял не столько тем, что состоял из атомов и молекул, движимых необоримой силой, сколько тем, что в нем жила Руфь. Она была изумительнее всего, что он знал, о чем мечтал, о чем догадывался.

Но его удручала разделявшая их пропасть. Так далека была от него Руфь, он не знал, как к ней подступить. У девушек и женщин своего круга он пользовался успехом, но ни одну из них никогда не любил, а ее любил, и она была не просто из другого мира. Сама его любовь вознесла

ее над миром. Она совсем особенная, она так на всех не похожа, что, подобно всякому влюбленному стремясь к близости с ней, он совершенно не знал, как это сделать. Правда, обретая знания и дар речи, он становился ближе к ней, говорил на ее языке, находил общие с ней мысли и радости, но это не утоляло острую любовную тоску. Воображение влюбленного окружало ее ореолом святости – слишком она святая, чистый, бесплотный дух, и не может быть с ней близости во плоти. Как раз его любовь и отодвигала ее в недостижимую даль. Сама любовь отказывала ему в том единственном, чего жаждала.

А потом, однажды, внезапно, через разделявшую их пропасть на миг был перекинут мост, и с той поры пропасть стала не такой широкой. Они ели вишни, огромные, сочные, черные вишни, исходившие темно-красным соком. А после она читала ему вслух «Принцессу» Теннисона, и вдруг Мартин заметил у нее на губе вишневое пятнышко. На миг она перестала быть божеством. Она же из плоти и крови, из обыкновенной плоти, как он и как все люди, те же законы правят и ее телом. У нее такие же губы как у него, и их тоже окрасила вишня. А если так с губами, значит; и с ней со всей. Она женщина, вся как есть, просто-напросто женщина. То было внезапное откровение. И оно ошеломило его. Будто у него на глазах солнце упало с неба или он увидел оскверненную святыню.

А потом он понял, что же это означает, и сердце заколотилось, требуя вести себя с этой женщиной как подобает влюбленному, ведь она вовсе не дух из иных миров, она просто женщина, вишневый сок оставил след на ее губах. Дерзкая мысль эта бросила его в дрожь, а душа пела и ликовал разум, убеждая его, что он прав. Руфь, видно, уловила какую-то перемену в нем и перестала читать, подняла голову, улыбнулась. Он перевел взгляд с ее голубых глаз на губы – вишневое пятнышко сводило его с ума. Он чуть было не рванулся к ней, не обнял, как обнимал других прежде, когда жил беспечно, как жилось. Ему казалось, она подалась вперед, ждала, и он удержался лишь огромным усилием воли.

– Вы совсем не слушаете, – укорила она.

И засмеялась, довольная его смущением, а он, встретив ее открытый взгляд, понял, что она и не подозревает, что он сейчас чувствует, и устыдился. Да, в мыслях своих он занесся невесть куда. Любая знакомая ему женщина догадалась бы, – любая, но не Руфь. А Руфь не догадалась. Вот она, разница. Руфь и впрямь совсем другая. Его ужаснуло сознание собственной грубости, охватил благоговейный трепет перед ее чистотой и наивностью, и вновь он смотрел на нее через пропасть. Мост обрушился.

А все-таки с этой минуты Руфь стала ему ближе. Случай этот остался в памяти, и, когда одолевало уныние, Мартин жадно вспоминал о нем. Пропать уже больше не была так безмерна, как прежде. Он преодолел огромное расстояние, куда большее, чем требовалось, чтобы получить степень бакалавра искусств, даже десяток степеней. Руфь чиста, это верно, такая чистота ему прежде и не снилась, но от вишен на ее губах остаются следы. Она подвластна законам вселенной так же неотвратимо, как он. Она должна есть, чтобы жить, а если промочит ноги, схватит простуду. Но не в том дело. Раз она чувствует голод, и жажду, и жару, и холод, значит, может почувствовать и любовь, любовь к мужчине. Ну, а он мужчина. Тогда отчего бы не к нему? «Все зависит от меня, – лихорадочно бормотал Мартин. – Я добыю, чтоб она выбрала меня. Добьюсь».

Однажды под вечер Мартин бился над сонетом, в который никак не укладывалась красота и мысль, что в жарком мареве маячила у него в мозгу, и тут его позвали к телефону.

– Похоже, дамочка звонит... по голосу слышать, не из простых, – с поганой ухмылкой сказал подозревавший его Хиггинботем.

Мартин подошел к телефону в углу комнаты, и, когда услышал голос Руфи, его обдало теплом. В единоборстве с сонетом он совсем о ней забыл, и при звуке ее голоса любовь сразила его, словно внезапный удар. Что за голое! Мягкий, нежный, певучий, словно доносящаяся издали едва уловимая мелодия или, вернее, словно звон серебряного колокольчика, безупречный, кристально-чистый звук. У обыкновенных женщин не бывает таких голосов. Что-то в нем небесное, и доносится он из иных миров. Мартин едва различал, что она говорит, так чаровал его этот голос, но виду не подавал, ведь Хиггинботем так и сверлил его глазами хорька.

Руфь не сказала ничего особенного – просто вечером Норман должен был пойти с ней на лекцию, но у него разболелась голова, и она так огорчена, билеты уже взяты, и, если у него нет других дел, не будет ли он так добр, не пойдет ли с ней? Не пойдет ли? Он силился обуздать ликование, готовое прорваться в голосе. Невероятно! До сих пор он виделся с ней только в доме Морзов. Не смел хоть раз куда-нибудь ее пригласить. И ни с того ни с сего, пока он говорил с нею по телефону, нахлынуло неодолимое желание умереть за нее, в воспаленном мозгу вспыхивали и гасли видения героического самопожертвования. Он так ее любит, так отчаянно, так безнадежно. В эту минуту безмерного счастья, оттого что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, она вознеслась над ним так высоко, что казалось, только и остается умереть за нее. Иначе не выразить свою огромную, неземную любовь к ней. Такое возвышенное отречение от истинной любви дано изведать всем любящим, изведаль его и Мартин в этот миг у телефона, в вихре пламенного блаженства; и он чувствовал, умереть за нее значило бы, что он жил и любил достойно. А ему едва минул двадцать один год, и он никогда еще никого не любил.

Он повесил трубку, рука дрожала, от внезапно испытанной сладостной полноты слияния с ней накатила слабость. Глаза лучисто сияли, лицо, отрешенное от всего суетного, преобразилось, дышало какой-то неземной чистотой.

– Свидания назначаешь, а? – съехидничал зять. – Сам знаешь, чем это кончается. Угодишь на скамью подсудимых.

Но Мартин не мог спуститься с небес. Даже грязный намек не вернул его на землю. Он не снизошел до гнева и обиды. Ему только что явилось дивное виденье, и он уподобился богу, и мог лишь горько, глубоко пожалеть это ничтожество. Он и не взглянул на Хиггинботема, поднял на него глаза, но все равно не увидел; и, словно во сне, вышел из комнаты, надо было переодеться. Только уже у себя, завязывая галстук, он как бы заново услышал застрявший в ушах неприятный звук. Вслушался и запоздало сообразил: это Бернард Хиггинботем презрительно фыркнул ему вслед.

Парадная дверь Морзов закрылась за Мартином и Руфью, и, спускаясь с крыльца, он вдруг отчаянно растерялся. Оказалось, сопровождать ее на лекцию не одно только блаженство. Неизвестно, как себя вести. Ему случалось видеть, как ходят по улицам люди ее круга – обычно женщина идет под руку с мужчиной. Но бывает, опять же, что идут и не под руку, неизвестно, может, под руку ходят только вечером, или только мужья с женами, или вообще родня.

Перед тем как ступить на тротуар, он вспомнил Минни. Минни всегда строго держалась правил хорошего тона. Уже при второй встрече она отчитала его за то, что он шел со стороны

домов, и решительно заявила, что, если джентльмен провожает даму, ему полагается идти с края тротуара. И всякий раз как они переходили через улицу, Минни непременно наподдавала ему по ноге – напоминала, чтобы опять шел там где следует. Интересно, откуда она взяла это правило, докатилось оно до нее из хорошего общества, и впрямь ли так полагается?

Почему бы не попробовать, решил он и, едва они ступили на тротуар, перешел за спиной Руфи к краю. И сразу оказался перед новой задачей. Предложить ей руку? Сроду ни одной девушке не предлагал руку. Девушки, с которыми он был знаком, никогда не брали парней под руку. В первые дни знакомства парочка просто идет рядом, а потом, на улицах потемнее, – в обнимку, и девушка кладет голову парню на плечо. Но теперь все иначе. Руфь не такая, как те девчонки. Надо что-то делать.

Он согнул руку в локте, чуть-чуть согнул на пробу, словно и не предлагал ей, а небрежно, вроде он всегда так ходит. И чудо свершилось. Руфь взяла его под руку. От этого прикосновенья он ощутил восхитительный трепет, на несколько мгновений словно оторвался от земли и вместе с ней парил в воздухе. Но скоро опять спустился на землю, встревоженный новым осложнением. Они переходят через улицу. Значит, он окажется с внутренней стороны тротуара. А положено идти со стороны мостовой. Как быть – опустить руку и перейти? А потом – переходить каждый раз, опять и опять? Что-то здесь не так, не станет он скакать с места на место, нечего валять дурака. Однако он не совсем успокоился и, оказавшись с внутренней стороны тротуара, стал быстро, с жаром что-то рассказывать, сделал вид, будто увлекся разговором, – если ошибся и надо было перейти, она подумает, что он просто заговорился.

Они пересекали Бродвей, и он столкнулся с новой задачей. В ярком свете электрических огней он увидел Лиззи Конноли и ее смешливую подружку. Он заколебался было, но тотчас рука поднялась, он снял шляпу. Не мог он предать своих, и не перед одной Лиззи Конноли снял он шляпу. Она кивнула, смело глянула на него не мягким и кротким взглядом, как у Руфи, нет, в ее красивых глазах был вызов, она перевела их на Руфь, явно заметила и ее лицо, и платье, угадала положение в обществе. Он почувствовал, Руфь тоже скользнула по ней взглядом, тихим и кротким, как у голубки, однако вмиг оценила эту фабричную девчонку в дешевых украшениях и несуразной шляпке, в каких щеголяли в ту пору все такие девчонки.

– Какая хорошенькая девушка! – чуть погодя сказала Руфь.

Мартин едва не задохнулся от благодарности, хотя сказал совсем не то:

– Ну не знаю. Наверно, это дело вкуса, по-моему, не такая уж она хорошенькая.

– Да что вы, такие правильные черты, как у нее, большая редкость. Безукоризненно правильные черты. Лицо точеное, словно камей. И глаза прекрасные.

– Вам так кажется? – рассеянно сказал Мартин, ведь, для него в целом свете лишь одна женщина была прекрасна и она сейчас рядом и опирается на его руку.

– Кажется? Будь у этой девушки возможность как следует одетая, мистер Иден, и если ее научить держаться, вы были бы ослеплены ею, да и все мужчины тоже.

– Ее надо было бы научить правильно говорить, – заметил Мартин, – не то большинство мужчин не поняли бы ее. Будьте уверены, если она заговорит посвоему, вы и четверти не поймете.

– Чепуха! Вы совсем как Артур, вас невозможно переубедить, – Вы забыли, как я разговаривал вначале. С тех пор я научился новому языку. А прежде разговаривал как эта девушка. Теперь я хоть как-то владею вашим языком и могу вам сказать: вы не знаете языка той девушки. А знаете, почему она так держится? Теперь я думаю о таких вещах, хотя прежде никогда о них не задумывался, и начинаю понимать... многое.

– Почему же она так держится?

– Она несколько лет по много часов работала у машин. Молодое тело – оно податливое,

тяжелая работа мнет его, будто глину, на каждой работе по-своему. Я когда встречу рабочего человека, почти всякого могу с ходу определить, кто он такой. Вот поглядите на меня. Почему я хожу враскачку? Потому что сколько лет провел в море. А был бы все эти годы ковбоем, не так бы ходил, зато ноги были бы кривые, тело-то молодое, податливое. И с этой девушкой то же самое. Вы заметили, глаза у ней, можно сказать, жесткие. Не было у ней никогда защиты и опоры. Самой пришлось о себе заботиться, а раз девушка сама о себе заботится, где уж глазам смотреть мягко и нежно, как... вот, к примеру, как вы смотрите.

– Наверно, вы правы,. – совсем тихо сказала Руфь. – Какая жалость, эдакая хорошенькая девушка.

Он посмотрел на нее и увидел в ее глазах свет сострадания. А потом вспомнил, ведь он любит ее, и растерялся: непостижимо, как выпало ему на долю такое счастье – любить ее, вести ее на лекцию, и она опирается на его руку.

«Кто ты есть, Мартин Иден?» – глядя в зеркало, требовательно спросил он себя в тот вечер, когда вернулся домой. Он разглядывал себя долго, о любопытством. – Кто ты есть? Что ты такое? Откуда взялся? По справедливости твое место рядом с девчонками вроде Лиззи Конноли. Твое место – в толпе тружеников, там, где все неизменно, грубо, уродливо. Твое место среди «вьючных животных» и «ломовых лошадей», в грязи, зловонии и смраде. Вон как несет заплесневелыми овощами. Гниет картошка. Нюхай, черт подери, нюхай! А ты посмел уткнуться в книгу и слушать прекрасную музыку, учишься любить прекрасные картины, говорить правильно, хорошим языком, думать, о чем наш брат вовсе не думал и не подумает, отрываешься от «рабочей скотинки» и от всяких Лиззи Конноли и любишь бледную женщину, почти что бесплотный дух, витающую за миллион миль от тебя, среди звезд. Кто ты есть? И что ты такое, черт тебя подери? И ты думаешь добиться успеха?!"

Он погрозил кулаком себе, глядящему из зеркала, сел на край кровати и ненадолго забылся в мечтах, уставясь в пустоту, ничего не видя. Потом достал блокнот, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения, а часы ускользали, и померкли звезды, и серый рассвет затопил окно.

В этом великом открытии повинна кучка речистых социалистов и философов из рабочих, которые в теплые дни, поближе к вечеру, ораторствовали в Муниципальном парке. Раз-другой в месяц, проезжая парком, по дороге в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, слушал их споры и потом с неохотой ехал прочь. Спорили здесь куда грубее, чем за столом у мистера Морза. Люди тут не отличались степенностью и сдержанностью. Они легко теряли самообладание и переходили на личности, у них частенько слетали с языка и ругательства, и непристойные намеки. Раз-другой у него на глазах начиналась потасовка. И однако почему-то казалось, есть в их рассуждениях что-то насущно важное. Их словопрения куда больше будоражили мысль, чем благоразумный невозмутимый догматизм мистера Морза. Эти люди безжалостно коверкали язык, размахивали руками как безумные, оспаривали мысли противника с первобытной яростью, но почему-то казалось, они много ближе к жизни, чем мистер Морз и его приятель Батлер.

Несколько раз Мартин слышал, как в парке ссылались на Герберта Спенсера, а потом однажды появился и последователь Спенсера, убогий бродяга в грязном пальто, старательно застегнутом до самого горла, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Разгорелось генеральное сражение, и в густом сигаретном дыму, среди спорщиков, которые без конца сплевывали табак, бродяга твердо стоял на своем, даже когда один рабочий-социалист язвительно провозгласил: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его». Мартин никак не мог понять, о чем спор, но заинтересовался Гербертом Спенсером и, доехав до библиотеки, взял там «Основные начала», книгу, которую бродяга поминал чаще всего.

Так сделан был первый шаг к великому открытию. Однажды Мартин уже пробовал взяться за Спенсера, но выбрал «Основы психологии» и потерпел такую же позорную неудачу, как с мадам Блаватской. Решительно ничего не понял и вернул книгу, не прочитав. Но на этот раз, поздним вечером, после алгебры, физики и попытки написать сонет, он уже в постели открыл «Основные начала». Наступало утро, а он все еще читал. Было не до сна. В этот день он и не писал. Не вставал с постели, а когда все тело затекло, растянулся на полу и читал то лежа на спине и держа книгу высоко над собой, то поворачивался с боку на бок. Следующую ночь он спал и с утра писал, а потом книга опять его соблазнила, и он зачитался, забыл обо всем – на свете, забыл даже, что в конце дни его ждет Руфь. И опамятовался лишь когда Бернард Хиггинботем рывком распахнул дверь и рявкнул: он что думает, у них тут ресторан, что ли.

С детства Мартин одержим был желанием узнать как можно больше. Эта жадная пытливость и погнала его странствовать по свету. Но теперь, читая Спенсера, он понял нечто новое, такое, что оставалось бы для него за семью печатями, проплавай он и проскитайся хоть всю жизнь. До сих пор он лишь скользил по поверхности, подмечал отдельные явления, накапливал отрывочные сведения, кое-что по мелочам неглубоко обобщал, – и ему казалось, ничто в мире не связано друг с другом, все в нем безалаберно, все дело капризного случая. Он следил за полетом птиц и здраво размышлял над механизмом полета; но ни разу не задавался вопросом, какие пути развития привели к появлению птиц, этих живых летающих механизмов. Он и не подозревал, что происходило какое-то развитие. Не догадывался, что птицы непременно должны были появиться. Они существовали спокон веку. Существовали – и все тут.

Так было с птицами и так же со всем остальным. Тщетно он пытался без запаса простейших знаний, без всякой подготовки приобщиться к философии. Средневековая метафизика Канта ничего ему не объяснила, лишь заставила усомниться, что у него хватит ума на такую премудрость. Точно так же его попытка разобраться в теории эволюции оборвалась на

безнадежно специальном томе Роумейнза. Он ровно ничего не понял, только решил, что эволюция-скучнейшая теория, созданная множеством людишек, которые души не чают в прорве невразумительных слов. А теперь оказалось, эволюция не просто теория, но признанный ход развития, и ученые уже не спорят на этот счет, они спорят лишь о формах эволюции.

И вот этот самый Спенсер нарисовал ему стройную картину мира, свел все знания воедино, уточнил основные факты, и перед его изумленным взором предстала вселенная столь наглядно, словно заточенная в бутылку модель корабля, какие так искусно мастерят моряки. И правит здесь не капризный случай. Здесь правит закон. Послушная закону, летает птица, и, послушная тому же самому закону, несущая в себе зачатки иной жизни, склизкая тварь корчилась, извивалась, пока у нее не появились ноги и крылья и она не стала птицей.

Ступень за ступенью Мартин всходил на высоты интеллектуальной жизни, и вот он на вершине, где еще не бывал. Все, что было раньше недоступно, открывает ему свои тайны. Он опьянел от обретенной ясности. По ночам, в подавляющих величием сновидениях, он пребывал с богами, а днем, пробудясь, бродил, отрешенный, точно сомнамбула, и, не замечая окружающего, всматривался во вновь открытый мир. За столом не слышал пустых разговоров о ничтожных или гнусных мелочах и во всем, что попадалось на глаза, нетерпеливо отыскивал причину и следствие. В куске мяса на тарелке ему сияло солнце, и он мысленно прослеживал путь солнечной энергии через все превращения назад к ее источнику за сотню миллионов миль, или прослеживал ее дальнейший путь к мышцам, которые двигают руку и она режет мясо, к мозгу, откуда исходят приказы мышцам двигаться и резать мясо, и вот уже перед внутренним взором само солнце сияет у него в мозгу. Озаренный этой мыслью, он не слышал, как Джим шепнул: «Рехнулся», – не видел, с какой тревогой смотрит на него сестра, не заметил, как Бернард Хиггинботем многозначительно покрутил пальцем у виска: дескать, у шурина ум за разум зашел.

Пожалуй, больше всего Мартина поразила взаимосвязь знаний, всех знаний. Он всегда был пытлив, и, что бы ни узнал, откладывал в отдельную ячейку памяти. Так, у него был огромный запас сведений о мореплавании. И уже немалый запас представлений о женщинах. Но ему казалось, между мореплаванием и женщинами не было ничего общего. Ничто не связывало эти разные ячейки памяти. Он счел бы смехотворным, невозможным, будто, по самой природе знания, возможна какая-то связь между женщиной, бьющейся в истерике, и шхуной, подхваченной штормом или потерявшей курс. А Герберт Спенсер показал ему, что не только нет в этом ничего смехотворного, но, напротив, тут непременно должна быть связь. Все соотносится одно с другим, от отдаленнейшей звезды, затерянной в небесных просторах, до мириадом атомов в песчинке под ногой.

Это новое представление не переставало изумлять Мартина, и он ловил себя на том, что постоянно ищет связь между всем и вся в подлунном мире и в заоблачных высях. Он составлял списки самых несочетаемых явлений и понятий и не успокаивался, пока не удавалось установить между ними родство – родство между любовью, поэзией, землетрясением, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродствами, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, людоедством, красотой, убийством; рычагом, точкой опоры и табаком. Таким образом он объединял вселенную и разбирался в ней, разглядывал или бродил по ее закоулкам, тропинкам и дебрям не как перепуганный скиталец в чащобе неразгаданных тайн, сам не ведающий, чего ищет, нет, он наблюдал, и отмечал на карте, и постигал все, что только можно. И чем больше узнавал, тем горячее восхищался вселенной, и жизнью, и тем, что сам живет в этом мире.

– Дурак!-кричал он своему отражению в зеркале. – Ты хотел писать и пытался писать, а о чем было писать? Что у тебя такого было за душой? Кой-какие ребяческие понятия да незрелые

чувства, жадное, но неосознанное чувство красоты, дремучее невежество, сердце, готовое разорваться от любви, и мечта, огромная, как эта любовь, и бесплодная, как твое невежество. А еще хотел писать. Ты только еще начинаешь постигать что-то, о чем можно писать. Ты хотел творить красоту, но где тебе, ты же ведать не ведаешь, что она такое – красота. Ты хотел писать о жизни, но ты же ведать не ведаешь самых ее основ. Ты хотел писать о мире, о том, как устроен мир, а мир для тебя головоломка, и об этом говорили бы и твои писания. Но не унывай, Мартин, дружище! Ты еще напишешь. Ты уже знаешь кое-что, самую малость, но ты на правильном пути и узнаешь больше. Когда-нибудь, если повезет, ты будешь знать едва ли не все, что возможно. И тогда будешь писать.

Он поведал Руфи о своем замечательном открытии, хотел разделить с ней всю свою радость, все изумление. Но она осталась едва ли не равнодушна. Молча выслушала – видно, уже успела познакомиться с этим в университете. Открытие не взволновало ее, как Мартина, и не реши он, что не так уж, видно, это для нее ново и неожиданно, он бы поразился. Оказалось, Артур и Норман тоже верят в теорию эволюции и читали Спенсера, хотя, похоже, он не повлиял на них всерьез, а косматый малый в очках, Уилл Олни, при имени Спенсера презрительно фыркнул и повторил шуточку, которую Мартин слышал в парке: «Нет бога, кроме Непостижимого, и Герберт Спенсер пророк его».

Но Мартин простил ему насмешку, так как начал понимать, что Олни вовсе не влюблен в Руфь. Позднее, по всевозможным мелочам, он убедился, что тот не только равнодушен к Руфи, но даже относится к ней неприязненно, и это Мартина огорошило. Не укладывалось это у него в голове. Престранное явление, никак его не связать со всем остальным, что происходит в мире. Однако он пожалел молодого чудака – видно, бедняга жестоко обделен природой, оттого и неспособен оценить всю красоту, все совершенство Руфи. Несколько воскресений они ездили на велосипедах в горы, и Мартин мог воочию убедиться, что между Руфью и Олни шла необъявленная война. Олни предпочитал общество Нормана, предоставляя Артуру и Мартину сопровождать Руфь, за что Мартин был ему весьма признателен.

До чего же отрадны были для Мартина те воскресенья, – конечно, всего отрадней оттого, что рядом была Руфь, но еще и оттого, что ставили его почти на равную ногу с молодыми людьми ее круга. Хотя они долгие годы получали систематическое образование, Мартин убедился, что вовсе не уступает им в умственном развитии, а часы, проведенные за разговором с ними, давали случай применить на деле знание родного языка – недаром он так старательно занимался грамматикой. Он забросил книжки о правилах хорошего тона и опять стал внимательно присматриваться, как ведут себя эти молодые люди. Если не считать минут, когда он слишком увлекался разговором, он постоянно был начеку, зорко наблюдал за каждым их шагом, перенимал у них маленькие секреты благовоспитанности и учтивости.

Поначалу Мартина удивляло, что Спенсера очень мало читают.

– Герберт Спенсер...-сказал библиотекарь. – О да, великий ум. – Но, похоже, суть трудов этого великого ума ему неизвестна. Однажды вечером, после обеда, на котором был и мистер Батлер, Мартин заговорил о Спенсере. Мистер Морз резко обрушился на английского философа за агностицизм, по признался, что «Основные начала» не читал, а мистер Батлер заявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, – не читал ни единой его строчки и прекрасно обходится без него. Мартин засомневался, и, не обладая он таким самостоятельным умом, он согласился бы с общим мнением и махнул на Спенсера рукой. Но ему мысли Спенсера, казались убедительными: он был уверен, махнуть рукой на Спенсера – все равно что мореплавателю выбросить за борт компас и хронометр. И он продолжал вгрызаться в теорию эволюции, чем дальше, тем уверенней, сам овладевал предметом, да еще черпал подтверждения в трудах многих и многих ничем не связанных между собой авторов. Чем больше он читал, тем шире

оказывался круг знаний, ему еще неизвестных, и он непрестанно горевал, что в сутках всего-навсего двадцать четыре часа.

Так коротки были дни, что он наконец решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он и не подступался. Потом вычеркнул из расписания занятий и химию, оставил только физику.

– Я не специалист, – оправдываясь, сказал он Руфи. – И не собираюсь становиться специалистом. Наук такое множество, хорошо, если за всю жизнь человек овладеет хотя бы десятой долей. Мне нужно общее образование. А когда понадобятся специальные знания, я обращусь к книгам специалистов.

– Но ведь это совсем не то, что владеть знаниями самому, – возразила Руфь.

– А зачем все знать самому? Мы пользуемся работами специалистов. На то они и существуют. Вот сегодня я видел, у вас в доме работают трубочисты. Они специалисты, и, когда они сделают свое дело, вы с удовольствием будете пользоваться прочищенными дымоходами, а ведь вы не знаете, как дымоходы устроены.

– Боюсь, это притянута за уши.

Она как-то странно посмотрела на Мартина, и в ее взгляде, в тоне он ощутил упрек. Но он был уверен в своей правоте.

– Все подлинные мыслители, величайшие умы человечества, опирались на специалистов. Так поступал Герберт Спенсер. Он обобщил открытия тысяч исследователей. Чтобы открыть все это самому, он должен был бы прожить тысячу жизней. Так же и Дарвин. Он воспользовался всем тем, что узнали цветоводы и скотоводы.

– Вы правы, Мартин, – сказал Олни. – Вы понимаете, что вам нужно, а Руфь не понимает. Она не понимает даже, что нужно ей самой.

– Да-да, – торопливо продолжал он, не давая ей возразить. – Я знаю, вы это называете общей культурой. Но если стремишься к общей культуре, совершенно неважно, что именно изучаешь. Можно изучать французский, а можно немецкий, а можно отказаться от того и от другого и заняться эсперанто, и все равно это приобщит вас к культуре. В тех же целях можно заняться греческим или латынью, хотя они никогда вам не пригодятся. И все равно это будет, видите ли, культура. Да что там, вот Руфь изучала древнеанглийский, и весьма успешно, было это два года назад, а сейчас она только и помнит: «Когда апрель обильными дождями...», – как бишь у Чосера?

– И все равно это приобщало к культуре, – со смехом продолжал он, опять не давая Руфи возразить. – Знаю. Со мной та же история.

– Но вы так говорите о культуре, словно она должна быть только средством, – воскликнула Руфь. Глаза ее сверкали, на щеках вспыхнули красные пятна. – Культура сама по себе-цель.

– Но Мартину не того надо.

– Откуда вы знаете?

– К чему вы стремитесь, Мартин? – требовательно, глядя в упор, спросил Олни. Мартину стало не по себе, он с мольбой смотрел на Руфь.

– Да, к чему вы стремитесь? – спросила Руфь. – Разрешите наш спор.

– Да, конечно, я стремлюсь к культуре, – неуверенно проговорил Мартин. – Я люблю красоту, а культура поможет тоньше, острее чувствовать красоту.

Она кивнула, явно торжествуя.

– Вздор, и вы сами это знаете, – отозвался Олни. – Мартину нужна профессия, а не культура. Для него культура неотъемлема от профессии, так уж получилось. А пожелай он стать химиком, мог бы обойтись без культуры. Мартин хочет стать писателем, а сказать об этом боится, ведь это будет значить, что вы неправы.

– А почему он хочет стать писателем? – продолжал Олни. – Потому что он не богат. Почему вы забиваете себе голову древнеанглийским и культурой вообще? Потому что вам не надо пробивать себе дорогу в жизни. На то у вас есть отец. Он покупает вам платья и все прочее. Наше образование-ваше, мое, Артура, Нормана-какой от него толк? Мы наглотались этой самой культуры, а если наши папочки сегодня разорятся, нам придется завтра же сдавать экзамены на право преподавать в школе. В самом лучшем случае, Руфь, вы только и сумеете стать учительницей где-нибудь в провинции или преподавать музыку в пансионе для девиц.

– А вы-то что сумеете? – спросила она.

– Ничего путного. Буду получать доллара полтора на какой-нибудь черной работе, а может быть, меня взяли бы репетитором в заведение Хенли для умственно отсталых, заметьте, я сказал «может быть», а может быть, к концу первой же недели меня выставили бы за непригодностью.

Мартин внимательно следил за их спором и, убежденный, что прав Олни, возмущался, однако, его довольно бесцеремонным обращением с Руфью. Пока он слушал, у него сложилось новое понятие о любви. Рассудок не имеет ничего общего с любовью. Совершенно неважно, правильно рассуждает та, кого любишь, или неправильно. Любовь выше рассудка. Ну, не понимает Руфь, что ему позарез нужна профессия, но ведь от этого она мила ему ничуть не меньше. Она ему бесконечно мила, и каковы бы ни были ее взгляды, это ничего не меняет.

– Что такое?-спохватился он, когда Олни каким-то вопросом прервал ход его размышлений.

– Я говорю, надеюсь, у вас хватит ума не засесть за латынь.

– Но латынь не просто культура, – перебила Руфь. – Это умственный багаж.

– Так как же, неужели вы засядете за латынь? – не отставал Олни.

Мартин не знал, как выпутаться. Он видел, Руфь нетерпеливо ждет его ответа.

– Боюсь, у меня не останется времени, – сказал он наконец. – Я бы и рад, но не останется времени.

– Видите, Мартин старается не ради культуры, – ликовал Олни. – Он хочет чего-то добиться, преуспеть.

– Но ведь занятия латынью развивают интеллект. Это тренирует ум. Дисциплинирует его, – Руфь с надеждой смотрела на Мартина, словно ждала, что он передумает. – Ведь вот футболисты перед важными играми непременно тренируются. Так же нужна и латынь для мыслящего человека. Это тренировка ума.

– Вздор и чепуха! Так нам твердили в детстве. Но одного нам тогда не говорили. Предоставили нам самим после открыть эту истину. – Олни помолчал для внушительности, потом прибавил:– А не сказали нам, что каждому джентльмену надо изучать латынь, но знать ее джентльмену не надо.

– Нет, это несправедливо, – воскликнула Руфь. – Так я и знала, что вы все высмеете и вывернете наизнанку.

– Ладно, я сострил, – был ответ, – а все-таки это справедливо. Латынь только и знают аптекари, адвокаты да латинисты. И если Мартин метит в аптекари, в адвокаты или в преподаватели латыни, значит, я не угадал. Но тогда спрашивается, при чем тут Герберт Спенсер? Мартин только что открыл его для себя и совсем на нем помешался. А почему? Потому что Спенсер открывает ему какой-то путь. Ни меня, ни вас Спенсер никуда не приведет. Нам незачем куда-то идти. Вы просто-напросто выйдете замуж, мне же только и надо будет присматривать за поверенными и управляющими, а уж они станут пасти денежки, которые мне оставит папаша.

Олни собрался уходить, но у дверей приостановился и дал прощальный залп:

– Оставьте вы Мартина в покое, Руфь. Он сам знает, что ему надо. Посмотрите, сколько он уже успел. Как подумаю, мне иногда тошно делается, тошно и стыдно за себя. Он уже знает о

мире, о жизни, о назначении человека и обо всем прочем много больше, чем Артур, Норман, я, да и вы, кстати, несмотря на всю нашу латынь, и французский, и древнеанглийский, несмотря на всю нашу культуру.

– Но Руфь моя учительница, – рыцарски вступился Мартин. – Тем немногим, что я знаю, я обязан ей.

– Чушь! – Олни посмотрел на Руфь, лицо у него стало злое. – Вы еще вздумаете меня уверять, будто читаете Спенсера по ее совету, – как бы не так. И о Дарвине и об эволюции она знает не больше, чем я о копиях царя Соломона. Какое это головоломное спен-серовское толкование чего-то вы на нас недавно обрушили? Неопределенное, непоследовательное, какая-то там гомогенность. Обрушьте-ка это на нее – и посмотрите, поймет ли она хоть слово. Это, видите ли, не культура. Так-то вот, и, если вы займетесь латынью, Мартин, я перестану вас уважать.

И хотя спор этот был интересен Мартину, он все время ощущал и какую-то досаду. Речь шла об ученье, о занятиях – о том, как овладеть основами знаний, и этот задиристско-мальчишеский тон никак не вязался с тем подлинно важным, что волновало Мартина, – он-то стремился глубоко проникнуть в жизнь, вцепиться в нее накрепко орлиной хваткой, его до боли потрясали грандиозные открытия, и уже рождалось понимание, что он всем этим способен овладеть. Ему казалось, он словно поэт, выброшенный кораблекрушением на неведомую землю, – он владеет могучим даром выражать красоту, а запинаясь, заикается, тщетно пробует петь на грубом варварском наречии своих новых братьев. Вот и он так. Остро, мучитель– но чувствует то великое, всеобъемлющее, что есть в мире, а вынужден топтаться и пробираться ощупью среди школярской болтовни и спорить, следует ли ему изучать латынь.

– Да при чем тут латынь, черт подери? – крикнул он в тот вечер своему отражению в зеркале. – На кой мне эта мертвечина. Почему и мной и живущей во мне красотой должны заправлять мертвецы? Красота жива и непреходяща. Языки возникают и отмирают. Они прах мертвых.

А потом он подумал, что совсем недурно выражает свои мысли, и, ложась спать, недоумевал, почему не удастся так разговаривать, когда рядом Руфь. При ней он превращается в школьника и говорит школьным языком.

– Дайте мне время, – сказал он вслух. – Дайте только время.

Время! время! время! – вечная его жалоба.

Не благодаря Олни, но наперекор Руфи, наперекор своей любви к Руфи он все-таки решил не братья за латынь. Для него главное – время. Столько еще есть всего, что куда важнее латыни, столько областей знания громко и властно зывают к нему. И надо писать. Надо зарабатывать деньги. А его еще ни разу не напечатали. Два десятка рукописей без конца скитаются по журналам. Как другим удастся печататься? Долгими часами просиживал он в публичных библиотеках, жадно, пристально вчитывался в написанное другими, сравнивал со своим и доискивался, доискивался: что же за секрет они открыли, почему им удастся продать свои работы.

Поразительно, сколько печатают всяческой мертвечины. Ни света, ни жизни, ни красок. Ни проблеска жизни, а ведь продано, по два цента за слово, по двадцать долларов за тысячу – так говорилось в газетной заметке: Непостижимо, счету нет рассказам, написанным, правда, легко, но начисто лишенным жизненной силы и подлинности. Жизнь так необыкновенна, она чудо, она полна загадок, грез, героических свершений, а в этих рассказах одни серенькие будни. Он ощущал напряжение и накал жизни, ее жар и кипенье и мятежное неистовство – вот бы о чем писать! Хотелось восславить дерзновенных храбрецов, не теряющих надежду, безрассудных влюбленных, титанов, которые борются в напряжении и накале, среди ужаса и трагедий, и сама жизнь уступает их натиску. А журнальные рассказы, похоже, усердно прославляют всяких мистеров Батлеров, скаредных охотников за долларами, и серенькие любовные интрижки сереньких людишек. Может, это оттого, что сами редакторы журналов такие серенькие? Или они попросту боятся жизни – и писатели эти, и редакторы, и читатели?

Но главная его беда, что нет у него знакомых редакторов и писателей. Не знает он ни одного, писателя и даже, никого, кто хотя бы пробовал писать. Нет никого, кто бы с ним потолковал, хоть что-то объяснил, что-то посоветовал. Ему стало казаться, что редакторы вовсе и не люди. Похоже, они винтики в какой-то машине. Вот что это такое – просто-напросто машина. Он изливает душу в рассказах, очерках, в стихах и вверяет их этой самой машине. Аккуратно складывает листы, вкладывает в большой конверт вместе с рукописью столько-то марок, заклеивает конверт, лепит на него еще марки и опускает в почтовый ящик. Конверт отправляется в путь, а через какое-то время почтальон приносит ему рукопись уже в другом большом конверте, а на нем те самые марки, которые, он приложил, отсылая ее. Нет там, на другом конце пути, живого редактора, а лишь хитроумное устройство из винтиков, которое перекладывает рукопись в другой конверт и лепит на него марки. Это все равно как торговые автоматы: бросишь в щель мелкую монету, механизм зажуужит и выбросит тебе плитку жевательной резинки или шоколадку. Смотря по тому, в какую щель опустил монету. Так и с редакторской машиной. Попадешь в одну щель – высылают чек, в другую – листок с отказом. Мартин пока попадал только во вторую.

Именно листки с отказом довершали чудовищное сходство происходящего с действием автомата. Листки эти отпечатаны были по одному стандарту, и он получил их сотни – по десятку, а то и больше на каждую из ранних рукописей. Если бы в каком-нибудь из этих отказов была одна-единственная строчка, за которой чувствовался бы написавший ее живой человек, он бы взбодрился. Но ни один редактор не подтвердил таким образом, что он и вправду существует. Вот и оставался единственный вывод: там, куда приходят рукописи, живых людей нет, лишь безостановочно крутятся хорошо смазанные винтики этой самой машины.

Он был отличный борец, самоотверженный, упорный, и готов был бы еще годами питать эту машину; но он истекал кровью, и исход борьбы решали, не годы, а недели. Каждую неделю

счет за жилье и стол приближал его к гибели, и почти так же неумолимо истощали его почтовые расходы на сорок рукописей. Он уже не покупал книг и экономил на мелочах, пытаясь отсрочить неизбежный конец; но экономить не умел и на неделю приблизил этот конец, дав младшей сестре, Мэриан, пять долларов на платье.

Он сражался во тьме, без совета, без поддержки, вопреки общему неодобрению. Даже Гертруда начала поглядывать на него косо. Сперва, как любящая сестра, она была снисходительна к его, как она считала, дури, но теперь, как заботливая сестра, встревожилась. Ей стало казаться, что это уже не дурь, а безумие. Мартин видел ее тревогу и страдал куда больше, чем от неприкрытого сварливого презрения Бернарда Хиггинботема. Мартин верил в себя, но никто не разделял его веры. Даже Руфь не верила в него. Она хотела, чтобы он все свое время посвятил учению, и хотя не высказывала прямого неодобрения его попыткам писать, но никогда и не одобрила их. Мартин ни разу не предложил ей показать, что он пишет. Слишком был чуток и щепетилен. Притом она напряженно занималась в университете, и не мог он отнимать у нее время. Но, окончив университет, Руфь сама захотела посмотреть что-нибудь из написанного им. Мартин и ликовал и робел. Вот и нашелся судья. Ведь она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством опытных преподавателей. Возможно, и редакторы тоже искушенные судьи. Но она поведет себя иначе. Не вручит она ему стандартный листок с отказом, не скажет, что, если его работы не печатают, предпочитая им другие, это еще не значит, что они не заслуживают внимания. Она живой человек, она поговорит с ним как всегда умно, все схватывая на лету и что всего важнее, – ей приоткроется подлинный Мартин Иден. В его работах она различит его сердце и душу и поймет, хотя бы отчасти, каковы его мечты, и какая ему дана сила.

Мартин подобрал несколько своих отпечатанных на машинке рассказов, посомневался было, потом прибавил к ним «Голоса моря». Стоял июнь, и к концу дня они на велосипедах покатали к холмам. Это второй раз он оказался наедине с ней вне дома, и, пока они ехали среди душистой теплыни, овеваемые свежим прохладным дыханием морского ветерка, Мартин всем существом ощущал, как прекрасен, как хорошо устроен мир и как замечательно жить на свете и любить. Они оставили велосипеды на обочине и взобрались на круглую побуревшую вершину холма, где опаленные солнцем травы дышали зрелой сухой сладостью и довольством сенокосной поры.

– Эта трава свое дело сделала, – сказал Мартин, когда они сели. Руфь-на его пиджак, а он растянулся прямо на земле. Он вдыхал сладкий дух порыжелой травы не только легкими, но и мыслью, мгновенно перенесясь от частного к общему. – Совершила то, ради чего существовала, – продолжил он, с нежностью поглаживая сухие былинки. – Унылые зимние ливни только подхлестнули ее стремление к цели, она выстояла яростной весной, расцвела, приманила насекомых и пчел, рассеяла семена, мужественно. Исполнила свой долг перед собой и миром и...

– Отчего вы всегда так нестерпимо-практически смотрите на все?-перебила его Руфь.

– Наверно, оттого, что я изучаю эволюцию. Сказать по правде, у меня только-только открылись глаза.

– Но мне кажется, этот практицизм мешает вам видеть красоту, вы ее губите, словно дети, которые ловят бабочек и при этом стирают яркую пыльцу с чудесных крылышек.

Мартин покачал головой.

– Красота полна значения, а этого я прежде не знал. Просто воспринимал красоту саму по себе, будто она существует просто так, без всякого смысла. Ничего не понимал в красоте. А теперь понимаю, вернее, только еще начинаю понимать. Понимаю, что она такое, трава, понимаю всю скрытую алхимию солнца, дождя, земли, благодаря которой она стала травой, и от

этого она теперь, на мой взгляд, еще прекраснее. Право же, в судьбе каждой травинки есть и романтика, и даже необыкновенные приключения. Сама эта мысль волнует воображение. Когда я думаю об игре энергии и материи, об их потрясающем единоборстве, я чувствую, что готов писать о травинке эпическую поэму.

–Как хорошо вы говорите!-рассеянно сказала Руфь, и он заметил, что смотрит она на него испытующе.

Он смутился под этим взглядом, растерялся, густо покраснел.

– Надеюсь, я... я понемногу учусь говорить, – запинаясь, вымолвил он. – Во мне столько всего, о чем я хочу сказать. Но все это так огромно. Я не нахожу слов, не могу выразить, что там внутри. Иногда мне кажется, весь мир, вся жизнь, все на свете поселилось во мне и требует: будь нашим голосом. Я чувствую, ох, не знаю, как объяснить... Я чувствую, как это огромно а начинаю говорить, выходит детский лепет. До чего трудная задача – передать чувство, ощущение такими. словами, на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает или слушает, почувствовал или ощутил то же, что и ты. Это великая задача. Вот я зарываюсь лицом в траву, вдыхаю ее запах, и он повергает меня в трепет, будит тысячи мыслей и образов. Я вдохнул дыхание самой вселенной, и мне вняты песни и смех, свершение и страдание, борьба и смерть; и в мозгу рождаются картины, они родились, уж не знаю как, из дыхания травы, и я рад бы рассказать о них вам, миру. Но где мне? Я косноязычен. Вот сейчас я попытался дать вам понять, как действует на меня запах травы, и не сумел. Только и получился слабый, нескладный намек на мои мысли и чувства. По-моему, у меня выходит просто жалкая тарабарщина. А невысказанное меня душит. Немыслимо! – в отчаянии он вскинул руки. – Это не объяснишь! Никакими словами не передашь!

– Но вы и в самом деле хорошо говорите, – настойчиво повторила Руфь. – Только подумайте, как вы продвинулись за то короткое время, что мы знакомы. Мистер Батлер выдающийся оратор. Во время предвыборной кампании его всегда просят выступать с речами. А на днях за обедом вы говорили ничуть не хуже. Просто он более сдержанный. Вы слишком горячитесь, но постепенно научитесь собой владеть. Из вас еще выйдет отличный оратор. Вы далеко пойдете... если захотите. У вас это отлично получается. Я уверена, вы можете вести за собой людей и за что бы вы ни взялись, вы преуспеете, как преуспели в грамотности. Из вас вышел бы отличный адвокат. Вы бы могли блистать на политическом поприще. Ничто не мешает вам добиться такого же замечательного успеха, какого добился мистер Батлер. И обойдетесь без несварения желудка, – с улыбкой прибавила она.

Так они беседовали. Руфь с обычной своей мягкой настойчивостью опять и опять повторяла, что Мартину необходимо серьезное образование, что латынь дает неоценимые преимущества, это одна из основ при вступлении на любое поприще. Она рисовала свой идеал преуспевающего человека, и это был довольно точный портрет ее отца, с некоторыми черточками и оттенками, позаимствованными у мистера Батлера. Мартин слушал жадно, весь обратился в слух, он лежал на спине и, подняв голову, радостно ловил каждое движение ее губ, когда она говорила. Но к ее словам оставался глух. Картины, что она рисовала, отнюдь его не привлекали, он ощущал тупую боль разочарования да еще жгучую любовную тоску. Ни разу не помянула она о его писательстве, и забытые лежали на земле захваченные с собой рукописи.

Наконец, когда оба умолкли, Мартин взглянул на солнце, прикинул, высоко ли оно еще в небе, и, подобрав рукописи, тем самым напомнил о них. – Совсем забыла, – поспешно сказала Руфь. – А мне так хочется послушать.

Мартин стал читать рассказ, он льстил себя надеждой, что это у него один из лучших. Рассказ назывался «Вино жизни», вино это пьянило его, когда он писал, – пьянило и сейчас, пока читал. Была какая-то магия в самом замысле рассказа, и Мартин еще расцветил ее магией

слов, интонаций. Прежний огонь, прежняя страсть, с какой он писал тогда, вспыхнули вновь, завладели им, подхватили, и он был слеп и глух ко всем изъясам. Не то чувствовала. Руфь. Вышколенное ухо различало слабости и преувеличения, чрезмерную выпренность новичка и мгновенно улавливало каждый сбой, каждое нарушение ритма фразы. Интонацию рассказа Руфь замечала, пожалуй, лишь там, где автор изъяснялся чересчур напыщенно, и тогда ее неприятно поражало явное дилетантство. Таково было и ее окончательное суждение: рассказ дилетантский, но Мартину она этого говорить не стала. Когда он дочитал, только и отметила мелкие огрехи и сказала, что рассказ ей понравился.

Как же он был разочарован! Да, конечно, замечания ее справедливы, но ведь не ради же этих школьных поправок делился он с ней своей работой. Не о мелочах речь. Это дело наживное. Мелочи он исправит. Научится исправлять. Что-то огромное, важное поймал он в жизни и попытался заключить в свой рассказ. Вот это огромное, важное, взятое из жизни он и прочел ей, а не просто фразы, где так или эдак расставлены точки и запятые. Он хотел, чтобы Руфь вместе с ним почувствовала то огромное, что стало частью его самого, что он видел собственными глазами, постарался осмыслить, вложил в напечатанные на машинке слова. Что ж, значит, не удалось, решил он про себя. Может быть, редакторы и правы. Он почувствовал что-то огромное, важное, а передать не сумел. Мартин ничем не выдал, до чего он разочарован, очень легко соглашался с замечаниями Руфи, так что она и представить не могла, насколько несогласен он с ней в глубине души.

– А это я назвал «Выпивка», – сказал он, раскрывая другую рукопись. – Его отвергли уже четыре или пять журналов, и все равно, по-моему, он хороший. По правде сказать, не знаю, как к нему относиться, знаю только, что-то я в нем схватил. Может, вы со мной и не согласитесь. Рассказ короткий... всего две тысячи слов.

– Чудовищно!-воскликнула Руфь, когда он дочитал. – Ужас... немыслимый ужас!

С тайным удовлетворением заметил Мартин, как она побледнела, глаза расширены, взгляд напряженный, руки стиснуты. Он добился своего. Он передал то, что родилось у него в голове из воображения и чувства. Ее задело за живое. Не важно, понравился ей рассказ или нет, но он захватил ее, завладел ею, заставил сидеть, слушать и забыть о мелочах.

– Это жизнь, – сказал он, – а жизнь не всегда красива. И может, я странно устроен, а только, по-моему, есть в этом своя красота. Мне кажется, красота вдесятеро прекрасней оттого, что она – здесь, где...

– Но почему несчастная женщина не могла...– вне всякой связи прервала его Руфь. Не объяснив, что же ее так возмущает, сама себя перебила: – О, это унижительно! Это непристойно! Это грязно!

На миг Мартину показалось, сердце его перестало биться. Грязно! Вот уж не думал. И не хотел этого. Рассказ горел перед ним огненными буквами, он тщетно искал грязь в этом огненном сиянии. И сердце снова стало биться. Нет, он не виновен.

– Ну почему вы не выбрали что-нибудь попрстойнее?-говорила она. – Мы знаем, в мире существует грязь, но это еще не основание...

Она все говорила, сердито, с досадой, но Мартин уже не слушал. Он улыбался про себя, глядя в ее девичье лицо, такое безгрешное, такое пронзительно безгрешное, что чистота эта, казалось, проникает и в него, освобождает от всякого мусора, омывает каким-то лучистым светом, свежим, нежным, бархатистым, точно сиянье звезд. Мы знаем, в мире существует грязь! Господи, что уж она об этом знает, и он усмехнулся, точно милой шутке. И тотчас вспышка воображения нарисовала ему в несчетных подробностях необъятное море житейской грязи, которое он знал, которое избородил вдоль и поперек, и он простил Руфи, что она не поняла рассказа. Не могла она понять, и не ее это вина. Слава богу, что родилась и выросла в такой

безгрешности. Но он-то знает жизнь, ее непотребство, а не только чистоту, и то, что есть в ней возвышенного, вопреки отравляющей ее мерзости, и, черт возьми, он еще скажет об этом свое слово миру. Святые на небесах чисты и непорочны-как может быть иначе? Тут не за что восхвалять. Но святые среди мерзости-вот где вечное чудо! Вот ради чего стоит жить. Видеть нравственное величие, что поднимается из гнусной клоаки, подняться самому и еще не отмытыми от грязи глазами впервые приметить красоту, далекую, едва различимую; видеть, как из слабости, немощи, порока, из зверской жестокости возникает сила, и правда, и высокий благородный талант...

Тут он поймал слова Руфи:

– И вся атмосфера так низменна. А ведь столько существует возвышенного. Возьмите «Памяти Генри Халама».

Он чуть было не сказал: "Или «Локсли Холл», и сказал бы, но тут им опять завладело воображение и он загляделся на нее: вот перед ним женщина, вторая половина рода человеческого, создание, которое развилось из едва ожившей материи-тысячи тысяч веков ползло, медленно взбиралось по исполинской лестнице жизни-и возникло на высшей ступени, и стало наконец Руфью, чистой, непорочной, божественной, наделенной властью внушить ему любовь, жажду чистоты, стремление приблизиться к божественному началу, – ему, Мартину Идену, который тоже каким-то поразительным образом поднялся из серой массы, из болота, из бесчисленных ошибок и неудач нескончаемого созидания. Вот она, романтика, и чудо, и торжество. Вот о чем он будет писать, найти бы только настоящие слова. Святые на небесах-всего лишь святые, с них большего не спросишь. А он человек.

– В вас есть сила, – донеслось до него, – но сила первобытная.

– Вроде слона в посудной лавке, – подсказал Мартин, и Руфь одарила его улыбкой.

– Вам необходимо научиться разборчивости. Необходимо выработать вкус, изящество, стиль. – Слишком я высоко занесся, – пробормотал он.

Она одобрительно улыбнулась и приготовилась слушать следующий рассказ.

– Не знаю, как это покажется, – будто извиняясь, сказал Мартин. – Это странный рассказ. Похоже, дело оказалось мне не по плечу, но задумал-то, я неплохо. Не обращайтесь внимания на мелочи. Главное, доходит ли то самое важное, что в нем есть. Тут есть важное, есть настоящее, есть правда, только, похоже, не сумел я внятно это высказать.

Он читал, читал и наблюдал за ней. Наконец-то ее задело, подумалось ему. Руфь сидела не шевелясь, едва дыша, не сводила с него глаз, сама не своя от волнения, захваченная, как ему подумалось, магией того, что он создал. Он назвал рассказ «Приключение» и воистину возвеличил в нем приключение – не книжное, а настоящее приключение, – оно великий мастер задавать свирепые задачи, ошеломить карой, ошеломить и наградой, капризное и вероломное, оно требует немыслимого терпения, изнурительных дней и ночей тяжкого труда, венчает ослепительным солнечным сиянием славы либо смертью в неизвестности после долгих скитаний, пытки жаждой и голодом или чудовищным бредом губительной лихорадки; оно ведет – через кровь, и пот, и тучи жалящих насекомых, чередой мелких, низменных, связей – к блистательным высотам и великим свершениям.

Все это, все это и еще больше вложил Мартин в рассказ и, глядя, как она сидит и слушает, поверил, что это ее и взволновало. Глаза ее широко раскрылись, бледные щеки разгорелись, и под конец ему казалось, она сейчас задохнется. А Руфь и вправду была взволнована, но не рассказом, а им самим. Рассказ не произвел на нее впечатления; ее взволновали могучие токи, исходившие от Мартина, избыток силы, что переливалась через край и захлестывала ее. Как ни странно, этими токами был насыщен сам рассказ и через него-то пока передавалась ей сила Мартина. Руфь ощущала только напор силы, но не догадывалась, по какому каналу хлынула к

ней эта сила, и когда казалось, будто она захвачена тем, что он написал, ее взволновало совсем другое: ужасающая и опасная мысль, незваная, неожиданная. Она поймала себя на том, что ей любопытно: а каково это быть замужем, и, осознав своеволие и пыл этой мысли, ужаснулась. Это нескромно, так на нее непохоже. Женское естество не донимало Руфь, до сей поры она жила в царстве грез, куда увел ее Теннисон. И даже тончайшие намеки этого тончайшего поэта на грубость, которая вторгалась в отношения королев и рыцарей, ей не были внятны. Всегда она жила в полудреме, и вот жизнь властно, повелительно стучится во все ее двери. Ум, объятый страхом, требовал запереться на все замки и засовы, а взбунтовавшиеся инстинкты побуждали распахнуть врата навстречу непонятному и чудесному гостю.

Мартин, очень довольный, ждал, что она скажет. Не сомневался, как она рассудит, и поражен был, когда услышал:

– Это красиво. Очень красиво, – убежденно повторила она, чуть помедлив.

Ну да, красиво, но есть же в рассказе что-то большее, чем просто красота, какое-то жгучее великолепие, а красота лишь покорно ему служит. Мартин молчал, растянувшись на земле, и перед ним недоброй тенью вырастало мрачное сомнение. Он потерпел неудачу. Ничего он не способен высказать. Он видел величайшее чудо, каких не много на свете, и не сумел это передать.

– А что вы думаете о... о лейтмотиве? – он запнулся, смутился, впервые употребил прежде незнакомое слово.

– Лейтмотив нечеток, – ответила Руфь. – Это мой единственный серьезный упрек. Я проследила за развитием темы, но в рассказе слишком много ответвлений. Слишком растянуто. Вводя столько побочных линий и обстоятельств, вы тормозите действие.

– Так ведь таков и есть главный лейтмотив, – торопливо объяснил он, – важнейший подспудный лейтмотив – в нем всеобщее, всечеловеческое, что проодит через весь рассказ. Я все время пытался выявить это в сюжете, у которого тут роль второстепенная. Я был на правильном пути, но, видно, не справился. Не сумел передать, к чему клоню. Но со временем научусь.

Она не могла взять в толк, о чем это он. Хотя и стала она бакалавром искусств, а то, что он говорил, было выше ее разумения. И, не понимая собственной ограниченности, она полагала, что это он виноват, не умеет ясно и последовательно выразить свою мысль.

– Слишком многословно, – сказала она. – Но местами очень красиво.

Он слышал ее голос словно издавека-спорил в эту минуту сам с собой, читать ей «Голоса моря» или нет. Глухое отчаяние охватило его, а Руфь смотрела на него испытующе, и ее одолевали незванные своевольные мысли о замужестве.

– Вам хочется славы? – внезапно спросила она.

– Да, отчасти, – признался Мартин. – Это ведь тоже увлекательно. Тут важно не то, что прославился, а сам путь к славе. И потом, для меня слава была бы только средством достичь кое-чего другого. По правде сказать, именно ради этого я очень хочу славы.

– Ради вас, – хотел он прибавить и, наверно, прибавил бы, откликнись она на то, что он ей прочел. Но ее поглощали другие мысли, она соображала, на каком поприще он мог бы сделать карьеру, и оттого не спросила, на что же он намекал, к чему в конечном счете стремится. Карьера писателя не для него. В этом она не сомневалась. Он доказал это сейчас своими дилетантскими незрелыми опусами. Рассказывает он хорошо, но облечь свои мысли и чувства в литературную форму не способен. Она сравнивала его с Теннисоном, с Браунингом, со своими любимыми прозаиками, и, конечно же, он безнадежно проигрывал. Однако она не сказала всего, что думала. Странная тяга к нему заставляла медлить со строгим приговором. В конце концов, жажда писать лишь ребяческая слабость, со временем он ее перерастет. И тогда посвятит себя занятиям более серьезным. И преуспеет. Наверняка. Он такой сильный, он не может потерпеть

неудачу... только бы бросил писать.

– Я бы хотела, чтобы вы показывали мне все, что пишете, мистер Иден, – сказала она.

Он залился радостным румянцем. Значит, ей интересно. И по крайней мере, она не отвергла рассказ. Иные места ей показались красивыми, впервые он услышал слово одобрения.

– Непременно покажу, – горячо отозвался он. – И обещаю вам, мисс Морз, я непременно добьюсь своего. Я знаю, я прошел длинный путь и идти еще далеко, но я доберусь до цели, хоть ползком, а доберусь. – Он протянул рукопись. – Вот «Голоса моря». Когда вернетесь домой, я вам дам их, прочтите на досуге. Только потом скажите начистоту, что о них думаете. Мне ведь больше всего нужен критический разбор. И, пожалуйста, будьте откровенны со мной!

– Безусловно я буду откровенна, – пообещала Руфь, пряча неловкость, ведь она не была с ним откровенна, и навряд ли будет вполне откровенна в следующий раз.

«Первый бой позади, – сказал Мартин зеркалу десять дней спустя. – Но предстоит второй бой, и третий, и еще многое множество, разве что...»

Он не договорил, оглядел свою жалкую каморку, с грустью задержался взглядом на кипе возвращенных рукописей в больших конвертах, что так и лежали в углу на полу. Нет марок, чтобы снова отправить их странствовать, и вот уже неделю они все прибывают и прибывают. А завтра, и послезавтра, и послепослезавтра будут возвращаться еще другие, пока не вернутся все до одной. А он не сможет отослать их снова. Он уже на месяц опоздал с платой за взятую напрокат машинку и не может уплатить, денег осталось только на недельную плату за стол и жилье да на взнос в бюро по найму.

Он сел, задумчиво уставился на стол. На нем полно чернильных пятен. Кляксы, кляксы... и вдруг ощутил самую настоящую нежность.

– Дружище, – сказал он столу, – я провел с тобой немало счастливых часов, и, в сущности, ты был мне предан. Ты ни разу не отверг меня, ни разу не послал мне листка с незаслуженным отказом, ни разу не пожаловался, что работаешь сверх сил.

Он уронил руки на стол, уткнулся в них лицом. У него перехватило горло, он чуть не заплакал. И вспомнилось его первое сражение, в шесть лет, он тогда отбивался кулаками, по щекам бежали слезы, а его противник, двумя годами старше, лупцевал и тузил его так, что Мартин совсем обессилел. Он упал наконец, корчась в приступах тошноты, из носа струилась кровь, из подбитых глаз градом катились слезы, а кольцом обступившие их двоих мальчишки дико вопили.

– Бедняга ты, малец, – пробормотал он. – Опять попал в такую же переделку. Совсем тебя измордовали.. И нет больше сил.

Картина того первого сражения еще стояла перед глазами, а потом истаяла и ее сменяли чередой дальнейшие сражения. Через полгода Чурбан (так прозвали того мальчишку) опять его излупил. Но на этот раз и Мартин подбил ему глаз. Здорово получилось! Мартину привиделись все эти сражения, одно за другим, и всякий раз Чурбан торжествовал победу. Но Мартин никогда не удирал. И воспоминание об этом прибавило ему сил. Он всегда оставался и стойко переносил удары. Чурбан, злобный чертенок, никогда его не щадил. А он держался. Не сдавался, и все тут!

Потом ему привиделся узкий проулок меж ветхими бараками. Проулок упирался в одноэтажную кирпичную постройку, откуда доносился мерный грохот печатных машин, – там печатали первый выпуск «Любознательного». Ему было в ту пору одиннадцать, Чурбану – тринадцать, и оба продавали «Любознательного» на улицах. Оттого они там и оказались – ждали газету. И конечно же, Чурбан опять на него налетел, только драка окончилась ничем, потому что без четверти четыре двери печатного цеха растворились и вся орава мальчишек кинулась разбирать газеты.

– Завтра положу тебя на обе лопатки, – услышал он обещание Чурбана, услышал и свой тоненький, дрожащий от накипающих слез голос, мол, завтра сразимся. И назавтра он пришел, бегом бежал из школы, чтобы поспеть первым, на две минуты опередил Чурбана. Мальчишки говорили, он молодец и надавали ему советов, и толковали, как и в чем он сплеховал, и сулили ему победу, пускай только дерется как ему сказано. И те же мальчишки надавали советов и Чурбану. А как наслаждались они, глядя на драку! Мартин задержался на этом воспоминании и позавидовал: отличное представление устроили они с Чурбаном для тех мальчишек! Драка разгорелась и длилась целых полчаса без перерывов, пока не отворилась дверь печатного цеха.

Он видел себя мальчишкой, и день за днем он спешил из школы к типографии. Ходить быстро он не мог. Из-за бесконечных драк он хроمال, двигался с трудом. Руки от кисти до локтя были сплошь в синяках-даром, что ли, он отражал бессчетные удары, кое-где ссадины и ранки гноились. Голова и плечи болели, болела спина, не было на нем живого местечка, в голове-тяжесть и муть. В школе он не играл, и не учился тоже. Даже неподвижно просидеть весь день за партой, не вставая и в перемену, и то было мукой. Казалось, эти ежедневные сражения начались тысячи лет назад, жизнь обратилась в нескончаемую пытку и не будет этим ежедневным дракам конца. Почему же это он никак не одолеет Чурбана?-часто думал он, ведь тогда конец его, Мартина, мучениям. Ни разу не пришло ему в голову отказаться от драки, признать себя окончательно побежденным.

И вот он тащится в проулок, измученный телом и душой, зато постигает науку истинного упорства, противостоит своему вечному врагу, Чурбану, а тот, мучаясь не меньше, уже готов бы покончить с этими драками, если бы не эта орава мальчишек-газетчиков, ведь они ждут зрелища, и, как ни тяжело, надо быть гордым. Однажды после двадцати минут отчаянных попыток изничтожить друг друга, не нарушая правил, не разрешающих лягаться, бить ниже пояса, ударить поверженного, Чурбан, задыхаясь и едва держась – на ногах, предложил считать, что они квиты. И сейчас за столом, уронив голову на руки, Мартин со счастливым волнением видел себя в тот далекий миг – его шатает, он задыхается, давится кровью с разбитых губ, и все равно неверной походкой движется на Чурбана, сплевывает кровь, чтобы заговорить, и орет, что никакие не квиты, а если Чурбан желает, пускай сдается. Но нет, Чурбан не сдался и сражение продолжалось.

На другой день, и на третий, и еще бессчетное множество раз проулок был свидетелем их сражений. Каждый день перед началом, едва он замахивался, его пронизывала боль, и первые удары, которые они наносили друг другу, были нестерпимо мучительны: а потом все ощущения притуплялись, и он дрался вслепую, подпрыгивал, пританцовывал, уклонялся от ударов, и, словно во сне, виделись ему крупные черты, горящие звериные глазки Чурбана. Только это он и видел, все остальное вокруг лишь кружащаяся в вихре пустота. Ничего нет в мире, кроме этого лица, и вовек не будет покоя, блаженного покоя, пока он, Мартин, не разобьет его в лепешку кровоточащими кулаками или пока кровоточащие кулаки, имеющие какое-то отношение к этому лицу, не разобьют в лепешку его самого. И уж тогда он так ли, эдак ли обретет покой. А счесть, что они квиты, просто квиты, – нет, невозможно.

Наступил день, когда он приплелся в проулок, а Чурбана там не было. Чурбан не пришел. Мальчишки поздравили его, сказали, он победил Чурбана. Но Мартин не был удовлетворен. Не победил он Чурбана, и Чурбан его не победил. Дело кончилось ничем. Лишь потом они узнали, что в тот самый день у Чурбана неожиданно умер отец.

– Мартин перенесся через годы в Аудиториум, на галерку. Было ему семнадцать, и он только что вернулся из плавания. Началась заварушка. Кто-то к кому-то пристал, Мартин вступился, и перед ним оказались горящие глаза Чурбана.

– Разделаюсь с тобой после представленья, – прошипел его давний враг, Мартин кивнул. К ним, учуяв заварушку, уже спешил вышибала.

– Жду тебя на улице после представленья, – прошептал Мартин, а по лицу его можно было подумать, будто он поглощен танцорами, выплясывающими на сцене в деревянных башмаках.

Вышибала свирепо на них глянул и отошел.

– Ты с компанией? – спросил Мартин в перерыве.

– Ясно.

– Тогда и я себе сыщу, – объявил Мартин. В антракте он сыскал подмогу – троих ребят, которых знал по гвоздильной мастерской, пожарного с железной дороги, полдюжины

любителей пошуметь и еще столько же из компании, приводившей в трепет весь квартал Восемнадцатой – Маркет-стрит.

В потоке зрителей, хлынувшем из театра, обе компании незаметно разошлись на противоположные стороны улицы. Потом на безлюдном углу сошлись держать военный совет.

– Мост Восьмой улицы самое подходящее, – сказал рыжий парень из компании Чурбана. – Драться можно посередке под фонарем, а появятся фараоны, дадим деру в другую сторону.

– Ладно, идет, – сказал Мартин, посоветовавшись с заводилами из своих.

Мост Восьмой улицы, переброшенный через один из рукавов дельты Сан-Антонио, в длину не меньше трех городских кварталов. Посреди моста и по концам горели электрические фонари. И эти крайние фонари не дадут ни одному полицейскому ступить на мост незамеченным. Для битвы, что ожила сейчас под сомкнутыми веками Мартина, место безопасное. Он видел две оравы, воинственные и угрюмые, они держались поодаль друг от друга, каждая – позади своего бойца; видел, как сам он и Чурбан раздеваются. В стороне выставлены дозоры, их задача – не спускать глаз с освещенных концов моста. Один из любителей пошуметь держал куртку Мартина, рубашку, матросскую бескозырку, если вмешается полиция, он мигом кинется с ними подальше от греха. И вот Мартин выходит на середину и в упор смотрит на Чурбана, предостерегающе подняв руку, и снова он слышит слова, что сказал тогда:

– Никаких рукопожатий. Понял? Будем биться и боле ничего. И чтоб пощады не просить. Счеты у нас старые, деремся до победного. Кто кого уложит на обе лопатки.

Мартин приметил, Чурбан было заколебался, но перед двумя сворами разыграла прежняя рискованная гордость.

– Да чего там!-ответил он. – Еще разговоры разговаривать! До конца так до конца.

И они кинулись друг на дружку, будто молодые бычки, во всем великолепии юности, вооруженные лишь кулаками, да ненавистью, да жаждой исколошматить, изувечить, изничтожить. Все, чего достиг человек за время тысячелетнего мучительного восхождения, было забыто. От всего этого остался лишь электрический фонарь, веха на великом пути к вершинам. Мартин и Чурбан были два дикаря из каменного века, те самые, что укрывались в пещерах и на деревьях. Все глубже и глубже опускались они, в пучину, на илистое дно, где зарождались примитивные начатки жизни, и подобно крупицам звездной пыли в небесах и атомам во всем сущем, движимые слепой стихийной силой, притягивались, отталкивались и снова притягивались, опять и опять, без конца.

– Господи! Ну и скоты, свирепое зверье!-пробормотал Мартин, вновь наблюдая за той дракой. При его редкостной силе воображения, он словно смотрел в кинетоскоп. Он был сразу и зритель и участник. Все впитанное за долгие месяцы приобщения к культуре и самоусовершенствования содрогалось от этого зрелища; а потом настоящее стерлось в сознании, призраки прошлого завладели им, и снова он-прежний Мартин Иден, он только что возвратился из плавания и дерется с Чурбаном на мосту Восьмой улицы. Он терпел боль, и надрывался, и потел, и истекал кровью, и бурно ликовал, когда ободранные кулаки попадали в цель.

Два бешеных смерча, заряженные ненавистью, в неистовом круговороте сшибались друг с другом. Время шло, и две враждебные оравы притихли. Никогда еще не видели они такого накала ярости и ужаснулись. Эти двое оказались еще более жестокими, чем они сами. Безоглядность первых минут, пыл силы и молодости сменились осторожной расчетливостью. Ни тому, ни другому не удавалось взять верх. «Верная ничья»– донеслось до Мартина. Потом он сделал ложный выпад вправо, влево, получил ответный яростный удар и почувствовал – рассечена скула. Голыми руками такого не сделаешь. Рана была страшная, среди зрителей поднялся ропот изумления. Мартин залился кровью. Но не выдал подозрения. Он повел себя

невероятно осторожно, – он хорошо знал, на какое коварство и гнусную низость способны его собратья. Он помедлил, присматриваясь, потом будто в бешенстве кинулся, но на полдороге остановился – увидел наконец, как блеснул металл.

–Подыми руку – заорал он. – Свинчаткой меня вдарил.

Обе своры, злобно рыча, рванулись вперед. Еще миг, и начнется общая потасовка, и он не сможет отомстить. Он осатанел.

– Все прочь! – хрипло завопил он. – Поняли? Эй вы, поняли?

И все шарахнулись назад. Сами звери, в нем они увидели сверхзверя и, укрощенные, подчинились.

– Никто не суйся, уж я с ним сочтусь! Гони свинчатку!

Чурбан, отрезвев и малость струхнув, отдал гнусное оружие.

– Это ты ему передал, ты, Рыжий, за спинами пролез, – продолжал Мартин и швырнул свинчатку в воду. – Я видал

– рядом отираешься, еще подумал, какого черта. Опять чего затеешь, забью насмерть. Понял?

И опять они дрались, в полнейшем изнеможении, в изнеможении безмерном, невообразимом, и наконец толпа зверей, насытившись видом крови, в страхе от происходящего, забыла о распрях и стала упрашивать их разойтись. Видно было, Чурбан вот-вот рухнет и испустит дух или испустит дух стоя; изуродованный кулаками Мартина и уже на себя непохожий, он дрогнул, заколебался; но Мартин ринулся на него и осатанело бил, бил опять и опять.

Казалось, прошла вечность. Чурбан слабел на глазах, а удары с обеих сторон все сыпались, и тут раздался хруст и правая рука Мартина бессильно повисла. Перелом. Все слышали хруст и поняли, что он означает; понял, и Чурбан, как тигр кинулся на искалеченного врага и обрушил на него град ударов. Команда Мартина рванулась вперед, готовая вступить. Оглушенный непрерывно сыплющимися на него ударами, Мартин невольно всхлипывал и стонал в безмерном отчаянии, в муке, но остановил защитников бешеной неистовой бранью.

Он бил одной левой, и, пока бил, упряма, почт в полубеспамятстве, до него донесся словно издали приглушенный опасливый ропот обеих команд и чей-то дрожащий голос:

–Это ж, ребята, не драка. Убийство, надо их растащить.

Но растаскивать не стали, и Мартин был рад и устало, безостановочно бил левой, лупил кровавое месиво, что маячило напротив, – не лицо, нет, что-то мерзкое, страшное, качалось перед его затуманенными глазами и невнятно бормотало, безымянное, невыразимо гнусное, и упорно не исчезало. И он лупил, лупил, все медленнее и медленнее, и последние остатки жизненной силы вытекали из него, и проходили века, вечность, огромные промежутки времени, и наконец он будто сквозь туман заметил, как это безымянное оседает, медленно оседает на грубый дощатый настил моста. И вот Мартин стоит над ним и, качаясь на подламывающихся дрожащих ногах и в поисках опоры цепляясь за воздух, говорит чужим, неузнаваемым голосом:

– Ну что, хватит с тебя? Слышь, хватит с тебя? Он повторял все одно и то же, опять и опять – требовательно, умоляюще, угрожающе, а потом почувствовал: ребята из его команды держат его, похлопывают по спине; пытаются натянуть на него куртку. И тогда на него нахлынула тьма, и он канул в небытие.

Жестяной будильник на столе неумоимо тикал, подсчитывая секунды, но Мартин Иден по-прежнему сидел, уронив голову на руки, и не слышал счета секунд. Ничего уже он не слышал. Ни о чем не думал. С такой полнотой пережил он тогдашнее сызнова, что, как и тогда, на мосту Восьмой улицы, потерял сознание. Долгую минуту, длились тьма и беспмятство. Потом, будто восстав из мертвых, он вскочил, глаза загорелись, по лицу катился пот.

– Я одолел тебя, Чурбан!-закричал он. – Одиннадцать лет понадобилось, но я тебя одолел!

Колени дрожали, такая накатилась на него слабость, он, спотыкаясь, шагнул к кровати, опустился на край. Он был еще в тисках прошлого. Недоумевающе, тревожно огляделся по сторонам, пытаясь понять, где он, и наконец ему попала на глаза куча рукописей в углу. И колеса памяти закрутились, перенесли его на четыре года вперед, и он вновь осознал настоящее, книги, которые вошли в его жизнь, мир, открывшийся ему с их страниц, свои мечты и честолюбивые замыслы, свою любовь к бледному, воздушному созданию, девушке нежной и укрытой от жизненных волнений, которая умерла бы от ужаса, окажись она хоть на миг, свидетельницей того, что он сейчас пережил, – той мерзости жизни, из которой он выбрался.

Он встал, поглядел на себя в зеркало.

– Итак, ты поднимаешься из грязи, Мартин Иден, – торжественно произнес он. – Протираешь глаза, чтобы увидеть сияние, и устремляешься к звездам, подобно всему живому до тебя, и даешь умереть в тебе обезьяне и тигру, и готов отвоевать бесценнейшее наследие, какие бы могущественные силы им ни владели.

Он пристальней всмотрелся в свое отражение и рассмеялся.

– Малость истерики и мелодрамы, а? – осведомился он. – Ну да ничего. Ты одолел Чурбана, одолеешь и редакторов, хоть бы пришлось потратить дважды по одиннадцать лет. Не можешь ты остановиться на полпути. Надо идти дальше. Сражаться до конца, и никаких гвоздей.

Будильник зазвонил, вырвав Мартина из сна, да так резко, что, если бы не его великолепный организм, у него бы тотчас разболелась голова. Он спал крепко, но проснулся мгновенно будто кошка, и проснулся полный нетерпенья, радуясь, что пять часов беспамятства позади. Он терпеть не мог сонное забытие. Слишком много всего надо сделать, слишком насыщена жизнь. Жаль каждого украденного сном мгновения, и не успел еще отрешаться будильник, а он уже сунул голову в таз, и от ледяной воды пробрала дрожь наслаждения.

Но не пошел сегодня день по заведенному порядку. Не ждал его незаконченный рассказ, не было и нового замысла, которому не терпелось бы воплотиться в слова. Накануне Мартин занимался допоздна, и сейчас близился час завтрака. Он взялся было за главу из Фиска, но не мог сосредоточиться и закрыл книгу. Сегодня начинается новое сражение— на какое-то время он перестанет писать. В нем поднялась печаль сродни той, с какою покидаешь отчий дом и семью. Он посмотрел на сложенные в углу рукописи. Вот оно. Он уходит от них, от своих злосчастных, опозоренных, всеми отвергнутых детей. Он нагнулся, стал их листать, перечитывать отдельные куски. Самое любимое — «Выпивка» — удостоилось чтения вслух, и «Приключение» тоже. Рассказ «Радость», последнее его детище, законченный накануне и брошенный в угол из-за отсутствия марок, особенно нравился ему.

— Не понимаю, — бормотал он. — Или, может, не понимают редакторы. Чем это плохо? Каждый месяц печатают много хуже. Все, что они печатают, хуже... ну, почти все.

После завтрака он вложил пишущую машинку в футляр и повез в Окленд.

— Я задолжал за месяц, — сказал он служащему в конторе проката. — Но вы передайте управляющему, я сейчас еду работать, примерно через месяц вернусь и рассчитаюсь.

Он переправился на пароме в Сан-Франциско и зашагал к бюро по найму.

— Нужна работа, годится любая, — сказал он агенту, но его прервал на полуслове только что вошедший парень, одетый с дешевым шиком, — так одеваются рабочие, которых тянет к красивой жизни. Агент безнадежно покачал головой.

— Ничего не подвернулось, а? — сказал парень. — А мне нынче хоть кого, а надо позарез.

Он обернулся, пристально посмотрел на Мартина, Мартин ответил таким же пристальным взглядом, увидел опухшее, словно бы слинявшее лицо, красивое и безвольное, и понял, парень кутил ночь напролет.

— Работу ищешь? — осведомился тот. — А что умеешь?

— Черную работу, моряцкую, на машинке печатаю, только стенографию не знаю, верхом ездить могу, никакой работой не погнушаюсь, возьмусь за любую, — был ответ. Парень кивнул.

— Подходяще. Я— Доусон, Джо Доусон, мне нужен человек в прачечную.

— Не знаю, потяну ли. — Перед Марином мелькнула забавная картинка: он гладит воздушные дамские вещички. Но парень отчего-то ему приглянулся, и он прибавил: — Хотя простую стирку могу. Уж этому-то я в плавание научился.

С минуту Джо Доусон раздумывал.

— Слышь, давай попробуем столкнуться. Сказать, об чем речь?

Мартин кивнул.

— Так вот, прачечная маленькая, за городом, при гостинице, значит, в Горячих ключах. Работают двое, главный и помощник. Главный— я. Ты работаешь не на меня, а только под моим началом. Ну как, подучиться согласен?

Мартин ответил не сразу. Предложение соблазнительное. Всего несколько месяцев в прачечной, и опять будет время учиться. Он умеет и работать и учиться в полную силу.

– Жратва что надо и отдельная комната, – сказал Джо.

Это решило дело. Отдельная комната, где можно будет без помехи жечь лампу.

– Но работа адова, – прибавил тот. Мартин многозначительно погладил выпиравшие на руках бицепсы.

– Не на легкой работе нажиты.

– Тогда давай сталкиваемся. – Джо потрогал голову. – Ух, башка трещит, прямо глаза не смотрят. Вчера вечером напился... все спустил... все как есть. Значит, мы так с тобой будем. Платят двоим сотню, да еще жилье и стол. Мне шло шестьдесят, помощнику сорок. Но прежний знал дело. Ты новичок. Покуда тебя обучу, спервоначалу еще и твоей работы хлебну. Считай, сейчас положу тебе тридцать, а потом дойдет и до сорока. Без обмана. Как выучишься управляться сам, сразу получишь сорок.

– Идет, – объявил Мартин, протянул руку, и они отменялись рукопожатием. – Вперед сколько-нибудь не дашь – на проезд и еще всякое?

– Прописался вчистую, – горестно ответил Джо и опять потрогал гудящую голову. – Только и есть обратный билет.

– И я на мели... за квартиру отдам последнее.

– Улизни, – присоветовал Джо.

– Не могу. Сестре задолжал.

Джо озадаченно присвистнул, и так прикинул и эдак, но ничего не придумал.

– Опрокинем по стаканчику, на это хватит, – уныло сказал он. – Пошли, может, чего и сообразим. Мартин отказался.

– Непьющий?

На этот раз Мартин кивнул, и Джо пожаловался:

– Мне бы так! Да не получается, – сказал он, будто оправдываясь. – Всю неделю работаешь как проклятый, ясно, потом напиваешься. А не напьюсь, так глотку себе перережу, не то всю лавочку спалю. А ты непьющий, это хорошо. Так и держи.

Мартин понимал, какая пропасть отделяет его от этого человека – виной тому книги, – но без труда перемахнул через пропасть назад. Всю жизнь он прожил среди рабочего люда, и дух товарищества накрепко соединил его с теми, кто в поте лица добывает свой хлеб. Задачу, как добраться до места, он решил сам, у Джо слишком трещала голова. Вещи он отправит по билету Джо. А сам – на то есть велосипед. До места семьдесят миль. За воскресенье он доедет, и в понедельник утром можно приступать к работе. А пока пойдет домой, сложит пожитки. Прощаться ему не с кем. Руфь и вся ее семья проводит лето в горах Сиерра-Невады, на озере Тахо.

В воскресенье вечером, усталый, пропыленный, он приехал в Горячие ключи. Джо бурно его приветствовал. Все воскресенье он работал, обмотав гудящую с похмелья голову мокрым полотенцем.

– С прошлой недели стирка накопилась, я ж за тобой ездил, – объяснил он. – Сундук твой прибыл. Он в твоей комнате. Ну и тяжеленный. Чего это в нем? Золотые слитки?

Джо сел на кровати, а Мартин принялся разбирать вещи. Они были в ящике из-под консервов для завтрака, и Хиггинботем требовал за него полдоллара. Мартин прибил к ящику две веревочные ручки, чтобы его можно было сдать в багаж. Джо смотрел, вытаращив глаза, – из ящика появились рубашки, несколько смен белья, а потом пошли книги и еще книги.

– До самого дна книги? – спросил он. Мартин кивнул и продолжал выкладывать книги на кухонный столик, который заменял в комнате умывальник.

– Ишь ты! – вырвалось у Джо; он помолчал, соображая, как к этому отнестись. До чего-то додумался.

– Слышь, а тебе девчонки – как... без интереса? – полубопытствовал он.

– Не очень, – был ответ. – Раньше всю бегал, пока не взялся за книги. Как взялся, времени не хватает.

– А здесь и вовсе не хватит. Будешь работать да спать, боле ничего.

Мартин подумал, что спит ночью только пять часов, и улыбнулся. Его комната помещалась над прачечной, в том же строении, что и мотор, который качал воду, давал электрический ток и приводил в движение стиральные машины. Механик, живущий в соседней комнате, заглянул познакомиться с новым подручным и помог Мартину удлинить провод у электрической лампочки, чтобы можно было переносить ее от стола к кровати.

Наутро Мартина подняли в четверть седьмого, чтобы поспеть к завтраку без четверти семь. В том же доме, где прачечная, оказалась ванна для гостиничной прислуги, и он потряс Джо тем, что принял холодную ванну.

– Ай да ты, ну молодец, – заявил Джо, когда они сели завтракать в углу гостиничной кухни.

За столом с ними сидели механик, садовник, подручный садовника и двое или трое конюхов. Ели торопливо, угрюмо, разговаривали мало, и, слушая их, Мартин понял, как далеко он от них ушел. Их ограниченность угнетала его, не терпелось поскорей отделаться от этой компании. Так же наспех, как они, он проглотил дрянное водянистое варено и, когда оказался за порогом кухни, вздохнул с облегчением.

Маленькая паровая прачечная была отлично оборудована, современнейшие машины выполняли всю доступную машине работу. Джо растолковал Мартину что и как, и тот принялся сортировать груды грязного белья, а сам Джо включил стиральную машину и начал перемешивать жидкое мыло, такое едкое, что пришлось ему обмотать рот, нос и глаза махровыми полотенцами и он стал походить на мумию. Закончив разборку, Мартин помог выжимать белье. После стирки белье загружали в бак, крутящийся со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, и центробежная сила выжимала воду. Потом Мартину пришлось сновать от выжималки к сушилке и обратно, а между делом еще и отделить от остального белья чулки и носки. После полудня один подавал чулки и носки под отжимный каток, другой складывал их, а тем. временем разогревались утюги: Потом до шести – горячие утюги и нижнее белье, и в шесть Джо с сомнением покачал головой.

(Не управились, – сказал он. – Придется работать после ужина.

И после ужина они работали до десяти, в слепящем электрическом свете, пока не отгладили, не сложили в кастелянской последнюю штуку нижнего белья. Был жаркий калифорнийский вечер, и даже при распахнутых настежь окнах помещение, где на раскаленной докрасна плите нагревались утюги, обратилось в пекло. Мартин и Джо, в нижних рубашках и в трусах, с голыми руками, обливались потом и ловили ртом воздух.

– Все равно как грузить судно в тропиках, – сказал Мартин, когда они поднялись наверх.

– Приладишься, – отозвался Джо. – Хватка у тебя есть. Если и дальше так будешь, просидишь на тридцати долларах от силы месяц. На второй получишь свои сорок. Только не говори, будто впервой за утюг взялся. Все одно не поверю.

– Сроду ни одной тряпки не выгладил, до сегодняшнего дня, право слово, – возразил Мартин.

У себя в комнате он почувствовал, до чего устал, и удивился, – забыл, что четырнадцать часов провел на ногах и работал без роздыха. Поставил будильник на шесть утра и отсчитал назад пять часов – получился час ночи. До часу можно читать. Скинул башмаки, давая отдых распухшим ногам, – и уселся за стол с книгами. Открыл Фиска на том месте, где остановился два дня назад, и принялся читать. Но первый же абзац поставил его в тупик, и он принялся читать сначала. Потом заснул. Проснулся, все мышцы цепенели и ныли, холодный ветер с гор

задувал в окно, пробирал насквозь. Мартин посмотрел на часы. Они показывали два. Проспал четыре часа. Он разделся, забрался в кровать и, едва опустив голову на подушку, заснул.

Во вторник они тоже не давали себе передышки. Мартина восхищала скорость, с какой работал Джо. У него все в руках горело. Нервы и мышцы напряжены до предела, за долгий рабочий день ни секунды не потратил зря. Весь сосредоточенный на работе, на том, как выгадать время, он указывал Мартину, что там, где тот делает пять движений, довольно трех, а где три, хватит двух. «Экономия движений», так определил это Мартин, и присматривался, и старательно подражал. Он и сам был работник хоть куда, быстрый и ловкий, и неизменно гордился тем, что никому не приходится что-то доделывать за него и никто не может его обогнать. Вот и сейчас он работал так же сосредоточенно, целеустремленно, на лету ловил советы и подсказки напарника. Ему удавалось пройти по воротничкам и манжетам так, что между слоями материи не застревал крахмал и они потом не пузырились при глажке, и делал он это с такой быстротой, что заслужил похвалу Джо.

Работа не прерывалась ни на минуту, не одно так другое. Джо не медлил, не мешкал, мигом переходил от дела к делу. Они накрахмалили двести белых сорочек – одним рывком хватали сорочку так, что манжеты, воротничок, манишка оказывались в вытянутой вперед правой руке. Одновременно левой рукой подтягивали остальное, чтобы не попало в крахмал, а правую окунали в крахмал, такой горячий, что, если каждый раз не сунуть руку в ведро с холодной водой, он прилипнет к руке. И они работали в этот вечер до половины одиннадцатого – подкрахмаливали отделанное оборками тонкое и воздушное дамское белье. – Я за тропики, чтоб никакой тебе одежды, – со смехом заявил Мартин.

– Тогда я безработный, – серьезно возразил Джо. – Я никакой другой работы не умею.

– А эту умеешь дай бог всякому,

– Еще бы! С одиннадцати годов начал, в Контра-Коста, в Окленде, стряхивал воду до отжимного катка. Восемнадцать годов минуло, а я только в прачечных и работал. Но и то сказать, на такую каторгу попал впервой. Тут по крайности еще одного надо. Завтра работаем весь вечер. В среду вечером всегда запускаю отжимный каток – воротнички да манжеты.

Мартин завел будильник, подсел к столу и открыл Фиска. Но и первый абзац не дочитал. Строчки затуманились, слились, он стал клевать носом. Поднялся, походил взад-вперед, безжалостно колотил кулаками по голове, но сонное оцепенение одолеть не удалось. Поставил перед собой книгу, подпер веки пальцами – и заснул с широко открытыми глазами. Тогда он сдался и, едва осознавая, что делает, разделся и повалился на кровать. Он спал семь часов тяжелым сном животного и, разбуженный трезвоном будильника, почувствовал, что еще не выспался.

– Много читаешь? – спросил Джо. Мартин покачал головой.

– Не горюй. Нынче вечером надо все прокатать, а уж в четверг пошабашим в шесть. Тогда считаешь.

В тот день Мартин стирал шерстяное вручную в большом баке с едким жидким мылом, с помощью хитроумного приспособления – втулки от фургонного колеса и поршня, соединенных с пружиной над баком.

– Мое изобретенье, – гордо сказал Джо. – Это будет лучше стиральной доски и твоих костяшек, да еще выгадываешь полчаса в неделю, не меньше, полчаса в эдаком деле не пустяк.

Разглаживать катком воротнички и манжеты тоже придумал Джо.

– Кроме как в этой прачечной, боле нигде так не делают, – объяснил он вечером, когда они трудились до седьмого поту уже при ярком свете электрических лампочек. – А без этого в субботу в три часа не кончишь. Я наловчился, вот в чем соль. Надо подгадать температуру и давление и прокатать три раза. Гляди! – Он помахал манжетой. – Ни вручную, ни на гладильной

машине лучше не получится.

В четверг Джо пришел в бешенство. Принесли лишний узел – фасонного дамского белья.

– Хватит, – заявил он. – Сыт по горло. Хватит с меня. На черта мне это, всю неделю надрывался как каторжный, каждую минутку сберегал, а мне подкидывают лишнюю кучу фасонного в крахмал? У нас тут свободная страна, и я скажу этому жирному голландцу, кто он такой есть. Так прямо и скажу. Самыми простыми словами. Будет знать, как подбрасывать лишку!

– Придется работать до ночи, – сказал он уже через минуту; он передумал и подчинился судьбе.

И Мартин в тот вечер тоже не читал. Всю неделю он не видел газет и, как ни странно, ничуть по ним не соскучился. Не до новостей ему было. Слишком он устал, измучился, ничего его не интересовало, и однако к концу дня в субботу, если они в три кончат, он задумал съездить на велосипеде в Окленд. Это семьдесят миль, и столько же назад в воскресенье во второй половине дня, и уж что-что, а отдохнуть перед новой рабочей неделей он не успеет. Было бы легче поехать поездом, но билет в оба конца два с половиной доллара, а он намерен скопить денег.

Мартин многому научился. В первую неделю они с Джо однажды за полдня обработали двести белых сорочек. Джо управлялся с гладильной машиной— горячими утюгами, подвешенными на стальной пружине и опускавшимся как пресс. Он гладил стойку, обшлага, ворот, расправлял их под нужным углом к сорочке и наводил глянец на манишку. Едва кончив, кидал сорочку на полку между ним и Мартином, тот хватал ее и «доводил». Иначе говоря, гладил все, что не накрахмалено.

Изматывающая работа, час за часом, в бешеном темпе. Поодаль, на просторных верандах гостиницы, мужчины и женщины в белых прохладных одеждах потягивали ледяные напитки, умеряли жар. А в прачечной нечем было дышать. Огромная плита раскалялась только что не добела, утюги двигались взад-вперед по влажной ткани, и над ними клубился жаркий пар. Накал утюгов был совсем не тот, что дома у хозяйки. Утюг, который шипит, когда его тронешь мокрым пальцем, для Мартина и Джо был недостаточно горячий, их утюги так не попробуешь. Они проверяли утюг, поднося его близко к щеке, и определяли, хорош ли, полагаясь на какое-то таинственное чутье, которое восхищало Мартина, но оставалось непонятным. Если только что взятый утюг оказывался чересчур горяч, его подвешивали на железный крюк и окунали в холодную воду. И опять же тут требовалась безупречная верность суждения. Лишняя доля секунды в воде — и неуловимая толика жара потеряна; а Мартин еще успевал иной раз подивиться развившейся у него точности, автоматической точности, безошибочной, как у машины.

Но удивиться было недосуг. Работа требовала предельной сосредоточенности. Весь он, и голова и руки, в непрестанном напряжении— он просто разумная машина, и все, что делало его человеком, теперь служит этому машинному разуму. Для вселенной, для ее великих загадок в сознании уже нет места. Все широкие просторные коридоры мозга наглухо закрыты и запечатаны. Только один уголок души еще отзывается на внешний мир— будто штурманская рубка, откуда он управляет мышцами рук, десятью ловкими пальцами да утюгами, что проворно двигаются по своей курящейся паром дорожке— столько-то плавных, размеренных движений, и ни единым больше, такой-то длины размах руки, и ни на волос больше, — по несчетным рукавам, бокам, спинам и нижним краям— и аккуратно, чтобы не помять, — отбрасывает отглаженную сорочку на приемную раму. И, торопливо отбрасывая, уже протягивает руку за следующей сорочкой. И так час за часом, а между тем мир за стенами прачечной замирает под пылающим солнцем Калифорнии. Но в жаркой духоте прачечной работа не замирает ни на миг. Постояльцам гостиницы, отдыхающим на прохладных верандах, требуется чистое белье.

Мартин обливался потом. Он без конца пил воду, но такая стояла жара и таких усилий требовала работа, что влагой исходила вся его плоть, все поры. В море всегда, кроме редких самых напряженных часов, за работой вполне можно было поразмыслить о своем. Капитану корабля было подвластно время Мартина, а вот хозяину гостиницы оказались подвластны и его мысли. Мартин только и думал что о выматывающей душу, изнуряющей тело работе. Ни о чем другом думать уже не было сил. Он больше не помнил, что любит Руфь. Она как будто и не существовала — загнанной душе некогда было о ней вспомнить. Лишь когда он, еле волоча ноги, добирался поздно вечером до постели или утром за завтраком, она мимолетно возникала в памяти.

— Вот он где, ад, верно? — заметил однажды Джо. Мартин кивнул, но его взяло зло. И так ясно, чего болтать. За работой они не разговаривали. Разговоры нарушали ритм, вот как сейчас

— Мартин сбился, не провел вовремя, утюгом, и, чтобы вернуться к прежнему ритму,

пришлось сделать два лишних движения.

В пятницу утром запустили стиральную машину. Дважды в неделю надо было стирать гостиничное белье: простыни, наволочки, покрывала, скатерти, салфетки. Покончив со стиркой, тут же взялись за фасонное белье. Обращение с ним требовалось неспешное, искусное, осторожное, и Мартин овладел мастерством не сразу. К тому же рисковать тут было нельзя. Ошибки кончались катастрофой.

– Гляди-ка, – сказал Джо, протягивая Мартину тонкий как паутина чехол корсета, который можно было спрятать в кулаке. – Подпалишь – двадцать долларов из жалованья долой.

И Мартин не подпалил эту паутинку, он расслабил мышцы, но напряг внимание и при этом сочувственно слушал, как ругательски ругается Джо, потая и мучась над красивыми вещичками, что носят женщины, которым не приходится самим их стирать. Для Мартина стирка фасонного белья была как страшный сон, и для Джо тоже. Фасонное белье пожирало их с трудом сэкономленные минуты. Оно отняло у них целый день. В семь вечера они отложила его и прокатали постельное, скатерти и прочее гостиничное белье. С десяти, когда постояльцы уже спали, опять потели над фасонным бельем до полуночи, до часу, до двух. В половине третьего наконец отделались.

Утром в субботу опять фасонное и вся мелочь, и к трем часам дня со всей недельной работой покончили.

– Неужто опять будешь семьдесят миль до Окленда крутить педали? – спросил Джо, когда они сидели на крыльце и победоносно покуривали. – Надо, – был ответ.

– Чего тебя несет, к девчонке?

– Нет, сэкономлю два с половиной доллара на железнодорожном билете. Хочу обменять книги в библиотеке.

– Послал бы срочной почтой. В один конец всего четвертак.

Мартин призадумался.

– А завтра передохни, – настаивал Джо. – Без роздыха не вытянешь. По себе знаю. Я вчистую вымотался.

Оно и видно было. Всю неделю он яростно работал, неумоимо отвоевывал у времени секунды и минуты, ловко избегал промедлений и сокрушал препятствия, источал неодолимую энергию, – мощный человек-мотор, он работал, не щадя сил, все горело у него в руках, и вот теперь, завершив недельный труд, он был в полном изнеможении. Он вконец умаялся, вымотался, измученное красивое лицо осунулось. Он вяло попыхивал сигаретой, и голос звучал до странности глухо, бесцветно. Огня, живости – как не бывало. Жалкая это была победа.

– А на той неделе опять начинай сызнава, – грустно сказал он. – И на черта мне это сдалось? Бывает, рад бы податься в бродяги. Ихний брат не работает, а с голоду ж не помирает. Слышь! Сейчас бы кружку пива, да пороку не хватает топать за ней в поселок. Ты не дури, оставайся, а книжки свои пошли срочной почтой.

– А все воскресенье что тут делать? – спросил Мартин.

– Отдыхать. Ты сам не знаешь, до чего замучился. Да я в воскресенье вовсе замученный, газету и то читать сил нет. Раз было захворал я тифом. Два месяца с половиной в больнице отлежал. И никакой тебе работы. Во была красота.

Мартин принял ванну, а после ванны оказалось, Джо исчез. Скорей всего пошел выпить кружку пива, решил Мартин, но прошагать полмили, лишь бы в этом удостовериться, слишком длинное путешествие. Он скинул башмаки, лег на кровать и попытался сообразить, что делать дальше. За книгу и не брался. Такой он был измочаленный, даже в сон не клонило. и он лежал, оцепенев от усталости, почти без мыслей, до самого ужина. Джо к столу не явился, и лишь когда Мартин услышал слова садовника, мол, Джо. видать, загулял в баре, он понял, что к чему.

Сразу после ужина он лег спать, а поутру решил, что отдохнул на славу. Джо все не возвращался; Мартин раздобыл воскресную газету и улегся в тенистом уголке под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Спать он не спал, и никто его не тревожил, а меж тем газета осталась недочитанная. Он опять взялся за нее после обеда, и тут его сморил сон.

Так прошло воскресенье, в понедельник он уже крутился как белка в колесе, разбирал грязное белье, а Джо, крепко обвязав голову полотенцем, со стонами и проклятьями запустил стиральную машину и перемешивал жидкое мыло.

– Просто не могу без этого, – объяснил он. – Как подходит вечер субботы, должен выпить, хоть тресни.

Прошла еще неделя, великое сражение, что ежедневно затягивалось до позднего вечера при электрическом свете, завершилось победой в субботу в три часа дня, и Джо вкусил свой миг убогого торжества, а потом его опять потянуло искать забвения в ближнем кабаке. Мартин и это воскресенье провел как первое. Спал в тени деревьев, с трудом, бесцельно проглядывал газету, не один час провалился так, ничего не делал, ни о чем не думал. Слишком его сморило, и никакие мысли не было, одно лишь недовольство собой. Он был сам себе противен, словно что-то в нем подгнило или вылезла наружу какая-то сидевшая в нем мерзость. Божественный огонь в нем угас. Честолюбие притупилось, Мартин уже не ощущал его уколов, не хватало жизненной силы. Он был мертв. Казалось, мертва душа. Он обратился в скотину, в рабочую скотину. Стал слеп к красоте солнечных лучей, просквозивших зеленую листву, и глух к лазури небосвода, которая, бывало, нашептывала ему о просторах вселенной, о тайнах, трепетно ждущих – когда же их раскроют. Жизнь казалась нестерпимо бессмысленной и скучной, от нее мутило. Зеркало внутреннего зрения скрыла черная завеса, а воображение лежало в затемненной больничной палате, куда не проникал ни единый луч света. Он завидовал Джо – там, в поселке, он буйствует и дебоширит, хмельной дурман бродит у него в голове, бушует хмельная радость и льются хмельные слезы, он неправдоподобно, восхитительно пьян и не помнит об утре понедельника, о предстоящей неделе убийственного труда.

Миновала третья неделя, и Мартин возненавидел себя, возненавидел жизнь. Угнетало ощущение, что он неудачник. Не зря редакторы отвергали его писанину. Теперь он ясно это понимал и смеялся над собой и над своими мечтами. Руфь вернула ему «Голоса моря» почтой. Письмо ее он прочел равнодушно. Она всячески постаралась убедить его, что стихи ей понравились, что они хороши. Но лгать она не умела, не умела и обманывать себя. Она считала, что стихи не удались, и по каждому вымученному, неглубокому суждению он чувствовал, что она их не одобряет. Что ж, она права. Перечитывая теперь стихи, Мартин твердо в это уверовал. Чувство красоты, ощущение чуда покинуло его, и, читая стихи, он поймал себя на недоумении: с чего ему вздумалось такое написать? Смелость языка показалась ему смехотворной, меткие выражения – уродливыми, все было нелепо, фальшиво, неправдоподобно. Будь у него силы хоть на какое-то действие, он сразу бы сжег эти свои «Голоса». Но чтобы швырнуть их в огонь, надо было еще пойти в котельную, гостиницы, стихи того не стоили. Всю энергию поглощала стирка чужого белья. Для своих дел ее не осталось.

Вот в воскресенье он непременно возьмет себя в руки и ответит Руфи. Но в субботу днем, когда он вымылся после работы, его охватило неодолимое желание забыться. «Пойду-ка я гляну, как там Джо», – сказал он себе и сразу же понял, что лжет. Но осмыслить, откуда эта ложь, не доставало сил. А и были бы они, все равно не стал бы он об этом думать, хотелось одного – забыться. Медленно, небрежной походкой двинулся он в поселок, и чем ближе к кабачку, тем быстрее, против воли, шагал.

– А я думал, ты непьющий, – такими словами встретил его Джо.

Мартин не унился до оправданий, он спросил виски, налил себе полный стакан и только

тогда передал бутылку Джо.

– Давай поживей, – сказал он резко. Джо замешкался с бутылкой, и Мартин не стал его ждать, залпом выпил и налил еще.

– Теперь могу тебя подождать, – мрачно сказал он, – а только поторапливайся.

Тот поторопился, и они выпили вместе.

– Допекла тебя работенка, а? – спросил Джо. Мартин не пожелал об этом говорить.

– Работа – сущий ад, верно, – продолжал Джо. – А только обидно мне глядеть, что ты запил, Март, ох, обидно. Ну, бывай здоров!

Мартин пил молча, отрывисто заказывал еще выпивку, и буфетчик, женоподобный малый с голубыми слезящимися глазами и волосами, зализанными на прямой пробор, уже трепетал перед ним.

– Стыд и срам, как из нас, бедолаг, все соки выжимают, – заметил Джо. Зашибаю я здорово, а то спалил бы ихнюю лавочку да и смотался. Только то их и спасает, что зашибаю, верное слово.

Но Мартин промолчал. Еще стакан, еще, и наконец он ощутил, как наползает хмельной дурман. Теперь-то он ожил – впервые за три недели он ощутил дыхание жизни. Вернулись мечты. Вырвалось из темной больничной палаты воображение, яркое, пылающее, и пошло его соблазнять. Ясней ясного стало зеркало внутреннего зрения, и снова в нем засияли, мгновенно сменяя друг друга, мимолетные образы. Чудо и красота идут с ним об руку, снова он всемогущ. Он пытался рассказать про это Джо, но у Джо были свои видения – наивернейшие планы, как сбросить ярмо прачки и гладильщика и самому стать владельцем распрекрасной паровой прачечной.

– Слышь, Март, уж у меня ребятишки работать не будут, нет, нипочем. А после шести ни одна живая душа не будет работать. Слышь, чего я говорю? Машин будет вдосталь и рабочих рук, не к чему надрываться с утра до ночи, и вот убей меня бог. Март, я тебя поставлю управляющим, будешь ты тут старшой. Я уже все обмозговала Бросаю зашибать и два года коплю деньги... накоплю, а потом...

Но Мартин отвернулся, предоставил ему делиться своими планами с буфетчиком, а после отвлек этого достойнейшего мужа, пускай подаст выпить двоим вновь пришедшим – двум фермерам, которые охотно приняли приглашение Мартина. Мартин был неслыханно щедр, угощал всех и каждого – батраков, конюха, подручного садовника и самого буфетчика и вороватого бродягу, что проскользнул сюда как тень и как тень маячил в конце стойки.

В понедельник утром, загружая первую партию белья в стиральную машину, Джо кряхтел и охал.

– Слышь, Март... – начал он.

– Отвяжись! – рявкнул Мартин.

– Прости, Джо, – сказал он в полдень, когда они сделали перерыв на обед. Джо чуть не прослезился.

– Ничего, дружище, – сказал он. – В аду крутимся, другой раз и не стерпишь. А знаешь, я вроде полюбил тебя, право слово. Потому и обидно сделалось. Я как спервоначалу на тебя глянул, ты мне по душе пришелся.

Мартин пожал ему руку.

– Давай смотаемся, – предложил Джо. – Ну ее, эту прачечную к чертям, пойдем бродяжить. Я отродясь не пробовал, а сдается мне, невелика хитрость. И ничего делать не будем. Ты только подумай – ничего не делать! Я когда хворал тифом, в больнице лежал, во где была красота. Еще бы разок захворать.

Медленно тащилась неделя. Гостиница была, переполнена, и прачечную без конца заваливали фасонным бельем. Джо и Мартин совершали чудеса доблести. Они сражались до поздней ночи, при свете электричества, еду глотали наспех, успевали даже поработать полчаса до завтрака. Мартину стало не до холодных ванн. Каждый гнал, гнал, гнал, и Джо властно подгонял мгновенья, старательно собирал их в стадо, не терял ни единого, без конца пересчитывал, точно скупец золото, крутился как одержимый, как бешеный, неистовая машина, и помогала ей вторая искусная машина, которая думала, будто была когда-то человеком, неким Мартином Иденом.

Но подумать удавалось лишь в редкие минуты. Жилище мысли было заперто, окна заколочены досками, а сам он – только призрачный сторож. Всего лишь тень. Джо прав. Оба они тени, и нескончаем тяжкий труд в преддверии ада. Или все это сон? Минутами, когда в жаркой и паркой духоте он водил по белью тяжелыми раскаленными утюгами взад и вперед, ему чудилось, все это и впрямь только сон. Совсем скоро, или, может, через тысячу лет, он проснется в своей каморке, подле стола в чернильных пятнах, и примется писать с того места, где остановился накануне. Или, может, и это был тоже сон, и он проснется, когда пора будет стать на вахту, вывалится из койки в кренящемся кубрике, поднимется на палубу, под тропические звезды, возьмется за штурвал и его обдует прохладным пассатом.

Настала суббота и все та же бесплодная победа в три пополудни.

– Чего ж, пойду выпью пивка, – сказал Джо странно бесцветным голосом, означавшим, как всегда после рабочей недели, совершенный упадок сил.

И вдруг Мартин словно проснулся. Открыл сумку с инструментами, смазал велосипед, смазал передачу, отрегулировал подшипники. Джо только еще плелся к кабаку, когда Мартин промчался, мимо, – он низко пригнулся к рулю. Мерно и сильно, всю мочь жал на педали, в лице решимость одолеть семьдесят миль, подъемы, спуски, дорожную пыль. Ночевал он в Окленде, в воскресенье проделал семьдесят миль обратного пути. А утром в понедельник, усталый, начал новую рабочую неделю. Зато остался трезв.

Миновала пятая неделя и шестая, Мартин жил и работал, как машина, в нем сохранялся лишь проблеск чего-то, лишь теплилась в душе искра и каждую субботу и воскресенье заставляла его с бешеной скоростью одолевать сто сорок миль. Но это был не отдых. Это действовала некая сверхмашина, помогая затушить искру – единственное, что еще осталось в

нем от прошлой его жизни. В конце седьмой недели, почти бессознательно, не в силах противиться, он поплелся вместе с Джо в поселок, и утопил жизнь в вине, и обрел жизнь до утра понедельника.

А потом опять в конце каждой недели одолевал на велосипеде сто сорок миль, вытеснял оцепенение от безмерно тяжелой работы новым оцепенением от усилий уж вовсе непомерных. В конце третьего месяца он в третий раз пошел с Джо в поселок. Он забылся, и снова жил, и, ожив, в миг озарения ясно увидел, что сам обращает себя в животное— не тем, что пьет, но тем, как работает. Пьянство — следствие, а не причина. Оно следует за этой работой так же неотвратно, как вслед за днем наступает ночь. Нет, обращаясь в рабочую скотину, он не покорит вершины

— вот что нашептало ему виски, и он согласно кивнул. Виски — оно мудрое. Оно умеет раскрывать секреты.

Он спросил перо, бумагу, заказал выпивку на всех и, покуда все вокруг с воодушевлением пили за его здоровье, оперся на стойку и нацарапал несколько слов.

— Это телеграмма, Джо, — сказал он— На, читай.

Джо читал с пьяной добродушной ухмылкой. Но прочитанное, похоже, отрезвило его. Он с упреком глянул на Мартина, на глазах выступили слезы, потекли по щекам.

— Неужто бросаешь меня, Март? — уныло спросил он.

Мартин кивнул, подозвал какого-то парня и велел снести листок в телеграфную контору.

— погоди! — еле ворочая языком, пробормотал Джо. — Дай сообразить.

Он ухватился за стойку, ноги подкашивались, Мартин обнял его за плечи, чтоб не свалился, покуда соображает.

— Пиши, оба уходим, стирать больше некому, — вдруг объявил Джо. — Дай-ка, я подпишу.

— А ты-то с чего уходишь? — спросил Мартин.

— С чего и ты.

— Но я пойду в море. А ты не можешь.

— Ага, — был ответ, — зато я бродяжить могу, вот что.

Мартин посмотрел на него испытующе и потом воскликнул:

— Черт подери, Джо, а ведь ты прав! Бродягой быть куда лучше, чем ломовой лошастью. Поживешь, парень! Ты ж еще никогда и не жил.

— Нет, я раз в больнице лежал, — возразил Джо. — Во была красота. Тифом хворал... я тебе не рассказывал?

Мартин переправил в телеграмме, что расчет берут двое, а не один. А Джо меж тем продолжал:

— Про выпивку в больнице и думать забыл. Чудно, правда? Ну, а работаешь весь день как вол, тут уж без выпивки нельзя. Примечал, как повара напиваются? Жуть!.. И пекари тоже. Такая у них работа. Им без выпивки никак нельзя.. Слышь, дай-ка я заплачу половину за телеграмму.

— Давай бросим жребий, — предложил Мартин.

— Подходи все, пей, — позвал Джо, вместе с Мартином кидая на мокрую стойку игральные кости.

В понедельник утром Джо был вне себя от радостного волнения. Не замечал, что разламывается голова, нисколько не думал о работе. Стада мгновений ускользали и терялись, а беспечный пастух смотрел в окно на солнце и на деревья.

— Ты только глянь! — восклицал он. — Это ж все мое! Задаром! Захочу— разлягусь вон там, под деревьями, и просплю хоть тыщу лет. Март, слышь, Март, давай кончать мороку. На кои ждать? Вон оно, раздолье, там спину гнуть не надо, у меня туда билет... и никакого тебе

обратного, черт меня подери!

Через несколько минут, наполняя тележку грязным бельем, для стиральной машины, Джо заметил сорочку управляющего гостиницы. Джо знал его метку, и вдруг его осенило: свободен! – и он возликовал, бросил сорочку на пол и принялся топтать ее.

– Тебя бы эдак, тебя, чертова немчура! – заорал он. – Тебя, тебя самого, вот так вот! На тебе, на тебе, на, вот тебе, будь ты проклят! Эй, держите меня! Держите!

Мартин со смехом оттащил его к стиральной машине. Во вторник вечером прибыли новые рабочие, и до конца недели пришлось их обучать, натаскивать. Джо сидел в прачечной и объяснял, что и как надо, а работать не работал.

– Пальцем не шевельну, – объявил он. – Пальцем не шевельну! Пускай хоть нынче увольняют, только тогда и обучать не стану, враз уйду. Хватит с меня, наработался! Буду теперь в товарных вагонах раскатывать да в тенечке дремать. А вы пошевеливайтесь, вы, рабочая скотинка! Во-во. Валяйте. Надрывайтесь! До седьмого поту! А помрем, сгнием, что вы, что я, так не все ль равно, как живешь-то?.. Ну? Вы мне скажите... не все ль равно, в конце-то концов?

В субботу они получили жалованье, и пришла пора Джо с Мартином расставаться.

– Видать, нечего и просить тебя, все одно не передумаешь, не пойдешь со мной бродяжить? – Погрустнев, спросил Джо.

Мартин покачал головой. Он стоял подле велосипеда, готовый тронуться в путь. Они пожали друг другу руки, и Джо на миг задержал руку Мартина.

– Мы еще повстречаемся, Март, – сказал он. – Вот ей-ей. Нутром чую. До свиданья, Март, бывай здоров. Полюбился ты мне черте как, право слово! Он одиноко стоял посреди дороги и глядел вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.

– Золото, а не парень, – пробормотал он. – Чистое золото.

И он поплелся по дороге к водокачке, там на запасном пути с полдюжины пустых товарных вагонов ждали, когда их прицепят к составу.

Руфь и все семейство Морзов были уже дома, и Мартин, возвратись в Окленд, часто с ней виделся. Она стала бакалавром и покончила с ученьем, а у него работа высосала все силы души и тела, и он совсем не писал. Никогда еще не было у них друг для друга столько свободного времени, и между ними быстро росла новая близость.

Поначалу Мартин только и знал что отдыхал. Много спал, долгими часами ничего не делал, думал и размышлял. Он словно приходил в себя после тяжкого испытания. И впервые понял, что возвращается к жизни, когда ощутил некоторый интерес к газете. По- том снова начал читать– немудрящие романы, стихи, – а еще через несколько дней с головой погрузился в давно заброшенного Фиска. На редкость крепкий и здоровый, он обрел новые жизненные силы, он обладал великолепным даром молодости– быстро воспрянуть телом и духом.

Он объявил Руфи, что, как только хорошенько отдохнет, вновь отправится в плавание, и она не скрыла разочарования.

– Зачем вам это? – спросила она.

– Для денег, – был ответ. – Надо запастись для следующей атаки на редакторов. Деньги – ресурсы войны, в моем случае деньги и терпение.

– Но если нужны только деньги, почему вы не остались в прачечной?

– Потому что прачечная превращала меня в животное. При такой работе поневоле запьешь. Руфь посмотрела на него с ужасом.

– Неужели вы?.. – дрожащим голосом спросила она.

Так легко было бы вывернуться, но Мартин по природе своей был правдив, да еще вспомнил давнее решение говорить правду, чем бы это ни грозило.

– Да, – ответил он, – Бывало. Несколько раз. Она вздрогнула и отодвинулась.

– Ни с одним человеком из тех, кого я знаю, этого не бывало.

– Значит они не работали в прачечной гостиницы в Горячих ключах. – Мартин горько засмеялся. – Труд – хорошая штука. Он необходим для здоровья, так говорят все проповедники, и, бог свидетель, я никогда не боялся тяжелой работы! Но, как известно, хорошенького понемножку, а тамошняя прачечная это уже чересчур. Потому я опять и ухожу в плавание. Думаю, это в последний раз – когда вернусь, непременно возьму эти журналы штурмом. Уверен.

Она молчала, явно не сочувствовала ему, и, глядя на нее, Мартин угрюмо подумал: где же ей понять, через что он прошел!

– Когда-нибудь я об этом напишу– «Вырождение под гнетом труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или еще как-нибудь в этом роде.

Никогда еще, с самой первой встречи, не были они так далеки друг от друга, как в этот день. Признание Мартина, откровенность, вызванная духом бунтарства, были отвратительны Руфи. Но само это отвращение потрясло ее много сильнее, чем вызвавшая его причина. Так, значит, вот насколько стал ей близок Мартин– однажды осознанное, открытие это прокладывало путь к еще большей близости. Притом Руфь еще и пожалела Мартина и по наивности, по совершенному незнанию жизни, задумала его перевоспитать. Она спасет этого неотесанного молодого человека, идущего по неверному пути. Спасет от проклятья, наложенного на него прежним окружением, спасет и, от него самого, ему же наперекор. Она была уверена в высоком благородстве своих побуждений и не подозревала, что источник их – тайная ревность и жажда любви.

Стояла чудесная погожая осень, и они уезжали на велосипедах за город, к холмам, и то он,

то она вслух читали стихи, прекрасные строки облагораживали душу, рождали возвышенные мысли. Так она исподволь внушала ему необходимость самоотречения, жертвенности, терпения, трудолюбия и целеустремленности – тех отвлеченных добродетелей, которые, как она полагала, воплотились в ее отце, и в мистере Батлере, и в Эндрю Карнеги, каковой из нищего мальчишки-эмигранта превратился в филантропа, известного всему миру своими щедрыми пожертвованиями на библиотеки.

Мартин дорожил этими днями, радовался им. Он яснее понимал теперь ход ее мыслей, и душа ее уже не была для него непостижимым чудом. Теперь он мог рассуждать с нею обо всем как равный, и расхождения во взглядах никак не умаляли его любовь. Напротив, он любил еще горячее, потому что любил ее такой, какая была она на самом деле, и даже хрупкость прибавляла ей прелести в его глазах. Он знал историю болезненной Элизабет Баррет, которая многие годы не вставала с постели до того самого дня, когда загорелась страстью к Браунингу и сбежала с ним, выпрямилась, ощутила землю под ногами и увидела небо над головой (то, что сделал Браунинг для Элизабет Баррет, он, Мартин, сделает для Руфи. Но прежде она должна его полюбить. Остальное просто. Он даст ей силу и здоровье. Перед ним мелькали картины их жизни в будущем: работа, уют, благополучие во всем, и вот они вдвоем читают стихи и говорят о них, она полулежит на полу, на разбросанных подушках и читает ему вслух. Вот что будет определять их жизнь. И всегда ему рисовалась та же картина. Или вслух читает он, обняв ее одной рукой, а она положила голову ему на плечо. Или они вместе раздумывают над страницами, полными красоты. К тому же Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина переносило их чтения в иные места. И вот они читают в долине отгороженной от всего мира крутыми обрывистыми скалами, или на лугу, высоко в горах, или же среди серых песчаных дюн, и у ног пенятся волны, или далеко-далеко в тропиках на каком-нибудь острове – детище вулкана, где низвергаются водопады и взлетает облако мельчайших брызг и эта влажная завеса колышется и трепещет при каждом дуновенье прихотливого ветерка и уносится к океану. Но на переднем плане всегда они вдвоем, он и Руфь, властелины красоты, они неизменно читают и делятся мыслями, всегда на фоне природы, а еще дальше в глубине всегда смутно, в дымке, видятся работа, успех, заработанные им деньги, которые дают независимость от мира. и от всех его сокровищ.

– Я бы посоветовала моей дочурке поостеречься, – сказала однажды Руфи миссис Морз.

– Я знаю, о чем ты. Но это невозможно. Он не... Руфь покраснела, но виной тому было девичье смущение – ведь ей впервые пришлось обсуждать то, что в жизни свято, и обсуждать с матерью, которую она тоже свято чтит.

– Не твоего круга, – dokonчила за нее мать. Руфь кивнула.

– Мне не хотелось так говорить, но это верно. Он неотесанный, грубый, сильный... чересчур сильный... Его жизнь не была...

Она замялась, не могла договорить. Так ново было говорить на подобные темы с матерью. И опять мать dokonчила ее мысль.

– Его жизнь была не безупречна, вот что ты хотела сказать.

Опять Руфь кивнула и опять залилась краской.

– Да, об этом, – сказала она. – Хотя и не по своей вине, но он слишком часто соприкасался с...

– С грязью?

– Да, с грязью. И он меня пугает. Иной раз я в ужас прихожу, с такой легкостью он рассказывает о своих прежних безрассудствах, будто это совершенные пустяки. А это ведь далеко не пустяк, правда?

Они сидели обнявшись, и, когда Руфь замолчала, миссис Морз погладила руку дочери,

ждала, что она еще скажет.

– Но он мне ужасно интересен, – продолжала Руфь. – В каком-то смысле он мой подопечный. И потом, он мой первый друг-мужчина... ну, не совсем друг, вернее, сразу и друг и подопечный. А подчас, когда он меня пугает, мне кажется, я завела бульдога, просто для развлечения, как иные заводят подружек, но бульдог не игрушка, он тянет вовсю, показывает зубы, и страшно, вдруг сорвется с поводка.

И опять мать ждала.

– Я думаю, он меня и занимает, почти как бульдог. И в нем много хорошего... хотя много и такого, что мне не понравилось бы, ну, при других отношениях. Вот видишь, я обо всем этом подумала. Он бранится, курит, пьет, он дрался, он сам мне говорил, и ему это нравится... так и сказал. Он совсем не такой, каким должен быть мужчина... каким я хотела бы видеть (тут голос ее стал еле слышен)... мужа. И потом, он чересчур сильный. Мой избранник должен быть высокий, стройный, темноволосый... изящный, пленительный принц. Нет, мне не грозит опасность влюбиться в Мартина Идена. Худшей участи я и представить не могу.

– Но я не это имела в виду, – уклончиво возразила мать. – А о нем ты подумала? Видишь ли, он такой во всех отношениях неподходящий, и вдруг он тебя полюбит?

– Но он... он уже полюбил! – воскликнула Руфь.

– Этого следовало ожидать, – мягко сказала миссис Морз. – Всякий, кто тебя узнает, непременно полюбит. Как может быть иначе?

– А Олни меня терпеть не может! – горячо воскликнула Руфь. – И я его тоже. При нем меня так и тянет язвить. Просто не могу его не поддеть, а если почему-то не поддену, так все равно он меня подденет. А с Мартином Иденом мне хорошо. Еще никто меня никогда так не любил... то есть, ни один мужчина... такой любовью. А это чудесно – быть любимой... такой любовью. Сама понимаешь, мамочка, о чем я. Так приятно чувствовать себя женщиной. – Всклипнув, Руфь уткнулась лицом в колени матери. – Наверное, по-твоему, я очень гадкая, но я честно тебе рассказываю, что чувствую.

Миссис Морз слушала со странной печалью и с радостью. Ее дочурка, девочка, ставшая бакалавром изящных искусств, исчезла, уступила место дочери-женщине. Опыт удался. Станный пробел в натуре Руфи заполнился, заполнился безболезненно. Неотесанный матрос сыграл свою роль, и, хотя Руфь не полюбила его, он заставил ее почувствовать себя женщиной.

– У него дрожат руки, – призналась Руфь, от смущения все не смея поднять голову. – Это так забавно, так смешно, но мне и жаль его. А когда руки у него уж очень дрожат, а глаза уж очень сияют, ну, тогда я отчитываю его за то, что он живет не так, как надо, а, стараясь исправиться, идет неверным путем, Но он, меня боготворит, я знаю. Его глаза и руки не лгут. И при мысли об этом, при одной только мысли об этом я чувствую себя совсем взрослой и еще чувствую, есть у меня что-то, что принадлежит только мне... как у всех девушек... и... и молодых женщин. А еще я знаю, прежде я была не такая, как все, я понимала, что тебя это тревожит. Ты думала что не даешь мне заметить свою тайную тревогу, а я заметила и очень хотела... «преуспеть», как говорит Мартин Иден.

То был заветный час для матери и дочери, они сумерничали и разговаривали со слезами на глазах, и Руфь была сама невинность и откровенность, мать же, исполненная сочувствия и понимания, спокойно наставляла ее и направляла.

– Он на четыре года моложе тебя, – сказала она. – И никак не обеспечен. Ни положения, ни жалованья. Он непрактичен. Если он тебя любит, ему во имя здравого смысла следовало найти место, что дало бы ему право жениться, а он занимается пустяками – пишет рассказы и тешит себя мечтами, как дитя малое. Боюсь, Мартин Иден никогда не повзрослеет. Ему не хватает сознания ответственности. Он не способен взяться за дело, достойное мужчины, как твой отец и

все наши знакомые... хотя бы как мистер Батлер. Боюсь, Мартин Иден никогда не научится зарабатывать деньги. А для счастья деньги необходимы, так устроен наш мир... не миллионные состояния нужны, нет, но достаточные средства, чтобы жить прилично и с комфортом. Он... он никогда не заговаривал о своих чувствах?

– Ни слогом не обмолвился. Даже не пытался. А если бы попытался, я бы его остановила, понимаешь, мамочка, я ведь его не люблю.

– Очень рада. Не хотелось бы мне, чтобы моя дочь, моя единственная дочь, воплощение чистоты и добродетели, полюбила такого человека. На свете есть подлинно достойные мужчины – чистые, преданные мужественные. Надо только подождать. В один прекрасный день тебе встретится такой человек, ты его полюбишь, и он полюбит тебя, и ты будешь счастлива с ним, как были всегда счастливы друг с другом я и твой отец. И есть одно, о чем всегда следует помнить...

– Да, мамочка?

Негромко, с нежностью в голосе миссис Морз сказала:

– Это дети.

– Я... я об этом думала, – призналась Руфь, вспоминая, как, случалось, досаждали ей эти нескромные мысли, и опять залилась краской девичьего смущения оттого, что приходится говорить об этом вслух.

– Именно из-за детей мистер Иден тебе совершенно не подходит, – решительно продолжала миссис Морз. – Они не должны унаследовать ничего нечистого, а ему, боюсь, как раз чистоты недостает. Твой отец рассказывал мне, как живут матросы, и... и ты сама понимаешь.

Руфь в знак согласия сжала руку матери; Ей казалось, будто она и вправду поняла, хотя представлялось ей что-то смутное, непостижимое, что-то ужасное, недоступное воображению.

– Ты ведь знаешь, я всегда обо всем тебе говорю, – начала она. – Только иногда ты меня спрашивай, вот как в этот раз. Мне хотелось с тобой поделиться, но я не знала, как это сказать. Я знаю, это излишняя стыдливость, но ты мне помоги. Иногда спрашивай меня, вот как в этот раз... помогай мне с тобой делиться. Мамочка, ведь ты тоже женщина! – восторженно воскликнула она, когда они встали, и, осознав странно сладостное равенство с матерью, сжала ее руки, выпрямилась, в сумерках посмотрела ей в лицо. – Если бы не наш разговор, мне и в голову бы это не пришло. Пока я не сознавала, что я женщина, я и о тебе так не думала.

– Мы обе женщины, – сказала мать, притянула Руфь к себе и поцеловала. – Мы обе женщины, – повторила она, когда они, обняв друг друга за талию, выходили из комнаты, радостно взволнованные, что они теперь по-новому сроднились.

– Наша дочурка стала женщиной, – часом позже с гордостью сказала мужу миссис Морз.

Он долгим внимательным взглядом посмотрел на жену.

– Другими словами, – сказал он, – другими словами, она влюбилась.

– Нет, но она любима, – с улыбкой возразила жена. – Опыт удался. Наконец-то она пробудилась.

– Тогда надо от него отделаться, – быстро, сухо, деловито заявил Морз.

Но супруга покачала головой

– В этом нет необходимости. Руфь сказала, что он через несколько дней уходит в плавание. А когда вернется, ее здесь не будет. Мы отошлем ее к тетушке Кларе. И притом год на Востоке – в другой обстановке, среди других людей, других представлений – именно это ей и нужно.

Мартина опять одолело желание писать. Рассказы и стихи сими собой возникали в голове, и он делал заметки на будущее, когда выложит все это на бумагу. Но не писал. Устроил себе короткие каникулы, решил посвятить их любви и отдыху, и в том и в другом преуспевал. Скоро жизнь уже опять бурлила в нем, и каждый раз при встрече с ним Руфь в первую минуту по-прежнему ошеломляли его сила и могучее здоровье.

– Будь осторожна, – снова предупредила ее мать. – Боюсь, ты слишком часто видишься с Марином Иденом.

Но Руфь смеялась– ей ничто не грозит. Она уверена в себе, и ведь через считанные дни он уходит в плавание. А потом, когда возвратится, она будет уже гостить на другом краю континента. Однако его сила и могучее здоровье завораживали ее. Ему тоже сказали о ее предполагаемом отъезде, и он чувствовал, что надо спешить. Но он понятия не имел, как ухаживать за такой девушкой. Да еще мешал богатый опыт обращения с девушками и женщинами нимало на нее не похожими. Они знали, что такое любовь, и жизнь, и флирт, Руфь же ровно ничего об этом не знала. Ее поразительное целомудрие страшило его, замораживало готовые сорваться с языка пылкие слова. Помимо его воли убеждало, что он ее недостоин. Мешало и другое. Он никогда еще не любил. В его насыщенном событиями прошлом женщины нравились ему, иные увлекали, а вот настоящей любви он не знал. Стоило небрежно, по-хозяйски свистнуть, и женщина уже тут как тут. То были просто развлечения, эпизоды, часть игры, в которую играют мужчины, но почти всегда далеко не самая важная для них часть. А теперь он впервые оказался в роли просителя– нежного, робкого, неуверенного. Он не знал, как себя вести, не знал языка любви, а кристальная чистота любимой пугала его.

Сталкиваясь с жизнью, в самых разных ее обликах, кружась в изменчивом ее водовороте, Мартин усвоил одно правило: когда играешь в незнакомую игру, первый ход предоставь другому. Правило это выручало его тысячи раз, да в придачу отточило его наблюдательность. Он умел приглядываться к тому, что незнакомо, и дожидаться, когда обнаружится, в чем тут слабость, где уязвимое место. Все равно как в кулачном бою пробными ударами пытаться обнаружить слабину противника. И обнаружив ее, – этому его научил долгий опыт – использовать ее, использовать всю.

Так и теперь– он ждал, приглядывался к Руфи, ему отчаянно хотелось заговорить о своей любви, но он не смел. Боялся ее испугать и не был уверен в себе. И даже не догадывался, что ведет себя именно так, как надо. Любовь появилась на свете еще прежде членораздельной речи, с первых же шагов научилась выражать себя самыми верными способами и уже никогда не забывала их. Как повелось исстари, без затей, Мартин и ухаживал за Руфью. Поначалу он даже не подозревал, об этом. Но потом догадался. Прикосновение руки к ее руке было куда красноречивее любых слов, а его сила потрясала воображение Руфи и влекла неотразимей всех напечатанных в книгах стихов и высказанной сливами страсти бесчисленных поколений влюбленных. На все, что он мог бы выговорить, она отозвалась бы наполовину, а вот касание руки, самое мимолетное соприкосновение взывало прямо к инстинкту. Ее рассудок был молод, как она сама, а женские инстинкты стары, как род человеческий" и еще того старше. Молоды они были в той далекой древности, когда молода была любовь, и оттого они мудрее условностей, убеждений и всего прочего, что появилось позднее. Итак, рассудок ее оказался ни при чем. Здесь он не требовался, и Руфь не отдавала себе отчета, с какой силой Мартин порою взывал к той стороне ее натуры, которая требовала любви. И при этом было ясно как день, что он ее любит, и она радовалась доказательствам его любви– сиянию глаз, излучающих нежность,

дрожи рук, неизменно жарко вспыхивающему под загаром румянцу. Она пошла даже дальше, – робко поощряла его, но так деликатно, что он и не подозревал об этом, да Руфь и сама едва ли подозревала, ведь это получалось само собой. Она трепетала при виде этих доказательств своего женского могущества и, как истинная дочь Евы, с наслаждением, играючи, его мучила.

А Мартин, от недостатка опыта и от избытка страсти потеряв дар речи, ухаживал за ней бесхитростно и неуклюже, пользуясь все тем же языком прикосновений. Ей нравилось, когда он касался ее руки, больше чем нравилось, как-то сладко волновало. Этого Мартин не понимал, но ясно понимал, что он Руфи не противен. Не сказать, чтобы руки их встречались часто, разве лишь когда они здоровались и прощались; но когда готовили в дорогу велосипеды и перевязывали ремнями книги стихов, собираясь за город, или сидя рядом перелистывали страницы, рука одного нет-нет да и касалась ненароком руки другого. И когда, склонясь над книжкой, они упивались прекрасными страницами, волосы ее нет-нет да и касались его щеки, а плечо– плеча. Она улыбалась про себя, едва ни с того ни с сего ей вдруг захочется взъерошить ему волосы; ему же, когда они уставали от чтения, отчаянно хотелось положить голову ей на колени и с закрытыми глазами помечтать о будущем, о поре, когда они будут вместе. В прошлом, на воскресных пикниках в Шелмонд-парке или в Шетзен-парке, он, бывало, клал голову к девушке на колени и, вовсе о ней не думая, безмятежно засыпал крепким сном, а девушка заслоняла его лицо от солнца, и смотрела на него влюбленными глазами, и дивилась, с какой царственной небрежностью он принимает ее любовь. Прежде ему ничего не стоило положить голову на девичьи колени, а вот когда рядом Руфь, об этом и помыслить невозможно. Однако именно в этой сдержанности и таилась сила его обаяния. Именно благодаря своей сдержанности он и не отпугивал Руфь. Она же, утонченная и робкая, вовсе не догадывалась, какой опасный оборот принимают их отношения. Едва заметно и не сознавая этого, она тянулась к Мартину, день ото дня он становился ей ближе, и он жаждал сделать следующий шаг, но не смел.

Но однажды он посмел – застав ее как-то среди дня в затененной гостиной, с мучительной головной болью.

– Ничто не помогает, – ответила она на его расспросы. – И я никогда не принимаю порошки от головной боли, доктор Холл мне запретил.

– Пожалуй, я могу вас вылечить безо всяких лекарств, – сказал Мартин. – Я, конечно, не уверен, но можно попробовать. Это всего лишь массаж. Я выучился этому фокусу у японца. Все они великие мастера массажа. Потом учился еще раз, немного по-другому, на Гавайях. Они называют свой массаж «ломи-ломи». Он помогает почти во всех случаях, когда помогают лекарства, и еще во многих, когда лекарства не помогают.

Едва ощутив на лбу и висках руки Мартина, Руфь глубоко вздохнула.

– Как хорошо, – сказала она. Спустя полчаса она опять заговорила, спросила только:

– Вы не устали?

Спросила просто из вежливости – наперед знала, каков будет ответ, И погрузилась в дремотное раздумье о том, как успокоительна, как целебна его сила. Из кончиков его пальцев струилась жизнь и, казалось, изгоняла боль– наконец боль утихла,. Руфь уснула, и Мартин тихонько выскользнул из комнаты.

В этот вечер она позвонила ему по телефону и поблагодарила.

– Я проспала до самого ужина, – сказала Руфь. – Вы совершенно исцелили меня, мистер Иден, просто не знаю, как вас благодарить.

Он отвечал пылко, сбивчиво, ошалев от счастья, и, пока шел этот телефонный разговор, в мыслях все время трепетало воспоминание о Браунинге и хрупкой Элизабет Баррет. Что было

сделано однажды, можно сделать еще раз, и он, Мартин Иден, способен это сделать и сделает – для Руфи Морз. Он вернулся к себе в комнату, к «Социологии» Спенсера, что лежала раскрытая на кровати. Но читать не мог. Любовь терзала его, подчинила волю, и, наперекор прежнему решению, он оказался за столиком в чернильных пятнах. В тот вечер Мартин сочинил сонет, и он стал первым в любовном цикле из пятидесяти сонетов, который закончен был за два месяца. Он писал и думал при этом о «Любовных сонетах с португальского», писал в состоянии наилучшем для истинного творчества, на огромном подъеме, в муках, в сладостном безумии любви.

Многие часы, когда он оставался один, без Руфи, Мартин посвящал «Стихам о любви» и чтению дома или в публичных библиотеках, лучше ознакомился там с последними журналами, с их направлением и содержанием. Часы, которые он проводил подле Руфи, будили то надежду, то сомнения и одинаково сводили с ума. Спустя неделю после того как Мартин сиял у Руфи головную боль, Норман затеял прогулку при луне по озеру Мерритт, Артур и Олни его поддерживали, Мартин единственный умел управляться с лодкой, и пришлось ему взяться за это. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей расположились посредине и яростно, многословно заспорили о делах студенческих.

Луна еще не взошла, Руфь смотрела на усыпанный звездами небосвод, с Мартином она не обменялась ни словом, и вдруг ей стало очень одиноко. Она взглянула на Мартина. Порыв ветра так накренил лодку, что на палубу плеснула вода, а Мартин, одной рукой держа румпель, другой управляя грот-штоком, чуть изменил курс и в то же время зорко всматривался вперед, стараясь увидеть северный берег. Он не замечал взгляда Руфи, и она внимательно приглядывалась к нему, пытаясь понять и представить, что за душевный вывих заставляет его, на редкость способного молодого человека, растрачивать время впустую – писать стихи и рассказы, посредственные и обреченные на неуспех.

При слабом свете звезд блуждающий взгляд Руфи различал гордую посадку головы на могучей шее, и, как прежде, захотелось обхватить эту шею руками. Сила, прежде ненавистная, теперь притягивала. Ощущение одиночества стало острее, накатила усталость. Утомительно было сидеть в кренящейся лодке, вспомнилось, как Мартин излечил ее, когда у нее разболелась голова и какой на нее снизошел божественный покой. Сейчас он рядом, совсем рядом, и лодка будто клонит ее к нему. И вдруг захотелось прислониться к Мартину, опереться, довериться, его силе; едва зародившееся желание это, не успела Руфь его осознать, завладело ею и заставило прислониться к Мартину. Или это накренилась лодка? Бог весть. Руфь не знала этого, не поняла. Знала только, что прислонилась к Мартину, и так хорошо ей стало, так умиротворенно и покойно. Может, во всем виновата лодка – качнула ее к Мартину. Но Руфь не пыталась выпрямиться. Она прислонялась к его плечу, – слегка, но все-таки прислонялась, и не отодвинулась, когда он чуть изменил позу, чтобы ей было удобней.

Это было безумство, но Руфь не желала себе признаться в безумстве. Она уже не та, что прежде, теперь она – женщина, и по-женски жаждет к кому-то прильнуть, и, лишь едва-едва прислонись к плечу Мартина, жажду эту словно бы утолила. И уже не чувствовала усталости. А Мартин молчал. Заговори он, чары рассеялись бы. Но своей сдержанностью в любви он их длил. Он был ошеломлен, голова кружилась. Он не понимал, что происходит. Это же чудо– уж не бредит ли он? Он подавил безумное желание выпустить парус и румпель и сжать Руфь в объятиях. Чутье подсказало: нет, это не годится, и он порадовался, что руки заняты, благо есть парус и румпель, и отогнал искушение. Но он уже не так осторожно приводил судно к ветру, бессовестно выплескивал ветер из паруса, лишь бы продлить путь к северному берегу. На подходе к берегу придется маневрировать, и отрадная близость нарушится. Искусно управляя парусом, он замедлил ход лодки, но так, что спорщики ничего не заметили, и мысленно простил

все самые трудные в его жизни плавания, ведь они подарили ему такую дивную ночь, научив властвовать над морем, и лодкой, и ветром, и вот Руфь сидит подле него, и на плече он ощущает милую ему тяжесть.

Всходила луна, и, едва ее свет коснулся паруса и жемчужным сияньем озарил лодку, Руфь отстранилась от Мартина. И в тот же миг почувствовала, что и он отстраняется. Бессознательно оба постарались, чтобы те трое ничего не заметили. Без слов оба ощутили всю сокровенность случившегося. И Руфь сидела поодаль от него, щеки ее горели, теперь-то она осознала, что произошло. Она виновата в чем-то таком, что хотела бы скрыть и от братьев, и от Одни. Отчего же она так поступила? Никогда еще она не делала ничего подобного, а ведь и прежде не раз лунными ночами каталась на лодке с молодыми людьми. Никогда ей ничего такого не хотелось. Ее охватил стыд, ошеломила загадочность пробуждающегося в ней женского начала. Украдкой она глянула на Мартина— он был сейчас занят лодкой, менял курс— и готова была возненавидеть его, ведь это из-за него, она повела себя так постыдно, так нескромно. Подумать только, из-за него! Наверно, мама была права, они слишком часто видятся. Никогда больше такого не случится, решила она, и видаться они впредь будут реже. Несуразная мысль пришла ей в голову— при первой же встрече наедине объяснить, солгать, упомянуть мимоходом, будто перед тем, как взошла луна, ей чуть не стало дурно. И сразу вспомнилось, как они отстранились друг от друга, едва появилась разоблачительница-луна, и Руфь поняла, он догадается, что она лжет.

А потом дни понеслись стремглав, и Руфь уже не узнавала себя в странной непонятной незнакомке, которая вытеснила ее прежнюю, — это новое, донельзя своенравное существо не желало разбираться в своих мыслях и чувствах, отказывалось заглянуть в будущее, подумать о себе и о том, куда же ее несет течением. Захватывающая тайна лихорадила ее, то пугала, то чаровала, и неизменно приводила в недоумение. Лишь одно она знала твердо, и это обеспечивало ей безопасность. Она не позволит, чтобы Мартин заговорил о своей любви. Лишь бы, не допустить признания, и все обойдется. Через считанные дни он уйдет в море. И даже если он заговорит, все обойдется. Как может быть иначе, ведь она не любит его. Разумеется, для него это будут мучительные полчаса, и полчаса неловкости для нее — ведь впервые ей сделают предложение. При этой мысли она трепетала от радости. Она настоящая женщина— есть мужчина, который вот-вот попросит ее руки. То был немалый соблазн для ее женской сути. Самая основа ее жизни, всего того, что делало Руфь Руфью, дрожала, как струна. Мысль эта билась в мозгу, словно притянутый пламенем мотылек. Дошло до того, что Руфь уже представляла, как Мартин делает ей предложение, сама подыскивала для него слова и тут же репетировала свой отказ, смягчала его добротой и призывала Мартина перенести это как подобает истинному благородному мужчине. И ему необходимо отказаться от курения. Непременно надо его убедить. Но нет, нельзя допускать, чтобы он заговорил. Его можно остановить, и это она обещала маме. Ее обдало жаром, щеки горели, с сожалением рассталась она с картиной, которую так живо вообразила. Первое предложение подождет более подходящего времени более приемлемого поклонника.

Наступил дивный осенний день, он дышал теплом и истомой, полон был чуткой тишины уходящего лета, день калифорнийского бабьего лета, когда солнце подернуто дымкой и от легких дуновений блуждающего ветерка даже не всколыхнется дремотный воздух. Легчайшая лиловая мгла, не туман, но марево, сотканное из цветных паутинок, пряталось в укромных уголках меж холмами. И на холмах клубом дыма лежал Сан-Франциско. Разделяющий их залив матово отсвечивал, словно расплавленный металл, на нем замерли или неспешно дрейфовали с ленивым приливом парусники. Далекая Тамальпайс, едва видимая за серебристой дымкой, громадой вздымалась у Золотых ворот, под склоняющимся к западу солнцем пролив казался дорогой из тусклого золота. А дальше, смутный, необъятный, раскинулся Тихий океан, и над ним, у горизонта, беспорядочно громоздились облака и двигались к суше предвестьем неистового дыхания зимы.

Лето доживало последние дни. Но оно медлило, выцветало и меркло на холмах, все щедрее разливало багрянец по долинам, ткало себе дымчатый саван из угасающего могущества и насытившегося буйства и умирало в спокойном довольстве оттого, что прожило жизнь и жизнь эта была хороша. Среди холмов, на любимом своем пригорке Мартин и Руфь сидели рядом, склонясь над книгой, и он читал вслух любовные сонеты женщины, которая любила Браунинга, как любили мало кого из мужчин.

Но не читалось им сегодня. Слишком сильно было очарование этой бренной красоты. Золотая летняя пора умирала как жила, прекрасная, нераскаянная, сладострастная, а воздух был густо настоян на памятных восторгах и довольстве. И настой этот опьянял их обоих мечтами, истомой, размывал решимость и волю, и за смутной дымкой, за багряными туманами уже не различить было строгие лики нравственных устоев и здравого смысла. Размягченного, растроганного Мартина опять и опять обдавало жаром. Головы их были совсем рядом, и, стоило блуждающему ветерку шевельнуть ее волосы и они касались лица Мартина. страницы плыли у него перед глазами.

– По-моему, вы читаете и ни одно слово до вас не доходит, – сказала Руфь в какую-то минуту, когда он сбился и перепутал строчки.

Мартин посмотрел на нее горящим взглядом, смутился было и вдруг выпалил:

– По-моему, и до вас тоже не доходит. О чем был последний сонет?

– Не знаю, – честно, со смехом призналась она. – Уже забыла. Давайте не будем больше читать. День так хорош.

– Не скоро мы опять приедем сюда, – печально произнес Мартин. – Там, на горизонте, собирается шторм.

Книга выскользнула у него из рук на землю, и они забылись, и молча, дремотно смотрели на дремлющий залив, смотрели – и не видели. Руфь искоса глянула на шею Мартина. И не склонилась к нему, нет. Ее повлекла какая-то сила ей неподвластная, сильнее земного тяготения, неодолимая, как судьба. Лишь какой-нибудь дюйм разделял их – и вот уже не разделяет. Плечо ее коснулось его плеча легко, точно мотылек цветка, и так же легко он ответил на ее прикосновение. Она почувствовала, как плечо его подалось к ней и весь он затрепетал. Сейчас бы ей отодвинуться. Но ничто уже не зависело от нее. Она не владела своей волей – в сладостном безумии, что охватило ее, о воле, о самообладании уже не думалось.

Рука Мартина несмело потянулась, коснулась ее талии. В мучительном восторге она ждала, прислушивалась к этому медленному движению. Ждала, сама не зная чего – она тяжело дышала, губы горели, пересохли, сердце неистово колотилось, ее пронизывало лихорадочное

предвкушение. Рука Мартина поднялась выше, он притянул Руфь к себе, притянул медленно, нежно. Она уже не в силах была ждать. Устало вздохнула и вдруг неожиданно для себя порывисто прижалась головой к груди Мартина. Он тотчас наклонил голову, и Руфь потянулась губами к его губам.

Должно быть, это любовь, подумала она в единственный миг, когда еще способна была подумать. Какой стыд, если это не любовь. Да нет, конечно же, любовь. И она еще крепче прижалась к нему, прильнула всем телом. И почти сразу чуть высвободилась из его объятий, порывисто, ликуя, обвила руками загорелую шею. Острая сладкая боль пронзила ее, боль любви, утоленного желания; глухо застонав, она разжала руки, и почти в обмороке сникла в объятиях Мартина.

До сих пор ни слова не было сказано, и еще долго они не говорили ни слова. Дважды Мартин наклонялся и целовал ее, и оба раза она робко отвечала поцелуем и счастливо прижималась к нему всем телом. Она льнула к нему, не в силах оторваться, а он бережно, легко поддерживал ее и невидящими глазами смотрел на смутные очертания огромного города по ту сторону залива. В кои-то веки никакие образы не теснились у него в мозгу. Только пульсировали краски и огни, и отблески, жаркие, как этот день, жаркие, как его любовь. Он наклонился к Руфи. Она нарушила молчание.

– Когда вы полюбили меня? – прошептала она.

– С самого начала, с первой минуты, как только вас увидел. Влюбился до безумия, и чем дальше, тем отчаянней любил. А сейчас люблю безумно, как никогда, Руфь, милая. Я просто помешался, голова кругом идет от радости.

У нее вырвался долгий вздох.

– Как хорошо, что я женщина, Мартин... милый, – вымолвила она.

Мартин сжимал ее в объятиях опять и опять, потом спросил:

– А вы? Когда вы поняли?

– О, я понимала все время, почти с самого начала.

– Эх я, слепой крот! – воскликнул Мартин с ноткой досады в голосе. – У меня этого и в мыслях не было, пока я вот сейчас... пока я не поцеловал тебя.

– Я не о том. – Руфь чуть отодвинулась, посмотрела на него. – Я хотела сказать, я почти с самого начала знала, что ты любишь меня.

– А ты? – требовательно спросил Мартин.

– Ко мне это пришло так внезапно. – Руфь говорила очень медленно, глаза излучали тепло, трепетное волнение и нежность, легкий румянец проступил и остался на щеках. – Я и не думала об этом до той минуты, когда... когда ты обнял меня. И до той минуты вовсе не думала, что могу выйти за тебя замуж, Мартин. Как ты сумел меня околдовать?

– Сам не знаю, – засмеялся Мартин, – вот если только любовью, я ведь так люблю, можно бы и каменное сердце растопить, не то что живое женское сердце, а у тебя сердце живой женщины.

– Я думала, любовь совсем не такая, – как-то неожиданно заявила Руфь.

– А какая?

– Я думала, все будет иначе. – Руфь заглянула ему в глаза, потом продолжала, потупясь: – Понимаешь, я совсем ничего не знала о любви.

Мартин хотел было опять притянуть ее к себе, но побоялся, не слишком ли он жадничает, и лишь чуть напряглась рука. Но тут же он почувствовал, как Руфь подалась навстречу, и вот она уже опять в его объятиях и опять слились их губы.

– Что скажут мои родные? – вдруг в тревоге спросила Руфь в одну из тех минут, когда Мартин отпускал ее.

– Не знаю. Стоит захотеть, и мы в любую минуту это узнаем.

– А если мама против? Я просто боюсь ей говорить.

– Давай я скажу, – храбро вызвался Мартин. – По-моему, твоей матери я не по вкусу, но я уж сумею завоевать ее симпатию. Тот, кто сумел завоевать тебя, завоеует кого угодно. А если нам это не удастся...

– Да?

– Что ж, у тебя буду я, а у меня – ты. Но я думаю, миссис Морз согласится на наш брак, отказ нам не грозит. Она слишком тебя любит.

– Я не хотела бы разбить ей сердце, – задумчиво сказала Руфь.

Он готов был заверить ее, что материнское сердце разбить не так-то легко, но сказал другое:

– А любовь превыше всего.

– Знаешь, Мартин, иногда ты меня пугаешь. Вот и сейчас я думаю, какой ты теперь, какой был прежде, и мне страшно. Ты должен быть со мной очень, очень добрым. В конце концов, не забудь, я еще девчонка. Я никогда еще не любила.

– Я тоже. Оба мы – дети. И нам выпало редкое счастье, мы оба полюбили впервые – и не кого-нибудь, а друг друга.

– Но этого не может быть! – горячо воскликнула Руфь и порывисто высвободилась из объятий Мартина. – С тобой этого не может быть. Ты был матросом, а говорят, матросы... матросы...

Она осеклась, не договорила.

– Непременно заводят в каждом порту по жене? – подсказал Мартин. – Ты это хотела сказать?

– Да, – еле слышно ответила Руфь.

– Так ведь это не любовь, – убежденно сказал Мартин. – Я бывал во многих портах, а пока в первый раз не увидел тебя, понятия не имел о любви. Ты знаешь, когда я в тот вечер простился и ушел, меня чуть не арестовали.

– Арестовали?

– Да. Полицейский принял меня за пьяного. А я и вправду был пьян... от любви к тебе.

– Но ты сказал, что мы с тобой дети, а я сказала, с тобой этого не может быть, а потом мы отвлеклись.

– Я сказал, что до тебя никогда никого не любил, – ответил Мартин, – Ты моя первая любовь, самая первая.

– Но ведь ты был матросом, – возразила Руфь.

– А это вовсе не мешает мне полюбить тебя первую.

– Но у тебя были женщины... другие женщины...

И к величайшему изумлению Мартина Идена, она разразилась слезами, и потребовалось немало поцелуев и ласки, чтобы утихла эта буря. И все время в памяти Мартина вертелось киплингское «И знатная леди, и Джуди О'Грэди по сути схожи они».

Так оно и есть, решил он теперь, хотя романы, которые он прочел, и уверили его было в другом. По романам он представлял себе, что в хорошем обществе девушка удостоивает мужчину вниманием только после того, как он, по всем правилам, попросит ее руки. В его-то прежнем окружении никого особенно не смущало, если юноши и девушки добивались близости, покоряли друг друга поцелуями и ласками, но чтобы так же себя вели особы в хорошем обществе, этого он вообразить не мог. И однако романы ошибались. Вот оно, доказательство. Те же прикосновения и ласки, без слов, что действуют на девушек из рабочего класса, действуют и на девушек из верхов. Все они из плоти и крови, все по сути схожи; вспомнись ему

прочитанный Спенсер, он бы и раньше сообразил. Он держал Руфь в объятиях, успокаивал ее, а сам радовался, что и знатная леди, и Джуди О'Грэди, в сущности, так схожи. Эта простая истина приближала к нему Руфь, делала ее досягаемой. Ее милое тело из той же плоти, что и у всех, и у него самого. Нет преграды их браку. Лишь принадлежность к разным классам разделяет их, а это различие чисто внешнее. Его можно и преодолеть. Мартин как-то читал о рабе, который возвысился и стал императором Рима. А раз так, может и он возвыситься до Руфи. При всей ее чистоте и святости, образованности и неземной красоте души, она по самой природе своей просто женщина, такая же, как Лиззи Конноли и все прочие лиззи конноли. Все, чего можно ждать от них, можно ждать и от нее. Она способна любить и ненавидеть, пожалуй, даже закатить истерику; и, конечно же, способна ревновать, как ревнует сейчас, все тише всхлипывая напоследок в его объятиях.

– И потом, я старше тебя, – вдруг сказала она, открыв глаза и глядя на него снизу вверх, – на три года.

– Ну нет, ты еще ребенок, по пережитому опыту я старше тебя на сорок лет, – возразил он.

А на самом деле, если говорить о любви, оба они были дети, и как дети наивно и неумело проявляли свою любовь, и это несмотря на ее университетский диплом и звание бакалавра и несмотря на его знакомство с философией и суровый жизненный опыт.

– Лучезарный день угасал понемногу, а они сидели и разговаривали, как свойственно влюбленным, дивясь чуду любви и капризу судьбы, что их свела, твердо убежденные, что любят так, как до них никто никогда не любил. Упорно, опять и опять возвращались они к своим первым впечатлениям друг о друге и тщетно пытались разобраться, что же они чувствуют друг к другу и насколько глубоко это чувство.

Вечернее солнце опускалось в громоздящиеся на западе облака, и небо на горизонте порозовело, и даже в зените сияло тем же теплым светом. Все вокруг затопил, окутал розовый свет, и Руфь запела «Прощай, чудесный день». Пела тихонько, прильнув к его плечу, рука в его руке, сердца отданы друг другу.

Когда Руфь вернулась домой, миссис Морз тотчас все поняла по ее лицу, тут не требовалось и материнское чутье. Щеки еще горели, яснее слов рассказывая нехитрую повесть, а всего красноречивей были глаза— огромные, сияющие, они со всей несомненностью отражали внутреннее ликование.

— Что случилось? — спросила миссис Морз, дождавшись, когда Руфь легла в постель.

— Ты знаешь? — дрожащими губами спросила Руфь.

Вместо ответа мать обняла ее, ласково погладила по голове.

— Он ничего не сказал, — выпалила Руфь. — Я не хотела, чтобы так случилось, и я ни за что не позволила бы ему сказать... только он и не сказал.

— Но раз не сказал, значит, и случиться ничего не могло, правда?

— А все равно случилось.

— Бог с тобой, детка, что за вздор? — в недоумении спросила миссис Морз. — Право, я не понимаю, о чем ты. Что же все-таки случилось?

Руфь удивленно посмотрела на мать.

— Я думала, ты поняла. Ну вот, мы с Мартином обручились.

Миссис Морз недоверчиво, досадливо засмеялась.

— Нет, он ничего не сказал, — объяснила Руфь. — Он просто любит меня, вот и все. Я удивилась не меньше тебя. Он ни слова не сказал. Просто обнял меня. И... и я потеряла голову. И он целовал меня, и я его целовала. Я не могла удержаться. Просто не могла иначе. И тогда я поняла, что люблю его.

Она замолчала, с надеждой ждала благословляющего поцелуя матери, но миссис Морз холодно молчала.

— Это ужасно, я знаю, — упавшим голосом вновь заговорила Руфь. — Даже не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Но я ничего не могла поделать. До той минуты я и вообразить не могла, что его люблю. И ты, пожалуйста, сама скажи папе.

— Может быть, не стоит говорить папе? Лучше я повидаюсь с Мартином Иденом, побеседую с ним и все ему объясню. Он поймет и освободит тебя от твоего обещания.

Руфь будто пружиной подбросило.

— Нет! нет! — воскликнула она. — Я совсем не хочу освободиться. Я люблю его, любовь— это чудесно. Я выйду за него... конечно, если вы мне позволите.

— У нас с отцом другие планы, Руфь, детка. Нет, нет, мы никого для тебя не выбрали, ничего похожего. Мы только хотим, чтобы твоим мужем стал человек нашего круга, хороший, достойный, истинный джентльмен, которого ты сама выберешь, когда полюбишь его.

— Но я уже люблю Мартина, — печально возразила Руфь.

— Мы бы никак не стали влиять на твой выбор, но ты наша дочь и с подобным замужеством мы примириться не можем. В тебе столько утонченности, нежности, а этот человек даст тебе лишь вульгарность и неотесанность. Он тебе во всех отношениях не пара. Он не сможет содержать тебя. Мы не так глупы, чтобы мечтать о миллионах, но достаток дело другое, и наша дочь должна выйти замуж за человека, который обеспечит ей хотя бы достаток, а не за искателя приключений без гроша в кармане, за матроса, ковбоя, контрабандиста, бог весть кем он только не был, да еще ко всему у него ветер в голове и ни малейшего чувства ответственности.

Руфь молчала. Мысленно она соглашалась с каждым словом матери.

— Он попусту тратит время на свою писанину, старается достичь того, чего достигали лишь немногие люди, и притом с высшим образованием. Тот, кто задумал жениться, должен к

женитьбе готовиться. А он? Я уже говорила, и я знаю. ты со мной согласна, он лишен чувства ответственности. А как могло быть иначе? Все матросы такие. Он не научился ни бережливости, ни умеренности. Сколько лет швырял деньгами, это вошло в привычку. Он, разумеется, не виноват, но такова уж его натура. А ты подумала, – сколь– ко лет он вел беспутную жизнь? Это ведь неизбежно! Ты подумала об этом, дочь моя? Ты ведь понимаешь, что значит выйти замуж.

Руфь содрогнулась, прижалась к матери.

– Я думала. – Руфь надолго умолкла. Для ее мысли не сразу нашлись подходящие слова. – Это ужасно. Думать об этом неприятно. Я сказала тебе, это страшное несчастье, что я его полюбила, но я ничего не могу с собой поделать. Ты могла не полюбить папу? Бот и я так. Что-то есть во мне, в нем... я до сегодняшнего дня и не подозревала... но что-то есть, и от этого я не могу не любить его. Я не собиралась влюбляться в него, но вот видишь, люблю, – dokonчила Руфь с каким-то робким торжеством.

Они говорили еще долго, и почти ни к чему не пришли, и под конец согласились на том, что подождут некое неопределенное время, ничего не предпринимая.

На том же согласились позднее в тот вечер и миссис Морз с мужем, когда она призналась ему, какой неудачей обернулись ее планы.

– Едва ли могло быть по-другому, – рассудил мистер Морз. – Этот матрос – единственный молодой человек, с которым она постоянно виделась. Должна же была она рано или поздно проснуться, вот и проснулась, а тут как раз этот матрос, единственный молодой человек поблизости, и конечно же, она тут же в него влюбилась или вообразила, что влюбилась, разницы никакой.

Миссис Морз предпочла не воевать с дочерью, а действовать медленно, исподволь. Времени предостаточно, у Мартина не то положение, чтобы он сейчас мог жениться.

– Пусть видится с ним сколько ей угодно, – посоветовал мистер Морз. – Держу пари, чем лучше она его узнает, тем скорее разлюбит. И дай ей побольше возможностей для сравнения. Пускай в доме чаще бывает молодежь. Приглашай девушек и молодых людей

– пускай у нас бывают самые разные молодые люди, толковые, кто чего-то уже достиг или на пути к этому, люди ее круга, джентльмены. Будет ей наглядная мера для сравнения. Станет ясно и понятно, что он такое. И в конце-то концов, он еще мальчишка, ему всего двадцать один, Руфь тоже еще ребенок. У обоих это ребяческое увлечение, они его перерастут.

На том и порешили. В семействе признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но никому о помолвке не сообщили. Надеялись, что в конечном счете это не понадобится. Подразумевалось также, что помолвка будет долгой. Мартина не просили ни устроиться на службу, ни перестать писать. Они не собирались подталкивать его на перемены к лучшему. А все поведение Мартина было на руку его противникам, ибо меньше всего он думал устраиваться на службу.

– Не знаю, одобришь ли ты мой поступок! – сказал он Руфи несколько дней спустя. – Я решил, что жить и столоваться у сестры слишком дорого, теперь буду жить отдельно. Я снял маленькую комнатку в Северном Окленде, знаешь, там живет тихий народ, кто ушел на покой, и все такое, и я купил керосинку, сам буду на ней готовить.

Руфь безмерно обрадовалась. С особенным удовольствием услышала о керосинке.

– Мистер Батлер тоже так начинал, – сказала она.

Упоминание о сем достойном джентльмене несколько покорило Мартина, и он продолжал:

– Я наклеил марки на все свои рукописи и опять разослал их в, редакции. Сегодня переселяюсь, а завтра начинаю работать.

– Подыскал место! – воскликнула она, и примостилась к нему, и сжала ему руку, и заулыбалась, всем существом выдавая радостное удивление. – И ничего мне не говорил! Что за

место?

Мартин покачал головой.

– Я не о той работе, я опять буду писать. – Лицо у Руфи вытянулось, и он поспешно продолжал:– Пойми меня правильно. Теперь я уже не строю никаких воздушных замков. Это трезвый, прозаический, деловой шаг. Это лучше, чем опять идти в море, и денег я заработаю больше, чем можно заработать на любом месте в Окленде, не имея специальности.

Понимаешь, за каникулы, которые я себе устроил, мне многое стало ясно. Я не надрывался до бесчувствия на тяжелой работе и не писал– во всяком случае, для печати. Была только любовь к тебе, да еще я много думал. И кое-что прочел, но это тоже значило думать, читал я главным образом журналы. Я размышлял о себе, о мире, о своем месте в мире, о своих возможностях, о том, сумею ли завоевать положение, достойное тебя. А кроме того, я читал «Философию стиля» Спенсера и понял многое, что прямо касается меня – вернее, моих сочинений и, в сущности, почти всех сочинений, которые каждый месяц появляются в журналах.

А все вместе– мои мысли, и чтение, и любовь– привело вот к чему: я намерен заделаться литературным поденщиком. Я оставлю пока что шедевры и займусь шутками, злободневными газетными заметками, сенсационными сообщениями, стихотворными фельетонами, юмористическими стишками– всей этой чепухой, на которую, видно, самый большой спрос. Кроме того, существуют специальные агентства, они снабжают газеты материалами и рассказами и всякой мелочью для воскресных приложений. Я могу наловчиться и поставлять им то, что им требуется, и зарабатывать на этом не меньше хорошего жалованья. Иные литераторы, такие, знаешь, свободные художники получают четыреста долларов в месяц, если не пятьсот. Я вовсе не жажду уподобиться этой братии, но я буду зарабатывать вполне достаточно и у меня будет еще вдоволь времени для себя, а ни на какой службе это было бы невозможно. Конечно, у меня будет время для занятий и для настоящей работы. В промежутках между ремесленными поделками я буду пробовать себя в серьезной литературе, буду заниматься ,и готовиться к серьезному литературному труду. Мне и самому удивительно, какой я уже прошел путь! Поначалу, когда я пробовал писать, мне писать было не о чем, разве что о каких-то пустячных случаях из моей жизни, и я не умел их толком понять и оценить. Ведь мыслей у меня не было... В самом деле не было. Слов для мыслей и то не было. Пережил я немало, но все это оставалось множеством лишенных смысла картинок. А потом я стал набираться знаний и новых для меня слов, и пережитое оказалось уже не просто множеством картин. Все по-прежнему было ярко и зримо, но я еще и научился понимать то, что вижу. Вот тогда я и начал писать по-настоящему, «Приключение», «Радость», «Выпивка», «Вино жизни», «Толчая», любовный цикл и «Голоса моря»– это настоящее. Я напишу и еще такое и лучше, но писать буду в свободное время. Теперь я больше, не витаю в облаках. Сперва поденщина и заработок, а уж потом шедевры. Я написал вчера вечером полдюжины шуточек для юмористических еженедельников, просто чтобы показать тебе, а когда собрался спать, мне вдруг вздумалось на пробу написать триолет, тоже шуточный, и за час я их сочинил четыре. Оплачивают их, должно быть, по доллару за штуку. Четыре доллара за то, что пришло в голову перед сном.

Этому, конечно, грош цена, работенка скучная и дрянная, но не скучней и не дрянней, чем корпеть над бухгалтерскими книгами за шестьдесят долларов в месяц– до самой смерти складывать колонки бессмысленных цифр. И потом, эта писанина все же как-то связана с литературой и оставляет мне время писать настоящее.

– Но что пользы писать настоящее, эти твои шедевры? – требовательно спросила Руфь. – Ты ведь не можешь их продать.

– Ну нет, могу, – начал Мартин, но Руфь его перебила:

– Вот ты назвал все эти вещи, ты считаешь их хорошими, но ведь ни одну не напечатали. Нельзя нам пожениться и жить на шедевры, которые не продаются.

– Тогда мы поженимся и станем жить на триолеты, они-то будут продаваться, – храбро заверил он, обнял любимую и притянул к себе, однако Руфь осталась холодна.

– Вот послушай, – с напускной веселостью продолжал Мартин. – Не искусство, зато доллар.

Отлучился я кстати, А ко мне между тем Заявился приятель, Думал денег занять он – И напрасно совсем:

Он явился некстати И отбыл ни с чем.¹

Веселенький ритм этих стишков никак не вязался с унынием, которое проступило на лице Мартина, когда он кончил. Вызвать улыбку у Руфи ему не удалось. Она смотрела на него серьезно, с тревогой.

1 Перевод стихов здесь и далее Н. Галь.

– Может быть, это и доллар, – сказала она, – но это доллар шута, плата клоуну в цирке. Неужели ты не понимаешь, Мартин, для тебя это унизительно. Я хочу, чтобы человек, которого я люблю и уважаю, занимался чем-то более достойным и утонченным, чем сочинение шуточек и жалких виршей.

– Ты хочешь, чтобы он походил... допустим, на мистера Батлера? – подсказал Мартин.

– Я знаю, что ты не любишь мистера Батлера...

– Мистер Батлер человек как человек, – прервал Мартин. – Мне только не нравится, что у него несварение желудка. Но хоть убей, не вижу разницы, сочинять ли шуточки и забавные стишки, или печатать на машинке, писать под диктовку и вести конторские книги. Все это средства, не цель. По-твоему, я должен начать со счетовода, чтобы потом стать преуспевающим адвокатом или коммерсантом. Я же хочу начать с литературной поденщины, а затем стать настоящим писателем.

– Разница есть, – настаивала Руфь.

– Какая же?

– Так ведь твои хорошие работы, те, которые ты сам считаешь хорошими, ты не можешь продать. Ты пытался, сам знаешь, но редакторы их не покупают.

– Руфь, милая, дай мне время, – взмолился он. – Ремесленная работа – это же ненадолго, я не отношусь к ней серьезно. Дай мне два года. За это время я добьюсь успеха, и редакторы будут рады купить мои настоящие работы. Я знаю, что говорю, я верю в себя. Я знаю, на что способен, знаю теперь и что такое литература, знаю, какую труху поставляют изо дня в день бездарные щелкоперы, – и знаю, что через два года выйду на прямую дорогу к успеху. А дельцом мне не стать, коммерсант из меня никакой. Не по душе мне это. По-моему, все это – скучное, тупое, мелочное торгашество, путаница и обман. Да что говорить, не гожусь я для этого. Дальше конторщика я не продвинусь, а конторщик получает гроши, какое тогда у нас с тобой может быть счастье? Я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее на свете, и откажусь от этого только во имя чего-то, что будет еще лучше. И я непременно добьюсь этого, добьюсь всего самого лучшего. Рядом с доходом преуспевающего писателя деньги мистера Батлера – просто мелочь. Нашумевшая книга приносит от пятидесяти до ста тысяч долларов, – иногда больше, иногда меньше, но, как правило, примерно столько.

Руфь молчала, она была явно разочарована.

– Ну как? – спросил Мартин.

– Я надеялась и рассчитывала на другое. Я думала и продолжаю думать, что тебе лучше всего изучить стенографию – на машинке ты печатать умеешь – и пойти служить в контору к папе. Ты очень способный, и я уверена, из тебя выйдет превосходный адвокат.

Оттого что Руфь не верила в него как в писателя, она ничего не утратила в его глазах. За эти каникулы— короткую передышку, которую он себе позволил, Мартин немало часов разбирался в своих мыслях и чувствах и потому многое узнал о себе. Он понял, что красота ему милее славы, а славы он ищет главным образом из-за Руфи. Именно ради нее жаждет он славы. Он хочет стать знаменитостью, «преуспеть», как он это назвал, — чтобы любимая могла им гордиться, сочла его достойным себя.

Сам же он страстно любил красоту, и радость, которую получал, служа ей, была ему достаточной платой. А еще, превыше красоты, он любил Руфь. Нет на Свете ничего прекраснее любви, думал он. Любовь— это она совершила в нем переворот, неотесанного матроса приобщила к книгам, сделала его художником, и оттого для Мартина она была прекрасней и выше учения, прекрасней и выше занятий искусством. Он уже заметил, что мыслит глубже и шире, чем Руфь, чем Норман с Артуром и их отец. Несмотря на все преимущества университетского образования, вопреки ее званию бакалавра искусств он превзошел ее в силе интеллекта, и умственный багаж, который он накопил примерно за год самоучкой, позволил ему теперь так глубоко разбираться в мире, в искусстве и в жизни, как Руфь и мечтать не могла.

Все это Мартин понимал, но это никак не мешало ни его любви к Руфи, ни ее любви к нему. Слишком прекрасна, слишком благородна любовь, слишком он ей верен, чтобы запятнать свое чувство, осуждая за что-то любимую. Не все ли равно для любви, что Руфь по-иному смотрит на искусство, на то, как следует себя вести, на Французскую революцию, на избирательные права для женщин? Это все детища ума, а любовь не знает логики, она выше разума. Не может он принижать любовь. Он боготворит ее. Любовь пребывает на вершинах, над долинами разума. Это существование возвышенное, венец бытия, и редкому человеку она дается. Философы-позитивисты, чье ученье Мартин предпочитал другим, разъяснили ему биологический смысл любви, и, продолжая цепь их тончайших научных рассуждений, он пришел к мысли, что в любви человеческий организм достигает высшей цели своего существования, в любви не должно сомневаться, ее надо принимать от жизни как величайшую награду. Блажен, кто любит, больше всех живущих дано ему, и радостно было думать о «без памяти влюбленном», что пренебрегает всем земным — богатством, и здравомыслием, общественным мнениям и рукоплесканиями и даже самой жизнью и «все отдает за поцелуй».

Многое из этого Мартин успел продумать прежде, кое-что продумал потом. Между тем он работал, не оставляя себе времени на отдых, за исключением часов, что проводил с Руфью, и жил по-спартански. Два с половиной доллара он платил за комнатушку, которую снимал у португалки Марии Сильва, вдовы, лихой бабы, она тяжело трудилась, а нрав у нее был и того тяжелей, и ухитрялась с грехом пополам прокормить целую ораву ребятишек, а горе и усталость порой заливала дешевым некрепким вином— брала галлон за пятнадцать центов в погребке, на углу. Поначалу Мартин возненавидел эту бабу и ее сквернословие, но глядя, как мужественно она борется с нищетой, стал ею восхищаться. В домишке было четыре комнаты на всю семью; когда въехал Мартин, осталось три. Одна, гостиная, — веселая от пестрого половика из крашеной пряжи, но и печальная от карточки с извещением о похоронах и от фотографии одного из многочисленных умерших Марииных младенцев в гробу— предназначалась только для приема гостей. Шторы в ней всегда были спущены, а Марииной босоногой команде строго-настрого заказано было ступать в эти священные пределы, кроме особо торжественных случаев. Стряпала она в кухне, там же все ели, там она еще и стирала, крахмалила и гладила всю неделю напролет, кроме воскресенья, ибо основной доход ей приносила стирка на более состоятельных соседей.

Оставалась спальня, такая же крохотная, как комнатуха Мартина, и там теснились и ночевали сама Мария Сильва и семеро детишек. Мартин не уставал удивляться этому чуду – как они там умещаются. Каждый вечер из-за тонкой перегородки ему слышно было во всех подробностях, как они укладываются, визжат, и ссорятся, и тихонько щебечут, и сонно чирикают, будто пичуги. Другим источником дохода Марии были коровы, она держала двух, утром и вечером доила, а днем они незаконно добывали себе пропитание – щипали травку на пустырях и по обочинам тротуаров, всегда под охраной одного или нескольких ее оборванных мальчишек, причем главная забота пастушат была устеречь коров от фараона.

В своей комнатухе Мартин жил, спал, занимался, писал и вел хозяйство. У единственного окна, что выходило на крыльцо, стоял кухонный столик, служивший Мартину и письменным столом, и библиотекой, и столом для пишущей машинки. Кровать у стены напротив занимала три четверти комнаты. Возле стола с одного края стоял дрянной комод, сработанный лишь бы продать, а вовсе не для удобства владельца, и от него что ни день отщеплялась фанеровка. Стоял он в углу, а в противоположном углу, по другую сторону стола, была кухня: керосинка на ящике из-под крупы, в ящике тарелки и кухонная утварь, над ними на стене полка для провизии, на полу ведро с водой. Воду приходилось носить из кухни, в комнате крана не было. В дни, когда Мартин стряпал, поднималось много пара и комод лущился вовсю. Над кроватью Мартин подвесил велосипед к потолку. Сперва хотел держать его в подвале, но босоное потомство Сильва разболтало подшипники, проткнуло шины и вытащило его на улицу. Тогда Мартин попробовал пристроить его на крылечке, но поднялся юго-восточный ветер и всю ночь машина мокла под дождем. И пришлось Мартину отступить и подвесить велосипед у себя под потолком.

В тесном стенном шкафу хранилась одежда и книги, которые скопились у Мартина и которым уже не хватало места ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин привык делать заметки, да такие подробные, что в комнатухе уж вовсе было бы не повернуться, не придумай он развешивать их на бельевых веревках, которые протянул в несколько рядов. Но и так комната была слишком забита, и скоро он уже с трудом лавировал в ней. Дверь можно было отворить, только если закроешь дверцу стенного шкафа, и *vice versa*. Пересечь комнату по прямой было невозможно. От двери к изголовью кровати приходилось идти зигзагами, поминутно меняя курс, и в темноте он всякий раз на что-нибудь наткался. Справившись с дверями и дверцами, надо было круто свернуть вправо, не то своротишь кухню. Потом он брал влево, чтобы не наскочить на изножье кровати, но стоило отклониться чуть больше и наткнешься на угол стола. Ловко извернувшись, удавалось миновать угол и, держась правой стороны, пройти по своеобразному каналу, правым берегом которого была кровать, а противоположным – стол. Когда перед столом на обычном месте стоял единственный стул, канал оказывался несудоходным. Когда стул был не нужен, Мартин ставил его вверх ножками на кровать, но иной раз, стряпая, сидел на стуле и читал, пока закипит вода, ухитрялся даже прочесть абзац-другой, пока жарилось мясо. И так мал был кухонный угол, что, сидя на стуле, Мартин мог достать все, что требовалось для стряпни. В сущности, стряпать сидя было удобно, стоя же он нередко заслонял себе свет.

Здоровый желудок Мартина способен был переварить все что угодно, да еще он умел готовить различные кушанья, питательные и притом дешевые. В его меню чаще всего входил гороховый суп, а также картошка и крупная коричневая фасоль, которую он готовил на мексиканский лад. Рис, приготовленный так, как не умели и вовек бы не научились готовить американские хозяйки, он ел по меньшей мере раз в день. Сушеные фрукты стоили дешевле свежих. Мартин постоянно варил их, и они всегда были под рукой и шли с хлебом вместо масла. Изредка он позволял себе побаловаться бифштексом или суповой косточкой. Кофе пил дважды в день, без молока и сливок, а вечером заменял его чаем; но и то и другое приготовлено было

отменно.

Приходилось быть поэкономнее. Каникулы поглотили почти все, что Мартин заработал в прачечной, а свои поделки он заслал так далеко, что ответов из редакций можно было ждать не раньше, чем через несколько недель. За исключением тех часов, когда он встречался с Руфью или накоротке навещал свою сестру Гертруду, он жил затворником и успевал сделать за день столько, что всякий другой потратил бы на это не меньше трех дней. Спал он всего пять часов и работал изо дня в день по девятнадцать часов, выдержать такое можно было только при его железном здоровье. Он не терял ни единой минуты. К зеркалу прикреплял листки, где выписаны были новые слова, их значения и произношение: бреясь, одеваясь, причесываясь, он их заучивал. Такие же списки вывешивал на стене над керосинкой и тоже учил их, пока стряпал или мыл посуду. Списки постоянно менялись. Каждое незнакомое или не совсем понятное слово, встреченное в книге, Мартин тотчас выписывал, а когда их набиралось достаточно, печатал список и прикреплял к зеркалу или к стене. Он и в кармане носил такие листки и порой просматривал на улице или пока ждал в бакалейной или мясной лавке.

Он пошел дальше. Читая преуспевающих авторов, отмечал каждую их удачу; продумывал использованные для этого приемы— приемы повествования, композиции, стиля, мысль, сравнения, остроты; и все это выписывал и продумывал. Он никому не подражал. Он искал принципы. Он составлял списки впечатляющих и привлекательных особенностей, потом из множества их, отобранных у разных писателей, выводил какой-то общий принцип и, оснащенный таким образом, обдумывал новые, свои собственные приемы и уже со знанием дела взвешивал, определял и оценивал их. Таким же образом он выписывал яркие выражения, живые разговорные обороты, едкие, точно кислота, или обжигающие, как огонь, фразы, что вдруг попадутся в бесплодной пустыне обыденной речи, пламенеющие, сочные, ароматные. Всегда искал принцип, лежащий за этим и под этим. Он хотел знать, как что сделано, тогда он сможет сделать это сам. Ему мало было видеть прекрасный лик красоты. В тесной своей комнатухе-лаборатории, где кухонный чад смешивался с неистовым шумом и гамом Марииной босоногой команды, он препарировал красоту — препарировал, изучал анатомию красоты, — и приближался к тому, чтобы создавать ее самому.

Так уж он был устроен, мог работать, только понимая, что делает. Не мог он работать вслепую, во тьме, не ведая, что творит, не мог довериться только случаю и счастливой звезде своего гения в надежде создать нечто замечательное и прекрасное. Он хотел понимать, почему и как такое создано. Он творил не стихийно, а обдуманно, рассказ или стихотворение сначала целиком складывались у него в голове и он уже видел конец и сознавал, как напишет все до конца. Иначе попытка была обречена на провал. С другой стороны, ему нравились слова и фразы, которые рождались вдруг, сами собой, а потом выдерживали все испытания на красоту и силу и придавали задуманному невероятные, непередаваемые оттенки. Перед такими озарениями он склонял голову, восхищался ими, понимая, что они выше, чем любое заранее обдуманное творение. И сколько бы он ни анатомизировал красоту в поисках ее основ и законов, он всегда сознавал, что есть еще в красоте сокровеннейшая тайна, в которую он не проник, как не проник еще и никто другой. Он усвоил, читая Спенсера, что человеку никогда не познать до конца суть вещей и явлений и что тайна красоты не менее глубока, чем тайна жизни, да нет, глубже, знал, что красота и жизнь нераздельно сплетены друг с другом и что сам он лишь одна из нитей той же непостижимой ткани, где сплелись солнечный свет, и звездная пыль, и неведомое чудо.

Полный этими мыслями, он и написал эссе «Звездная пыль» — резкий выпад не против основ критики, но против основных, ведущих критиков. Написал блестяще, с философской глубиной и с тонкой иронией. И куда бы Мартин ни посылал эти страницы, все журналы

незамедлительно их отвергали. Но Мартин, освободясь от мыслей на эту тему, невозмутимо пошел дальше своей дорогой. Когда он вынашивал какую-нибудь мысль и она созревала, он тотчас кидался к машинке, это вошло в привычку. А что написанному не доводилось увидеть свет, мало его трогало. Важнее всего написать— и тем самым завершить долгую цепь раздумий, связать воедино нити разрозненных мыслей, окончательно обобщить факты, которые обременяли мозг. Написать статью — значило осознанным усилием освободить голову для свежих фактов и мыслей. Было это сродни привычке людей, угнетенных подлинными или воображаемыми горестями, время от времени нарушать долгое мучительное молчание и «отводить душу», выкладывая все до, последнего слова.

Проходили недели. Деньги у Мартина почти иссякли, а чеков от издателей так и не было. Все важнейшие рукописи вернулись назад и отправлены вновь, и участь поделок ничуть не лучше. Он уже не стряпал разнообразные блюда. У него только и оставалось что неполный мешок рису и немного сухих абрикосов, и пять дней подряд он трижды в день готовил один лишь рис да абрикосы. Потом началась жизнь в кредит. Бакалейщик-португалец, которому он до сих пор платил наличными, перестал отпускать провизию, когда долг Мартина достиг огромной суммы в три доллара восемьдесят пять центов.

– Видишь, какая штука, – сказал бакалейщик, (ты не найти работа, плакать моя деньги.

И Мартину нечего было ответить. Ничего тут не объяснишь. Так дело не делается– давать в кредит здоровущему рабочему парню, которому лень работать.

– Ты найти работа, я опять давать еда. – заверил Мартина бакалейщик. – Нет работа, нет еда. Дело есть дело. – И потом, чтобы показать, что суть именно в деловой предусмотрительности, а против Мартина он ничего не имеет, предложил:– Ты выпить стаканчик, я угощать, ведь мы оставаться друзья.

И Мартин, запросто выпил в знак, что они остаются друзьями, и лег спать без ужина.

В зеленой, где Мартин покупал овощи, лавочник-американец вел дело куда менее строго и отказал в кредите, когда Мартин ему задолжал целых пять долларов. Булочник остановился на двух долларах, а мясник на четырех. Мартин подсчитал свои долги, и оказалось, у него и кредиту всего-то в общей сложности на четырнадцать долларов восемьдесят пять центов. Пора уже платить за пользование машинкой, но он рассчитал, что два месяца с этим можно подождать, это составит еще восемь долларов. И уж тогда весь возможный кредит будет исчерпан.

В зеленой лавке под конец куплен был мешок картошки, и неделю Мартин питался одной картошкой, трижды в день картошка и больше ничего. Случайный обед у Руфи помогал еще продержаться, хотя было истинным мученьем отказываться от всяческой снеди, когда изобилие разносолов на столе чуть не сводило с ума. Преодолевая стыд, он нет-нет да и наведывался к сестре в часы обеда и там ел, сколько хватало смелости, во всяком случае больше, чем позволял себе за столом у Морзов.

День за днем он работал, и день за днем почтальон приносил отвергнутые рукописи. Денег на марки не осталось, и рукописи эти громоздились под столом. Как-то у него сорок часов не было во рту ни крошки. Он не мог надеяться перекусить у Руфи, она на две недели уехала погостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре не давал стыд. В довершение всех бед почтальон, разнося дневную почту, выложил Мартину сразу пять отвергнутых рукописей. Тогда-то Мартин и отправился в Окленд, надев пальто, а вернулся без него, зато в кармане позвякивали пять долларов. Он заплатил по доллару каждому из лавочников и у себя в кухне поджарил мясо с луком, сварил кофе и в большой кастрюле потушил чернослив. Пообедав, он сел за письменный стол и к полуночи закончил статью под названием «О пользе ростовщичества». Допечатал ее и швырнул под стол – купить марки было не на что, от пяти долларов не осталось ни цента.

Потом он заложил часы, а там и велосипед и, урезав расход на еду, купил марок, наклеил на все рукописи и сызнова их разослал. Ремесленная работа его разочаровала. Никто не желал покупать его поделки. Он сравнил их с теми, что печатались в газетах, в еженедельниках и дешевых журнальчиках, и решил, что его мелочишки лучше среднего уровня, куда лучше, – и однако их не покупали. Потом он узнал, что почти все газеты печатают главным образом материалы, которыми их бесплатно снабжают особые агентства, и раздобыл адрес такого

агентства. Посланные туда вещицы он получил обратно вместе со стандартным листком-извещением, что все необходимые материалы поставляют сами сотрудники агентства.

В одном солидном журнале для юношества он увидел множество мелких зарисовок и анекдотов. И решил попытать счастья. Все заметки ему вернули, и хотя он посылал все новые и новые материалы, ни один не напечатали. Много спустя, когда это уже не имело значения, Мартин узнал, что редакторы агентства и их помощники, выгадывая себе надбавку к жалованью, сочиняли такую мелочишку сами. Юмористические еженедельники возвращали его шутки и стишки, а бездумные изящные вирши, предназначенные для услаждения изысканной публики, которые он посылал в толстые журналы, оказывались никому не нужны. Тогда он принялся писать забавные истории для газет. Он знал, он может писать лучше тех, что печатаются. Раздобыл адреса двух агентств печати, поставляющих материалы для газет, и затопил их такими историями. Написал двадцать коротких историй, ни одну не пристроил и забросил это. А ведь изо дня в день он читал такие вот короткие рассказы в газетах и еженедельниках, десятки, чуть не сотни, и ни один гроша ломаного не стоил по сравнению с тем, что писал он. Мартин совсем пал духом, он решил, что ничего не понимает в литературе, что собственная писанина загнипнотизировала его, и он зря возмнил о себе невесть что.

Бесчеловечная редакторская машина по-прежнему работала бесперебойно. Он вкладывал в конверт рукопись и марки, опускал в почтовый ящик, и недели через три, через месяц на крыльцо поднимался почтальон и вручал ему рукопись, присланную обратно. Да нет там никаких живых редакторов из плоти и крови. Одни лишь винтики, колесики, хорошо смазанные передачи— хитроумный механизм с автоматическим управлением. Мартин впал в такое отчаяние, что усомнился, существуют ли они вообще, эти самые редакторы, ведь еще ни разу никто из них не подал признаков жизни, а по тому, как упорно, безо всяких критических замечаний отвергалось все им написанное, казалось вполне вероятным, что редакторы— это миф, измышленный и поддерживаемый рассылными, наборщиками и печатниками.

Часы, проведенные подле Руфи, оставались единственной его отрадой, да и они не всегда были радостны. Его неотступно грызла тревога, терзала и мучила сильнее, чем в былые дни, когда он еще не завоевал ее любовь, — ведь до завоевания любимой было все так же далеко. Он попросил два года, время летело, а он ничего еще не достиг. И его не оставляло сознание, что она не одобряет его занятий. Она не говорила об этом прямо, но косвенно давала это понять так же ясно и определенно, как если бы высказала вслух. Она не возмущалась, нет, но не одобряла: девушка не столь кроткого нрава на ее месте возмущалась бы, она же всего лишь была разочарована. А разочаровалась потому, что человек, которого она намеревалась лепить по своему вкусу, не желал, чтобы его лепили. До какого-то предела он был податлив, как воск, а потом встал на дыбы, не хотел он, чтобы его перекраивали по образу и подобию ее отца и мистера Батлера.

Того, что было в Мартине сильного и благородного, Руфь не замечала или, еще того хуже, не понимала. Человек, наделенный такой гибкой натурой, что мог жить в самых неподходящих условиях, казался ей своевольным и чудовищно упрямым, оттого что не могла она приспособить его к своему, единственно ей известному образу жизни. Не дано ей было следовать за полетом его мысли, и когда она не понимала его рассуждений, полагала, что он ошибается. Рассуждения всех окружающих были понятны ей. Она всегда понимала, что говорят мать и отец, братья и Олни, а потому, когда не понимала Мартина, виноватым считала его. То была извечная трагедия — когда ограниченность стремится наставлять на путь истинный ум широкий и чуждый предубеждений.

— Ты свято чтить ходячие истины, все, что общепринято и общепризнано, — сказал однажды Руфи Мартин, когда они заспорили о Прапсе и Вандеруотере. — Согласен, чтобы

цитировать, они куда как хороши— два самых видных критика в Соединенных Штатах. Каждый школьный учитель в Америке смотрит на Вандеруотера снизу вверх как на главу американской критики. Однако я читал его писанину, и мне кажется, это образец бессмысленного краснобайства. Да ведь он — спасибо Колетту Берджесу— попросту банален и смертельно окучен. И Прапс не лучше. Его «Ядовитые мхи» прекрасно написаны. Все запятые на местах, а тон

— ну до чего величественный, до чего же величественный. Ему платят больше всех критиков в Америке, хотя— прости меня боже— никакой он не критик. В Англии уровень критики много выше.

Но эти двое изрекают то, что думает публика, и притом изрекают так красиво, так нравственно, так самодовольно— вот где собака зарыта. Их рецензии благонравны как воскресенье в Англии. Они— рупор общественного мнения. Они поддерживают преподавателей языка и литературы, а те поддерживают их. И ни у одного из них не откопаешь ни единой своеобычной мысли. Они признают только общепринятое— в сущности, они и есть общепринятое. Они не блещут умом, и общепринятое прилипает к ним так же легко, как ярлык пивного завода к бутылке пива. И роль их заключается в том, чтобы завладеть молодыми умами, студенчеством, загасить в них малейший проблеск самостоятельной оригинальной мысли, если такая найдется, и поставить на них штамп общепринятого.

— Мне кажется, — возразила Руфь, — оттого, что я придерживаюсь общепринятого, я ближе к истине, чем ты, когда ты ополчаешься на все это, словно дикарь с островов Южного моря.

— Все святыни сокрушили сами миссионеры, — со смехом возразил Мартин. — И к несчастью, все миссионеры отправились к язычникам, и дома теперь некому сокрушать авторитеты мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

— А заодно и преподавателей колледжей, — прибавила Руфь.

Мартин решительно покачал головой.

— Нет, преподаватели естественных наук пускай остаются. Это поистине замечательный народ. А вот девяти десятым филологов и лингвистов, этим безмозглым попугайчикам, очень бы полезно проломить головы.

Это было довольно жестоко по отношению к преподавателям словесности, а для Руфи прозвучало святотатством. Не могла она не сравнивать преподавателей, подтянутых, эрудированных, в хорошо сидящих костюмах, с хорошо поставленными голосами, в ореоле культуры и утонченности, — с этим невозможным юнцом, которого она почему-то любит, хотя костюм никогда не будет сидеть на нем хорошо, его выпирающие мускулы свидетельствуют о тяжком труде, в разговоре он горячится, спокойные доказательства подменяет бранью, а невозмутимое самообладание пылкими возгласами. Те, по крайней мере, хорошо зарабатывают и они джентльмены — да, да, она вынуждена в этом признаться, — а он не может заработать ни гроша, и, конечно же, он отнюдь не джентльмен.

Она не взвешивала слов Мартина, не вдумывалась, доказательны ли они. Пришла к убеждению, что он не прав, исходя— правда неосознанно— из сопоставлений чисто внешних. Профессора и преподаватели правы в своих суждениях о литературе, потому что они сделали карьеру. Суждения Мартина о литературе ошибочны, потому что он не мог продать плоды своих трудов. Говоря словами Мартина, они преуспели, а он— нет. Да и странно было бы, чтобы он оказался прав, — он, который еще так недавно стоял в этой самой гостинной, пунцовый от смущения, неуклюже здоровался с теми, кому его представляли, со страхом озирался по сторонам, как бы раскачиваясь на ходу, стараясь не задеть плечом какую-нибудь безделушку, спрашивал, давно ли помер Суинберн, и хвастливо заявлял, что читал «Эксцельсиор» и «Псалом жизни».

Сама того не сознавая, Руфь подтвердила слова Мартина, что она преклоняется перед

общепринятым. Мартину был внятен ход ее мыслей, но он воздержался от дальнейшего спора. Не за ее отношение к Прапсу, Вандеруотеру и к преподавателям английской словесности он любил Руфь и уже начинал понимать и все больше убеждался, что иные предметы его размышлений и области знания, доступные и открытые ему, для нее не только книга за семью печатями, но она даже и об их существовании не подозревает.

Руфь полагала, что он ничего не смыслит в музыке, а, говоря об опере, – умышленно все ставит с ног на голову.

– Тебе понравилось? – однажды спросила она Мартина, когда они возвращались из оперы.

В тот вечер он повел ее в оперу, ради чего весь месяц жестоко экономил на еде. Напрасно ждала она, чтобы он заговорил о своих впечатлениях, и наконец, глубоко взволнованная увиденным и услышанным, сама задала ему этот вопрос.

– Мне понравилась увертюра, – ответил он. – Это было великолепно.

– Да, конечно, но сама опера?

– Тоже великолепно, я имею в виду оркестр, хотя я получил бы куда больше удовольствия, если бы эти марионетки молчали или вовсе ушли со сцены.

Руфь была ошеломлена.

– Надеюсь, ты не о Тетралани и не о Барильо? – недоверчиво переспросила она.

– Обо всех о них, – обо всей этой компании.

– Но ведь они великие артисты, – возразила РУФЬ.

– Ну и что? Своими ужимками и кривляньем они только мешали слушать музыку.

– Но неужели тебе не понравился голос Барильо? Говорят, он первый после Карузо.

– Конечно, понравился, а Тетралани и того больше. Голос у нее прекраснейший, по крайней мере так мне кажется.

– Но, тогда, тогда...– Руфи не хватало слов. – Я тебя не понимаю. Сам восхищаешься их голосами, а говоришь, будто они мешали слушать музыку.

– Вот именно. Я бы многое отдал, чтобы послушать их в концерте, и еще того больше отдал, лишь бы не слышать их, когда звучит оркестр. Боюсь, я безнадежный реалист. Замечательные певцы отнюдь не всегда замечательные актеры. Когда ангельский голос Барильо поет любовную арию, а другой ангельский голос – голос Тетралани – ему отвечает, да еще в сопровождении свободно льющейся блистательной и красочной музыки – это упоительно, поистине упоительно. Я не просто соглашаюсь с этим. Я это утверждаю. Но только посмотришь на них, и все пропало – Тетралани ростом метр три четверти без туфель, весом сто девяносто фунтов, а Барильо едва метр шестьдесят, черты заплывли жиром, грудная клетка точно у коренастого кузнеца-коротышки, и оба принимают театральные позы, и прижимают руки к груди или машут ими, как помешанные в сумасшедшем доме; и все это должно означать любовное объяснение хрупкой красавицы принцессы и мечтательного красавца принца – нет, не верю я этому, и все тут. Чепуха это! Нелепость! Неправда! Вот и все. Это неправда. Не уверяй меня, будто хоть одна душа в целом свете вот так объясняется в любви. Да если бы я посмел вот так объясниться тебе в любви, ты бы дала мне пощечину.

– Но ты понимаешь, – возразила Руфь. – Каждое, искусство по-своему ограничено. (Она торопливо вспоминала слышанную в университете лекцию об условности искусства.) В живописи у холста только два измерения, но мастерство художника позволяет ему создать на полотне иллюзию трех измерений, и ты принимаешь эту иллюзию. То же самое и в литературе – писатель должен быть всемогущ. Ты ведь согласишься с правом писателя раскрывать тайные мысли героини, хотя прекрасно знаешь, что героиня думала обо всем этом наедине с собой, и ни автор, ни кто другой не могли подслушать ее мысли. Так же и в театре, в скульптуре, в опере, во всех видах искусства. Какие-то противоречия неизбежны, их надо принимать.

– Ну да, понимаю, – ответил Мартин. – В каждом искусстве свои условности. (Руфь удивилась, что он так к месту употребил это слово. Можно было подумать, будто и он окончил университет, а не нахватался случайных знаний из книг, взятых наудачу в библиотеке.) Но даже условности должны быть правдивы. Деревья, нарисованные на картоне и поставленные по обе стороны сцены, мы принимаем за лес. Это достаточно правдивая условность. Но, с другой стороны, морской пейзаж мы не примем за лес. Не сможем принять. Это насилие над нашими чувствами. Так и ты не можешь, вернее, не должна была принять это неистовство, и кривлянье, и мучительные корчи двух помешанных за убедительное изображение любви.

– Но не думаешь же ты, что разбираешься в музыке лучше всех авторитетных ценителей? – возразила Руфь.

– Нет-нет, у меня и в мыслях этого не было. Просто я вправе иметь собственное мнение. Я старался тебе объяснить, почему слоновья резвость госпожи Тетралани мешает мне насладиться оркестром. Ценители музыки во всем мире, может быть, и правы. Но я сам по себе и не желаю подчинять свой вкус единодушному мнению всех на свете ценителей. Если мне что-то не нравится, значит, не нравится, и все тут; так с какой стати, спрашивается, я стану делать вид, будто мне это нравится, только потому, что большинству моих соплеменников это нравится или они воображают, что нравится. Не могу я что-то любить или не любить по велению моды.

– Но, видишь ли, музыка требует подготовки, – не соглашалась Руфь, – а опера тем более. И может быть...

– Может быть, я не подготовлен к тому, чтобы слушать оперу? – перебил Мартин. Руфь кивнула.

– Это верно, – согласился он. – И надо думать, мне очень повезло, что меня туда не водили с детства. А водили бы, и сегодня вечером я бы растрогался и прослезился, и клоунское кривлянье драгоценной парочки только еще прибавило бы красоты их голосам и оркестровому сопровождению. Ты права. Дело главным образом в подготовке. А я уже вырос из пеленок. Мне требуется или правда или ничего. Иллюзия, которая не убеждает, это явная ложь, и когда коротышка Барильо, распалясь, страстно стискивает в объятиях великаншу Тетралани, тоже охваченную страстью, и поет ей о своей несравненной любви, я вижу в этом только ложь.

И опять Руфь мерила мысли Мартина, исходя из сопоставлений чисто внешних, в согласии со своей верой в общепринятое. Кто он таков, чтобы он оказался прав, а весь культурный мир не прав? Она попросту не воспринимала ни слов его, ни мыслей. Слишком прочно в ней укоренилось все общепринятое, чтобы сочувствовать его бунтарским взглядам. Она с самого детства слушала музыку, с самого детства любила оперу, и в ее окружении все любили оперу. Так по какому же праву приходит Мартин Иден, который еще недавно только и слышал регтаймы да простонародные песенки, и судит о великой музыке? Руфь сердилась на него, и сейчас, идя рядом с ним, чувствовала себя оскорбленной. В лучшем случае, если уж быть очень снисходительной, она, пожалуй, готова счесть его утверждения капризом, нелепой и неуместной выходкой. Но когда у дверей ее дома он на прощанье обнял ее и нежно, влюбленно поцеловал, она все забыла в приливе любви к нему. И потом, в постели, никак не могла уснуть и сама себе удивлялась, не впервые за последнее время, как это она полюбила такого странного человека, и еще несмотря на неодобрение родных.

А назавтра Мартин Иден отложил ремесленную работу и в один присест отстучал эссе, которое назвал «Философия иллюзии». Наклеил марку, и рукопись отправилась в путь, но в последующие месяцы для нее потребовалось еще много марок и много раз суждено ей было пускаться в путь.

Мария Сильва была бедна и отлично знала все приметы бедности. Для Руфи слово «бедность» обозначало существование, лишенное каких-то удобств. Тем и ограничивалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин беден, и это связывалось для нее с юностью Линкольна, мистера Батлера и многих других, кто потом добился успеха. К тому же, сознавая, что бедным быть не сладко, она, как истинная дочь среднего сословия, преспокойно полагала, будто бедность благотворна, что, подобно острой шпоре, она подгоняет по пути к успеху всех и каждого, кроме безнадежных тупиц и вконец опустившихся бродяг. И потому, когда она узнала, что безденежье заставило Мартина заложить часы и пальто, она не встревожилась. Ее это даже обнадежило, значит, рано или поздно он поневоле опомнится и вынужден будет забросить свою писанину.

Руфь не видела по лицу Мартина, что он голодает, хотя он осунулся, похудел, а щеки, и прежде впалые, запали еще больше. Перемены в его лице ей даже нравились.. Ей казалось, это облагородило его, не стало избытка здоровой плоти и той животной силы, что одновременно и влекла ее, и внушала отвращение. Иногда она замечала необычный блеск его глаз и радовалась, ведь такой он больше походил на поэта и ученого – на того, кем хотел быть, кем хотела бы видеть его и она. Но Мария Сильва читала в его запавших щеках и горящих глазах совсем иную повесть, день за днем замечала в нем перемены, по ним узнавала, когда он без денег, а когда с деньгами. Она видела, как он ушел из дому в пальто, а вернулся раздетый, хотя день был холодный и промозглый, и сразу заметила, когда голодный блеск в глазах потух и уже не так западают щеки. Заметила она и когда не стало часов, а потом велосипеда, и всякий раз после этого у него прибывало сил.

Видела она и как не щадя себя он работает и по расходу керосина знала, что он засиживается за полночь. Работа! Мария понимала, он работает еще побольше, чем она сама, хотя работа его и другого сорта. И ее поразило открытие: чем меньше он ест, тем усиленней работает. Бывало, приметив, что он уже вовсе изголодался, она как бы между прочим посылала ему с кем-нибудь из своей ребятни только что испеченный хлеб, смущенно прикрываясь добродушным поддразниванием – тебе, мол, такой не испечь. А то пошлет с малышом миску горячего супу, а в душе спорит сама с собой, вправе ли обделять родную плоть и кровь. Мартин был ей благодарен, ведь он доподлинно знал жизнь бедняков и знал, уж если существует на свете милосердие, так это оно и есть.

Однажды, накормив свой выводок тем, что оставалось в доме, Мария истратила последние пятнадцать центов на бутыль дешевого вина. Мартин как раз зашел в кухню за водой, и она пригласила его выпить. Он от души выпил за ее здоровье, а она в ответ – за его. Потом она выпила за успех в его делах, а он – за то, чтобы Джеймс Грант все-таки объявился и заплатил ей за последнюю стирку. Джеймс Грант плотничал поденно, платил не очень исправно и задолжал Марии три доллара.

Оба, и Мария и Мартин, пили кислое молодое вино на голодный желудок, и оно тотчас ударило в голову. Такие во всем разные, они равно были одиноки в своей обездоленности, и, хотя обходили ее молчанием, она-то их и связывала. С изумлением Мария узнала, что он побывал на Азорах, где она жила до одиннадцати лет. И изумилась вдвойне, что он побывал на Гавайских островах, куда она переселилась с Азор вместе с родителями. А когда он сказал, что был на Мауи, на том самом острове, где она рассталась с девичеством и вышла замуж, да не один раз был, а дважды, ее изумлению не было границ. Она познакомилась с будущим своим мужем на Кахулави – Мартин и там был дважды! Да-да, она помнит пароходы, груженные

сахаром, и он на них и плавал – ну и ну, до чего тесен мир. А в Уилуку? Он и там был! Может, и надсмотрщика тамошней плантации знал? А как же, и не один стаканчик с ним опрокинул.

Так они предавались воспоминаниям и заливали голод молодым кислым вином. И Мартину будущее уже не казалось таким тусклым. Перед глазами маячил успех. Вот-вот ухватишь. Потом он вгляделся в изборожденное морщинами лицо сидящей перед ним женщины, замученной тяжким трудом, вспомнил ее супы и только что испеченный хлеб, и жаркая благодарность вспыхнула в нем, – вот бы ее облагодетельствовать!

– Мария! – воскликнул он вдруг. – Что бы тебе хотелось иметь?

Она поглядела на него озадаченно.

– Что бы тебе хотелось иметь прямо сейчас, сию минуту, если б было можно?

– Обувку всем ребятишкам, семь пар обувки.

– Будет тебе обувка, – провозгласил Мартин, и Мария серьезно кивнула; – Только я про то, что покрупней, есть у тебя желание покрупней?

Глаза у Марии блеснули веселым добродушием. Вон что, шутить с ней вздумал, а ведь с ней нынче мало кто шутит.

– Подумай хорошенько, – предупредил Мартин, когда она уже готова была ответить.

– Ладно, – сказала она. – Я подумала хорошенько. Хочу дом этот мой стал, совсем мой, и не платить аренда семь доллар в месяц.

– Будет тебе этот дом, – пообещал Мартин, – и очень скоро. А теперь скажи самое большое свое желание. Считаю, я господь бог, и чего ни пожелаешь, асе у тебя будет. Вот теперь говори, я слушаю.

Мария с важностью поразмыслила, спросила не вдруг, предостерегающе:

– Не испугаешься?

– Нет-нет, – засмеялся Мартин. – Не испугаюсь. Давай говори.

– Самый, самый большой, – предостерегла Мария.

– Вот и ладно. Выкладывай.

– Ну, тогда... – Как ребенок, она глубоко вздохнула и выговорила наконец заветнейшее, самое главное в жизни желание. – Я хочу молочный ранчо, хороший молочный ранчо. Много корова, много земля, много трава. Чтоб близко Сан-Леандро. Сан-Леандро мой сестра живет. Буду продавать молоко в Окленд. Будет много деньги. Джо и Ник не пасут корова. Они ходят школа. Время идет, идет, они станут хороший механик, работают железная дорога. Да, вот чего я хотел – молочный ранчо.

Мария замолчала, поглядела на Мартина, глаза ее весело блеснули.

– Будет тебе ранчо, – мигом ответил Мартин. Мария кивнула, учтиво прикоснулась губами к стакану вина и к дарителю дара, который ей, конечно же, вовек не получить. У Мартина доброе сердце, и она в сердце своем оценила его намерение так высоко, словно ей и вправду достался этот дар.

– Да, Мария, – продолжал Мартин. – Нику и Джо не придется разносить молоко, и все ребятишки пойдут в школу, и круглый год будут обуты. Молочная ферма будет первый сорт, со всем, что полагается. Будет и дом, и конюшня для лошадей, и, конечно, хлев. Будут и куры, и свиньи, и огород, и плодовые деревья, и все такое, и коров хватит, сможешь нанять работника, а то и двух. Тогда тебе делать ничего не придется, только присматривать за детьми. Да что тут говорить, найдется хороший человек, выйдешь замуж и станешь жить припеваючи, а он пускай заправляет делами на ранчо.

И щедро одарив ее из своего грядущего благополучия, Мартин взял свой единственный хороший костюм и отнес в заклад. Только от полной безвыходности он это сделал, – ведь тем самым он отрезал себе дорогу к Руфи. Другого сколько-нибудь приличного костюма у него не

было, и хотя в мясную лавку, в булочную, изредка даже к сестре ему было в чем пойти, явиться в такой потрепанной одежде к Морзам нечего было и думать...

Он все писал без роздыха, в упоении, почти потеряв надежду. Ему стало казаться, что и вторая битва проиграна, и придется идти служить. Тогда все будут довольны— бакалейщик, сестра, Руфь и даже Мария, которой он уже месяц должен за квартиру. За прокат машинки не плачено два месяца, и агентство требует либо денег, либо машинку. В отчаянии, почти готовый сдаться, заключить перемирие с судьбой, пока не соберется с силами для новой битвы, он решил держать экзамены на железнодорожного почтового служащего. К своему удивлению, он прошел первым. Место было обеспечено, но когда откроется вакансия, этого не знал никто.

И как раз теперь, когда положение стало хуже некуда, редакционная машина, всегда работавшая как часы, дала сбой. Выскочил, видно, винтик или смазка пересохла, а только однажды утром почтальон принес Мартину небольшой тонкий конверт. В левом верхнем углу стоял адрес редакции и название — «Трансконтинентальный ежемесячник». Сердце у него екнуло, он вдруг ощутил слабость, в глазах потемнело, странно задрожали коленки. Спотыкаясь, добрал он до своей комнаты, опустился на кровать, так и не распечатав конверт, и тут понял, как люди падают замертво, получив счастливое известие.

Конечно же, это счастливое известие. Рукописи в таком конвертике нет, значит, она принята к печати. Мартин помнил, какой рассказ посылал в «Трансконтинентальный ежемесячник». «Колокольный звон», один из «страшных рассказов», и в нем целых пять тысяч слов. А раз первоклассные журналы платят по одобрению, значит, в конверте чек. Два цента за слово— двадцать долларов за тысячу: чек должен быть на сто долларов. Сотня долларов! Вскрывая конверт, он мигом припомнил все свои долги: три доллара восемьдесят пять центов бакалейщику, мяснику ровно четыре, булочнику два, в зеленую пять, итого четырнадцать восемьдесят пять. Потом два пятьдесят за квартиру и еще два пятьдесят за месяц вперед, за два месяца за машинку— восемь долларов и еще за месяц вперед — четыре, итого тридцать один доллар восемьдесят пять центов. И наконец, по закладным плюс проценты ростовщику — часы пять с половиной долларов, пальто пять с половиной, велосипед семь долларов семьдесят пять центов, костюм пять с половиной (шестьдесят процентов ростовщику, но не все ли равно?)— общий итог пятьдесят шесть долларов десять центов. Он прямо видел эту сумму— сто долларов, — словно она была написана в воздухе огненными цифрами, и даже если вычесть все долги, он все равно богат: в кармане сорок три доллара девяносто центов. Да притом будет заплачено за месяц вперед за комнату и за машинку.

Между тем он вытащил из конверта единственный отпечатанный на машинке листок — письмо и развернул его. Чека не было. Мартин заглянул в конверт, посмотрел его на свет, но не поверил своим глазам и дрожащими от спешки пальцами разорвал конверт. Чека не было. Он прочел письмо, торопливо промчался глазами по строчкам, бегло просмотрел место, где редактор хвалил рассказ, — скорей, скорей к самой сути — почему не послан чек. Такого объяснения он не нашел, зато нашел нечто, отчего разом сник. Письмо выскользнуло из рук. Глаза потускнели, он откинулся на подушку, натянул на себя одеяло до самого подбородка.

Пять долларов за «Колокольный звон»— пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово, десять слов за цент! И ведь редактор похвалил рассказ! А чек он получит, когда рассказ будет напечатан. Значит, это все пустая болтовня, будто платят самое малое два цента за слово, и притом сразу, когда рассказ принят. Это враки, и его попросту провели. Знай он это, он бы и не начинал писать. Он пошел бы работать, работать ради Руфи. Он вспомнил день, когда впервые взялся за перо, и ужаснулся, столько потерял времени — и все ради цента за десять слов. Должно быть, все, что он читал о высоких денежных вознаграждениях писателям, тоже враки. Все эти полученные не из первых рук сведения о писательской профессии неверны, вот оно

доказательство.

Номер «Трансконтинентального ежемесячника» стоит двадцать пять центов, а его солидная разрисованная обложка – свидетельство, что это перворазрядный журнал. Достойный, почтенный журнал этот издается давно, с тех пор, когда Мартина, и на свете не было. И на обложке каждого номера из месяца в месяц слова одного великого писателя– сия звезда мировой литературы, чьи «блестки» впервые появились на этих самых страницах, возвещает, что «Трансконтинентальный ежемесячник» вдохновенно исполняет высокую миссию. И этот возвышенный, гордый, боговдохновенный ежемесячник платит пять долларов за пять тысяч слов! Великий писатель недавно умер за границей– помнится, в крайней нищете, чему же тут удивляться, если авторам так щедро платят.

Да, он попался на удочку, газеты ввали почем зря о писателях и их гонорах, и он потерял на этом два года. Но теперь он изрыгнет наживку. Больше он вовек не напишет ни строчки. Он сделает то, чего хотела от него Руфь, чего хотели все, – найдет место. Мысль, что надо поступить на службу, напомнила ему о Джо, Джо, который бродяжил и бездельничал в свое удовольствие. Мартин глубоко с завистью вздохнул. Он так вымотался за долгие дни, когда работал по девятнадцать часов в сутки. Да, но ведь Джо не любил и не было у него тех обязательств, что накладывает любовь, вот он и позволяет себе бездельничать. Ему же, Мартину, есть ради чего работать, и он будет работать. Завтра спозаранку отправится на поиски места. И даст знать Руфи, что исправился и готов служить у ее отца.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за цент– вот она, рыночная цена искусства! Какое разочарование, какая ложь, какой позор– он думал об этом непрестанно, а когда закрывал глаза, перед ним вспыхивали огненные цифры – 3 доллара 85 центов, долг бакалейщику. Его пробирала дрожь, болели все кости. Особенно донимала боль в пояснице. Болела голова – темя, затылок, самый мозг болел и, казалось, распухал, и лоб болел невыносимо. А ниже, под сомкнутыми веками, безжалостно горели цифры– 3,85 доллара. Он открыл глаза, чтобы не видеть их, но белый свет в комнате словно ожег глазные яблоки, и пришлось снова закрыть глаза, и снова загорелись 3,85.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за цент – мысль эта прочно засела в мозгу, и не мог он избавиться от нее, как не мог избавиться от цифры 3,85 под веками. Что-то менялось в цифре, он с любопытством следил, и вот уже на ее месте загорелась цифра 2. Вот оно что, подумал Мартин, это булочнику! Потом появились 2,5. Цифра озадачила, Мартин стал лихорадочно гадать, что же она означает, словно дело шло о жизни и смерти. Безусловно, он кому-то должен два пятьдесят, но кому? Властная злобная вселенная требовала, чтобы он нашел ответ, и в напрасных поисках он бродил по нескончаемым коридорам сознания, открывал загроможденные старой рухлядью чуланы и кладовки с обрывками всевозможных воспоминаний и сведений. Прошли века, и наконец легко, без труда, вспомнилось: это его долг Марии. С огромным облегчением Мартин обратился душой к мучителю-экрану под сомкнутыми веками. Задача решена, теперь можно отдохнуть. Но нет, 2,5 померкли, и на их месте вспыхнуло 8. А это кому? Опять предстоит безотрадный поход по закоулкам сознания в поисках ответа.

Долго ли он так бродил, Мартин не знал, но прошла, кажется, вечность, и он очнулся от стука в дверь, от голоса Марии, она спрашивала, не заболел ли он. Глухо, сам не узнавая своего голоса, он ответил, что просто задремал. С удивлением заметил, что в комнате темно, уже ночь. А письмо пришло в два часа дня, и тут он понял, что болен.

Под сомкнутыми веками опять медленно разгоралась цифра 8, и Мартин вернулся к три же каторге. Но он стал хитрый. Незачем ему бродить по закоулкам сознания. Дурак он был раньше. Он потянул рукоятку, и само сознание закрутилось вокруг него, чудовищное колесо судьбы,

карусель памяти, светило, что мчит по орбите мудрости. Быстрее, быстрее вращалось оно, и вот уже Мартина затянуло воронкой водоворота и швырнуло в кружащийся черный хаос.

Словно так и должно быть, он очутился у бельевого катка и подкладывал под него накрахмаленные манжеты. И тут заметил, на манжетах напечатаны цифры. Новая система метить белье, подумал он, но, взглядевшись, увидел на одной из манжет цифру 3,85. Счет бакалейщика, догадался Мартин, на барабане катка летают счета, не манжеты. Хитроумная догадка мелькнула у него. Он бросит счета на пол, и тогда не надо платить. Придуманно – сделано. Он злорадно комкает манжеты, кидает на чудовищно грязный пол. Груда все растет и растет, каждый счет повторяется тысячекратно, а вот счет на два пятьдесят – его долг Марии – встретился только раз. Значит, Мария не требует с него платы, и он великодушно решил, что только ей и заплатит; и среди груды на полу принялся искать ее счет. Он отчаянно искал сотни лет, и вдруг появился толстый голландец, управляющий гостиницей. Лицо его пылало гневом, и зычно, так, что разнеслось по вселенной, он заорал: «Я вычту стоимость манжет из твоего жалованья!» А манжет высилась уже не груда – гора, и Мартин понял: чтобы расплатиться, он обречен работать здесь тысячу лет. Что ж, только и оставалось прикончить управляющего и сжечь прачечную. Но здоровущий голландец опередил его – схватил за шиворот и принялся дергать, как марионетку, вверх-вниз. Поволок над гладильными досками, над плитами и катками в прачечную, над прессом для отжимки белья, над стиральной машиной. Мартин все двигался вверх-вниз, у него застучали зубы, разболелась голова и он только диву давался, откуда у голландца такая сила.

И опять он очутился перед катком, теперь он принимал манжеты, которые с другой стороны подкладывал редактор какого-то журнала. Каждая манжета была чеком, в лихорадочном ожидании Мартин проглядывал их, но бланки не были заполнены. Миллион лет стоял Мартин и принимал чистые бланки и ни одного не упускал, боялся прозевать заполненный. И наконец такой нашелся. Трясущимися руками Мартин поднес его к свету. На пять долларов. «Ха-ха-ха!» – засмеялся редактор по ту сторону катка. «Что ж, тогда я тебя убью», – сказал Мартин. Вышел в прачечную за топором и видит, Джо крахмалит рукописи. Мартин попытался остановить его, замахнулся топором. Но топор повис в воздухе, а Мартин вновь оказался в гладильне, и вокруг бушевала метель. Нет, это не снег валил, а чеки на крупные суммы, каждый не меньше чем на тысячу долларов. Мартин принялся их подбирать, и разбирал, и складывал в пачки по сто штук, и каждую пачку надежно перевязывал.

Поднял он глаза от этой работы и видит: стоит перед ним Джо и жонглирует утюгами, крахмальными сорочками и рукописями. И то и дело берет и подкидывает еще и пачку чеков, и все это пролетает сквозь крышу, описывает громадный круг и скрывается из виду. Мартин кинулся на Джо, но тот схватил топор и пустил его по летящему кругу. Потом оторвал Мартина от пола и швырнул туда же. Мартин пролетел сквозь крышу, хватаясь за рукописи, и, когда опустился, у него была их целая охапка. Но не успел опуститься, как опять его подкинуло, и второй раз, и третий, и снова, без числа, кругами вверх и вниз. А где-то вдалеке детский тоненький голосок напевал: «Закружи меня в вальсе, мой Билли, все кругом, и кругом, и кругом».

Он схватил топор посреди Млечного Пути из чеков, крахмальных сорочек и рукописей и собрался, как только окажется на земле, убить Джо. Но на землю он не вернулся. Вместо этого в два часа ночи Мария слышала через тонкую перегородку его стоны, вошла к нему в комнату и принялась согревать его горячими утюгами и прикладывать влажные тряпки к измученным болью глазам.

Утром Мартин Иден не пошел искать работу. Было уже за полдень, когда он опамятовался и обвел взглядом комнату, глаза все еще болели. Восемилетняя Мэри, одна из семейства Сильва, которая несла подле него вахту, увидела, что он очнулся, и пронзительно закричала. Из кухни поспешно вошла Мария. Приложила натруженную руку к горячему лбу Мартина, пощупала пульс.

– Ты поесть будешь? – спросила она. Мартин помотал головой. Что-что, а есть ему вовсе не хотелось, даже странно, неужели он – когда-нибудь бывал голоден.

– Я болен, Мария. – слабым голосом сказал он. – Что это со мной? Не знаешь?

– Грипп, – ответила она. – Через два, через три дня проходит. Сейчас лучше не ешь. После много можно есть, завтра можно.

Мартин не привык болеть и, когда Мария с дочкой вышли, попробовал встать и одеться. Огромным усилием воли – голова кружилась, а глаза так болели, что трудно было держать их открытыми, – он ухитрился подняться с кровати, но тут же в изнеможении повалился на стол. Полчаса спустя он ухитрился опять лечь в постель, и только и мог, что лежать, не открывая глаз, прислушиваться к болям и слабости. Несколько раз входила Мария, сменяла холодный компресс на голове. Но больше ничем не тревожила, у нее хватало мудрости не донимать его болтовней. И он, благодарный, бормотал про себя:

– Будет тебе молочное ранчо, Мария, будет, будет.

Потом вспомнился уже отошедший в далекое прошлое вчерашний день. Казалось, с тех пор как он получил письмо из «Трансконтинентального», прошла целая жизнь, целая жизнь прошла с тех пор, как он покончил со всем прежним и начал новую страницу. Он из кожи вон лез и вот лежит поверженный. Не замори он себя голодом, ему бы никакой грипп нипочем. Он ослабел, и у него не хватило сил перебороть микроб болезни, который проник в его кровь. И вот что получилось.

– Что толку написать целую библиотеку и умереть? – спросил он вслух. – Меня это не устраивает. Хватит с меня литературы. Я – за бухгалтерию, за конторские книги, и за ежемесячное жалованье, и за скромный домик для нас с Руфью.

Два дня спустя, съев яйцо с двумя гренками и выпив чашку чаю, он спросил, какие ему пришли письма, но оказалось, читать он еще не может – слишком болят глаза.

– Прочти мне, Мария, – попросил он. – Большие длинные конверты не надо. Кидай их под стол. Прочти мне маленькие письма.

– Не знаю читать, – был ответ. – Тереза знает, она ходит в школа.

Итак, Тереза Сильва, девяти лет от роду, вскрыла письма и принялась читать их Мартину. Он рассеянно слушал длинейшее требование от агентства проката оплатить пользование машинкой, а сам ломал голову над тем, как найти работу. И вдруг не поверил своим ушам, прислушался.

– «Мы предлагаем вам сорок долларов за право серийного выпуска Вашей повести, – медленно по складам читала Тереза, – при условии, что вы согласитесь с предложенными поправками».

– Какой это журнал? – крикнул Мартин. – Дай-ка сюда.

Он мог читать и уже не чувствовал боли. Сорок долларов предлагала «Белая мышь», рассказ назывался «Водоворот», тоже один из ранних «страшных рассказов» прочел письмо от начала до конца, еще раз и еще. Редактор прямо писал, что с идеей повести он, Мартин, не справился, но сама идея оригинальна и ради нее они и покупают повесть. Если он разрешает сократить ее

на треть, они по получении ответа вышлют ему сорок долларов.

Мартин попросил перо и чернила и написал редактору, что тот, если угодно, может сократить хоть на три трети и пускай сразу шлет сорок долларов.

Тереза отнесла письмо в почтовый ящик, а Мартин лег и задумался. Значит, это все же не враки. «Белая мышь» платит по одобрению. В «Водовороте» три тысячи слов. Отнять треть, получается две тысячи. При сорока долларах получается два цента за слово. Платят по одобрению и по два цента за слово – газеты писали правду. А он-то думал, «Белая мышь» третьесортный журнальчик! Выходит, он не разбирается в журналах. Он воображал, будто «Трансконтинентальный» первоклассный журнал, а он платит цент за десять слов. «Белую мышь» он ни во что не ставил, а она платит в двадцать раз больше «Трансконтинентального», и платит по одобрению.

Что ж, одно ясно: когда он выздоровеет, он не пойдет искать работу. У него в голове полно рассказов ничуть не хуже «Водоворота», и при сорока долларах за штуку можно заработать куда больше, чем на любом месте при любой должности. Он уже подумал, что битва проиграна, а она выиграна. Правота избранного пути доказана. Дальше все ясно. «Белая мышь» – только начало, теперь он будет завоевывать журнал за журналом. Работу ради денег побоку. Правду сказать, это была пустая трата времени, поделки не принесли ему ни гроша. Он посвятит себя работе, настоящей работе, будет изливаться все лучшее, что в нем есть. Вот если бы Руфь была здесь и могла разделить его радость... Просмотрев оставленную на постели почту, он нашел письмецо и от нее. Руфь нежно упрекала его не понимая, почему он так надолго исчез. Мартин с обожанием перечитывал письмо, любовался ее почерком, каждой буквой, и наконец поцеловал ее подпись.

А в ответном письме он бесстрашно признался, что не бывал у нее оттого, что заложил свой лучший костюм. Написал, что был болен, но уже почти поправился и дней через десять – пятнадцать (как только обернется письмо в Нью-Йорк и обратно) выкупит костюм и примчится к ней.

Но Руфь не пожелала ждать десять, а то и пятнадцать дней. Да еще когда возлюбленный болен. На завтра же среди дня она приехала в сопровождении Артура в экипаже Морзов, к неопишущему восторгу всего выводка Сильва и всех соседских мальчишек и к ужасу Марии. Она надавала тумачков своим отпрыскам, тесно обступившим приезжих на крохотном крыльце, и, совсем уже несусветно коверкая слова, старалась извиниться за свой вид. Закатанные рукава, руки в мыльной пене, намокшая грубая мешковина, повязанная вместо фартука, говорили яснее ясного, за каким занятием ее застали. Ее постояльца спрашивали двое таких важных господ, что она совсем разволновалась и забыла пригласить их в крохотную гостиную. Направляясь в комнату Мартина, они прошли через кухню, черную, полную сырости и пара, оттого что в разгаре была большая стирка. Мария, суется, нечаянно задела дверь к Мартину дверью кладовки, и долгие пять минут через эту приоткрытую дверь в комнату больного врывались клубы пара, запах мыльной пены и грязного белья.

Руфь искусно славировала вправо, влево, опять вправо и между столом и кроватью протиснулась к Мартину; но Артур повернул слишком круто, и в углу, где Мартин стряпал, зазвенела и загремела кухонная утварь. Артур не задержался в комнатухе. Руфь заняла единственный стул, брат же, исполнив свой долг, вышел на улицу и стал у ворот, а семеро маленьких Сильва окружили его и глазели, как на чудо-юдо в ярмарочном балагане. Экипаж обступила толпа ребятни из всех соседних кварталов, жадно предвкушая какую-нибудь трагическую развязку. На этой улице экипажи появлялись только по случаю свадеб и похорон, а сейчас никто не женился и не умер, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее и стоит подождать.

За долгий срок Мартин отчаянно истосковался по Руфи. Природа наделила его любящим

сердцем, и он, как мало кто, нуждался в сочувствии. Он изголодался по сочувствию, что означало для него полное, глубокое понимание; но ему еще предстояло узнать, что Руфь способна сочувствовать больше из жалости и деликатности, свойственным ее мягкому характеру, и очень мало понимает того, кому сочувствует. И пока Мартин сжимал ее руку и радостно говорил, любовь к нему заставила ее ответно сжать ему руку, а при виде его беспомощности, при виде следов страданий на лице глаза ее увлажнились и засветились нежностью.

Но когда он рассказывал о двух письмах от издателей, о том, в какое отчаяние привело его письмо из «Трансконтинентального» и в какой восторг – известие от «Белой мыши», Руфь не прислушивалась к нему. Она слышала его слова и понимала их буквальный смысл, но не была с ним, не разделяла ни его отчаяния, ни восторга. Она оставалась верна себе. Судьба рассказов ее не интересовала. Ее интересовало другое – их брак. Впрочем, она не сознавала этого, как не сознавала, что хочет заставить Мартина служить, потому что инстинктивно готовится к материнству. Если бы ей сказали об этом прямо, назвав все своими именами, она бы покраснела от смущения, а потом возмутилась бы и стала утверждать, что лишь заботится о любимом человеке и хочет, чтобы он сделал блестящую карьеру. И пока Мартин изливал ей душу, в восторге от первого успеха на выбранном пути, она едва слышала его, а сама то и дело озиралась, потрясенная тем, что видит.

Впервые в жизни смотрела Руфь в убогое лицо бедности. Голодающий возлюбленный – ей всегда казалось, это так романтично, но она понятия не имела, как живут голодающие, возлюбленные. Ничего похожего ей и не снилось. Она оглядывала комнату, переводила взгляд на Мартина и снова оглядывалась по сторонам. Парной запах грязного белья, который ворвался из кухни с ее приходом, вызывал тошноту. Если эта ужасная, женщина часто стирает, Мартин, наверно, весь пропитался этим запахом. Ведь низменное заразительно. Она смотрела на Мартина и, кажется, уже различала на нем позорный след окружающей обстановки. Впервые она видела его небритым, и трехдневная щетина была ей отвратительна. Это не только делало его таким же мрачным, нечистым, как домишко Сильва снаружи и изнутри, но, казалось, подчеркивало в нем животную силу, так ненавистную Руфи. И вот пожалуйста, два его рассказа одобрены, он с такой гордостью об этом говорит, он окончательно утвердился в своем безумии. Еще немного, и он сдался бы и пошел служить. Теперь же он останется в этом мерзком доме и еще не один месяц будет писать и голодать.

– Чем тут пахнет? – вдруг спросила, Руфь.

– Наверное, Марииной стиркой, – был ответ. – Я уже начинаю привыкать к этим запахам.

– Нет-нет, не то. Чем-то другим. Чем-то затхлым, тошнотворным.

Мартин потянул носом воздух.

– Ничего не чувствую, разве что застоявшийся табачный дым, – – сказал он.

– Вот-вот. Это ужас. Почему ты так много куришь, Мартин?

– Не знаю, пожалуй, больше обычного курю, когда мне одиноко. А потом, знаешь, это такая давняя привычка. Я приучился к куреву еще мальчишкой.

– По-моему, довольно гадкая привычка, – упрекнула Руфь.

– Можно задохнуться, прямо как в аду.

– Это табак виноват. Мне по карману только самый дешевый. Но вот погоди, придет чек на сорок долларов. Тогда стану курить такой, что и ангелам покажется вроде ладана. Но ведь правда неплохо, две одобренных рукописи за три дня? Эти сорок пять долларов покроют почти все мои долги.

– Сорок пять долларов за два года работы? – усомнилась Руфь.

– Нет, меньше чем за неделю работы. Передай мне, пожалуйста, книгу с того края стола,

конторскую книгу в серой обложке. – Мартин раскрыл книгу и стал быстро листать. – Да, верно. «Колокольный звон» за четыре дня, «Водоворот» за два дня. Выходит сорок пять долларов за неделю работы, сто восемьдесят долларов в месяц. Такого жалования мне нигде не получить. А я ведь только начинаю. Я хочу, чтобы у тебя столько всего было, на это и тысячи долларов в месяц не слишком много. А пятьсот долларов жалования и вовсе мало. Эти сорок пять долларов только пар-ый шаг. То ли будет, когда возьмусь за дело всерьез. Вот тогда увидишь, поддам тогда пару.

Руфь не поняла моряцкого оборота и опять заговорила о курении.

– У тебя и так слишком надымлено, и дело не в сорте табака. Неприятен не сорт табака, неприятно, что ты куришь. Ты дымоход, действующий вулкан, ходячая дымовая труба, это ужасно, Мартин, милый, ты сам знаешь.

Она наклонилась к нему, посмотрела умоляюще, и глядя на ее нежное лицо, в чистые ясные глаза, он вдруг, как бывало, ощутил, что недостоеин ее.

– Мне так хочется, чтобы ты больше не курил, – прошептала она. – Ну пожалуйста... ради меня.

– Ладно, брошу, – воскликнул Мартин. – Любимая моя, я сделаю все, что ни попросишь, ты же знаешь.

Огромное искушение вдруг овладело Руфью. Мгновенно открылось ей, как может он быть широк, уступчив, и поверилось: попроси она, и он бросит писать, лишь бы исполнить ее волю. Слова уже готовы были сорваться с ее губ. Но она их не произнесла. Ей не хватило храбрости, она не посмела. Вместо этого она потянулась ему навстречу и в его объятиях прошептала:

– На самом деле это ведь не ради меня, Мартин, но ради тебя самого. Я уверена, тебе вредно курить, и потом, что хорошего быть рабом чего-то, тем более рабом наркотика.

– Я всегда буду твоим рабом, – с улыбкой сказал Мартин.

– В таком случае я начинаю повелевать. Она бросила на него лукавый взгляд, хотя в глубине души жалела уже, что не высказала самое главное свое пожелание.

– Монаршьё слово для меня закон.

– Что ж, тогда вот мое первое пожелание: памятуй о бритье ежедневном. Посмотри, ты оцарапал мне щеку.

Итак, все свелось к нежным объятиям и шуткам. Но кое-чего Руфь добилась, а добиться всего сразу она и не надеялась. Ее женскому самолюбию льстило, что она уговорила Мартина бросить курить. В следующий раз она убедит его пойти служить – разве не сказал он, что сделает все, о чем она ни попросит.

Она поднялась и обошла комнату, осмотрела натянутые над головой бельевые веревки с висящими на них заметками, поинтересовалась загадочным приспособлением на потолке, к которому подвешен велосипед, с грустью поглядела на груды рукописей под столом – сколько же времени потрачено впустую... Керосинка привела ее в восторг, но, проверив полки для провизии, она убедилась, что они пусты.

– Бедный ты мой, да у тебя здесь нет никакой еды, – с кроткой жалостью сказала она. – Ты же голодаешь.

– Я держу провизию у Марии в шкафу и в холодном чулане,

– солгал Мартин. – Там все лучше сохраняется. С голоду я не помру. Вот посмотри-ка!

Руфь подошла к нему, он согнул руку в локте, и она увидела, как под рукавом рубашки тугим, твердым бугром напряжились мускулы. Зрелище это было ей неприятно. Оно оскорбляло ее чувства. Но плоть ее, все существо, каждая клеточка стремились к этой силе, томились по ней, и, чем бы отшатнуться от Мартина, она опять, сама не зная как, потянулась к нему. И в следующий миг, когда Мартин сжал ее в объятиях, ее рассудок, такой далекий от

глубин жизни, вознегодовал, а сердце, женское сердце, которому ведома сама суть жизни, торжествовало и ликovalo. Вот в такие минуты Руфь особенно остро ощущала безмерную любовь к Мартину – когда его сильные руки обнимали ее и крепко сжимали, стискивали жарко, до боли, она едва не теряла сознание от наслажденья. В такие минуты казалось: все оправдано – что она предаёт общепризнанные правила, оскверняет свои высокие идеалы, а главное, молчаливо нарушает волю родителей. Они ведь не хотят, чтобы она вышла замуж за этого человека. Их возмущает ее любовь к нему. И сама Руфь – та спокойная, благоразумная Руфь, какой она становится вдали от Мартина, – порой возмущается этой своей любовью. А рядом с Мартином она его любит – подчас, правда, любовью досадливой, тревожной, но все равно это любовь, и любовь сильнее ее.

– Грипп – пустяки, – говорил Мартин. – Малость помучил, и голова изрядно болела, но с тропической лихорадкой никакого сравненья.

– А у тебя и тропическая лихорадка была? – рассеянно спросила Руфь, поглощенная блаженным чувством, которое испытывала в его объятиях.

Вот так рассеянно она задавала ему вопросы, и он рассказывал, и вдруг слова Мартина ее испугали.

Тропической лихорадкой он болел в тайной колонии тридцати прокаженных на Гавайских островах.

– Да как же ты там оказался? – возмутилась она.

Такая великолепная беспечность, когда речь идет о здоровье, – едва ли не преступление.

– А я ничего не знал, – ответил Мартин. – Понятия не имел, что там проказа. Я сбежал с корабля, выбрался на остров и двинулся подальше от берега, хотел укрыться понадежнее. Три дня кормился плодами гуавы, малайскими яблоками, да бананами, всем, что найдется в джунглях. На четвертый день набрел на тропу, на узенькую тропинку. Она вела в глубь острова, в гору. Как раз туда, куда я держал путь, и видно было, что по ней недавно прошли. В одном месте она шла по гребню горного кряжа, узкому, как лезвие ножа. На самом гребне ширина тропинки была меньше трех футов, а по обе стороны – пропасть в несколько сот футов глубиной. Если иметь вдоволь патронов, там можно защищаться одному против сотни тысяч.

Это был единственный путь в глубь острова, где я хотел укрыться. Через три часа я вышел по этой тропе в маленькую горную долину, в выемку, что образовалась среди выступов застывшей лавы. Долина была возделана, рядами росли таро и плодовые деревья, и стояло с десятков хижин. Но едва я увидел жителей, я понял, куда меня занесло. Хватило одного взгляда.

– Что же ты сделал? – задохнувшись от волнения, спросила Руфь; как всякая Дездемона, она слушала испуганная и зачарованная.

– А что было делать? Их вождем оказался добрый старик, болезнь у него зашла уже далеко, но правил он как король. Это он нашел долину и основал поселок – что противозаконно. Но у него были ружья и сколько угодно патронов, а канаки ведь привыкли охотиться на диких коз и диких свиней и стреляют без промаха. Нет, Мартину Идену было не убежать оттуда. Он остался и прожил там три месяца.

– Но как же ты спасся?

– Я бы и по сей день торчал там, если бы не одна тамошняя девушка – наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка. Бедняжка, она была красавица, и притом образованная. Дочь одной богатой женщины из Гонолулу, чуть ли не миллионерши. Ну, и эта девушка наконец меня вызволила. Понимаешь, ее мать давала деньги тому поселку, и девушка не боялась, что ее за меня накажут. Только сперва взяла с меня клятву, что я вовек не выдам их убежище, и я не выдал. Никогда и никому и словом не обмолвился, тебе первой говорю. У девушки были только самые начальные признаки проказы. Немного скрючены пальцы правой

руки да пятнышко у локтя. И все. Сейчас ее, наверно, уже нет в живых.

– Неужели ты не боялся? И как, наверное, рад был, что выбрался, не заразился этой ужасной болезнью?

– Ну, поначалу я малость трусил, – признался Мартин, – а потом привык. Да еще очень жалел ту несчастную девушку. И оттого забывал о страхе. Так она была хороша, и душа прекрасная, и наружность, болезнь едва-едва коснулась ее, и все же она была обречена оставаться там и жить, как живут дикари, и медленно гнить заживо. Проказа куда ужаснее, чем можно себе представить.

– Бедняжка, – тихонько прошептала Руфь. – Удивительно, что она тебя отпустила.

– Почему же удивительно? – не понял Мартин.

– Ведь она, должно быть, любила тебя, – все так же негромко сказала Руфь. – Скажи откровенно, любила?

За время работы в прачечной и долгого затворничества загар Мартина слинял, а от голода и болезни он побледнел еще больше, но сейчас по бледному лицу медленно разлилась краска. Он открыл было рот, но Руфь не дала ему заговорить.

– Неважно, не трудись отвечать. Это совершенно лишнее,

– со смехом сказала она.

Но в ее смехе Мартину послышался металл, а глаза блеснули холодно. И ему вдруг вспомнился штормовой ветер, что налетел однажды на севере Тихого океана. Перед глазами возникла та ночь, ясное небо, полнолуние, и в лунном свете холодно блестят могучие валы. Потом он увидел ту девушку из убежища прокаженных и вспомнил: да, она полюбила его и оттого дала ему уйти.

– Она была благородна, – сказал он просто. – Она спасла мне жизнь.

Ничего больше не было сказано, но Мартин услышал приглушенный, без слез всхлип Руфи, она отвернулась, долго смотрела в окно. А когда вновь обернулась к нему, лицо было уже спокойное, и в глазах не было холодного отблеска бури.

– Я такая глупая, – грустно сказала она. – Но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю тебя, Мартин, очень люблю, очень. Со временем я стану терпимей; а пока просто не могу иначе, я ревную к призракам прошлого, ведь твое прошлое полно призраков.

Он хотел было возразить, она ему не позволила.

– Да, это так, по-другому быть не может. И вон бедняга Артур машет мне, пора ехать. Он устал ждать. А теперь до свиданья, милый.

– В аптеках есть какое-то снадобье, которое помогает бросить курить, – прибавила Руфь уже от двери. – Я пришлю тебе.

Дверь закрылась и тотчас отворилась опять.

– Люблю, люблю, – прошептала Руфь и на этот раз действительно ушла.

Мария, глядя на Руфь с благоговением, что не помешало ей заметить и качество материи на платье и его крой (невиданный в этом квартале крой необычайной красоты), проводила гостью до экипажа. Толпа разочарованных мальчишек глядела вслед экипажу, пока он не скрылся из виду, и тогда все уставились на Марию, которая вдруг стала самой выдающейся личностью на всей улице. Но один из ее же отпрысков положил конец торжеству матери – объявил, что важные господа приезжали не к ней, а к постояльцу. И мимолетная слава Марии угасла, зато Мартин стал замечать, что окрестные жители – все народ скромный – взирают на него почтительно. Что до Марии, ее уважение к Мартину возросло невероятно, а будь свидетелем приезда господ в экипаже португалец-бакалейщик, он наверняка открыл бы Мартину кредит еще на три доллара восемьдесят пять центов.

Мартину засияло солнце удачи. Назавтра после приезда Руфи он получил чек на три доллара из нью-йоркского бульварного еженедельника в уплату за три своих триолета. Еще через два дня некая чикагская газета приняла его «Охотников за сокровищами» и пообещала по напечатании заплатить десять долларов. Цена невелика, но то были первые написанные им страницы, самая первая попытка высказать свою мысль на бумаге. И ко всему на той же неделе приключенческая повесть для мальчиков, его второй опыт, была принята ежемесячником для юношества под названием «Юность и время». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а предложили за нее шестнадцать долларов по выходе в свет, иначе говоря, примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, но правда и другое: ведь это всего лишь вторая попытка Мартина и теперь он сам прекрасно понимал, что повесть слабая и неуклюжая.

Но неуклюжесть даже ранних его опытов не была неуклюжестью посредственности. Их отличала неуклюжесть чрезмерной силы – та самая, что выдает новичка, который бьет из пушек по воробьям и на комара замахивается дубинкой. И Мартин рад был продать эти первые пробы пера хоть за бесценок. Он понимал, насколько они слабы, – это он понял очень быстро. Но он твердо верил в свои позднейшие работы. Он стремился стать не просто поставщиком журнальной беллетристики. Он старался овладеть всеми тонкостями мастерства. Однако силой он не жертвовал. Сила его росла как раз потому, что он сознательно ее сдерживал. И не отступал от того, чем больше всего дорожил, – от правды жизни. Он был реалист, хотя делал все, чтобы пронизать реализм красотой, которую дарит воображение. Он стремился к реализму страстному, пронизанному мечтой и верой. Он хотел изображать жизнь такой, как она есть, со всеми ее духовными исканиями и всем тем, что задевает душу.

Читая книги и журналы, он заметил, что есть две литературные школы. Для одних авторов человек-бог, и они забывают о его земном происхождении, а для других он – скот, эти забывают о его высоких помыслах, великих духовных возможностях. Обе школы и божественная и земная, по мнению Мартина, ошибаются, и повинна в этом узость взглядов и задач. Должно быть, правда где-то посередине, – правда, не слишком лестная для тех, кто видит в человеке лишь божественное начало, но опровергающая тех, кто замечает в нем лишь начало плотское, скотское. Мартин считал, что в рассказе «Приключение», который когда-то показался Руфи незначительным, он достиг наибольшей для беллетристики степени правды; а в эссе «Божественное и скотское» он прямо высказал и обобщил свои взгляды.

Но «Приключение» и все его лучшие, по мнению самого Мартина, работы все еще стучались в двери редакций. Ранние опыты лишь тем были хороши в глазах Мартина, что принесли какие-то деньги, и «страшные» рассказы, два из которых были куплены, он тоже вовсе не считал настоящей литературой и лучшим среди написанного. Ведь это была откровенная выдумка, фантазия, хотя и сдобренная очарованием живой жизни, в чем и таилась сила этих рассказов. Преувеличенное и невероятное он обрядил в реальные одежды и считал это фокусом, пусть даже ловким фокусом. С истинной литературой это несовместимо. Написаны оба рассказа искусно, но Мартин ни во что не ставил искусство, лишенное человечности. Фокус заключался в том, чтобы искусство автора выдать за человеческое чувство, и это удалось в полдюжине «страшных» рассказов, которые он написал до того, как поднялся до «Приключения», «Радости» и «Вина жизни».

Три доллара, полученные за триолеты, помогли Мартину продержаться, пока не пришел чек из «Белой мыши». Первый чек он разменял у недоверчивого португальца-бакалейщика, заплатив доллар в счет своего долга, а оставшиеся два доллара разделил между булочником и

хозяином зеленой лавки. Он еще не настолько разбогател, чтобы купить мяса, и, дожидаясь чека из «Белой мыши», сидел впроголодь. Не сразу Мартин решил, как этот чек разменять. Никогда еще он не был в банке, тем более по делу, и на него напало наивное, ребяческое желание зайти в один из больших оклендских банков, небрежно кинуть чек и получить сорок долларов наличными. Однако практический здравый смысл подсказывал разменять чек у бакалейщика и тем самым поднять веру в свою кредитоспособность. Мартин нехотя покорился доводам в пользу бакалейщика, заплатил ему сполна и получил сдачи звонкой монетой. Расплатился он и с другими лавочниками, выкупил костюм и велосипед, заплатил за месяц пользования машинкой, заплатил Марии за просроченный месяц и за месяц вперед. И осталось у него в кармане на случай непредвиденных расходов еще почти три доллара.

Пустячная сумма эта казалась Мартину настоящим богатством. Едва получив назад костюм, он пошел повидать Руфь и по дороге не мог удержаться, позвякивал горсткой серебра в кармане. Так долго он был без гроша, что, подобно спасенному от голодной смерти, который не в силах отвести глаза от оставшейся на столе пищи, Мартин не мог выпустить из рук серебро. Он не был ни скуп, ни жаден, но деньги значили для него больше, чем столько-то долларов и центов. Они означали успех, и оттиснутые на монетах орлы олицетворяли для него крылатую победу.

Оказывается, мир удивительно хорош. В глазах Мартина он и вправду стал прекраснее. Долгие недели то был тусклый, сумрачный мир, а теперь, когда почти все долги заплачены и в кармане позвякивают три доллара, а голова полна сознанием успеха, оказалось, солнце ярко светит и греет и даже внезапный дождь, что застиг прохожих врасплох и промочил до нитки, Мартина только развеселил? Когда он голодал, он часто раздумывал о голодных, которых в мире тысячи, но теперь, наевшись досыта, уже не обременял себя мыслями о том, что в мире тысячи голодных. Он забыл про них и, страстно влюбленный, вспомнил о влюбленных, которым в мире счету нет. Сами собой зазвучали строки любовной лирики. Увлеченный творческим порывом, он прозевал нужную остановку, проехал трамваем два лишних квартала и вовсе не почувствовал досады.

У Морзов он застал много народу. В доме гостили две двоюродные сестры Руфи из Сан-Рафаэля, и под предлогом, что их надо развлекать, миссис Морз, как задумала раньше, старалась окружить Руфь молодыми людьми. Кампания началась во время вынужденного отсутствия Мартина и сейчас была в разгаре. Миссис Морз порешила приглашать людей деловых, серьезных. Итак, когда пришел Мартин, там кроме сестриц Дороти и Флоренс были два университетских профессора, один был латинист, другой специалист по английской филологии; молодой офицер, только что возвратившийся с Филиппин, в прошлом школьный товарищ Руфи; некто Мелвил, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы сан-францисского страхового общества; и, наконец, всамделишный банковский кассир, Чарльз Хэпгуд, моложавый человек тридцати пяти лет, питомец Станфордского университета, член Нильского клуба и клуба «Единство» и осмотрительный оратор, во время выборной кампании выступающий за республиканскую партию, – иными словами, во всех отношениях многообещающий молодой человек. Среди женщин одна писала портреты, другая была профессиональная музыкантша, и еще одна со степенью доктора социологии, известная во всем штате представительница благотворительной организации, опекающей трущобы Сан-Франциско. Но в планах миссис Морз женщины значили не так уж много. В лучшем случае они служили необходимым дополнением. Надо же как-то привлечь в дом деловых серьезных мужчин.

– Когда разговариваешь, не горячись, – предостерегла Руфь Мартина перед тем, как началось тяжкое испытание знакомства.

Поначалу Мартин держался довольно скованно, его угнетала собственная неуклюжесть,

особенно он боялся, как когда-то, своротить плечом мебель или задеть безделушку. К тому же его смущало это общество. Никогда еще он не бывал в таком избранном обществе, тем более в таком многочисленном. Больше всех его заинтересовал банковский кассир Хэпгуд, и Мартин решил при первой же возможности разобраться, что это за человек. Ибо хоть Мартин и робел и относился к этим людям с почтением, он был уверен в себе и ему необходимо было помериться с ними силами, понять, что же они узнали из книг и из жизни, чего не знает он.

Руфь опять и опять поглядывала на Мартина, проверяя, каково ему в обществе, и с удивлением и радостью убедилась, что с ее кузинами он держится легко и непринужденно. Он и правда не волновался – стоило ему сестры, и он уже не беспокоился, что невзначай своротит что-нибудь плечом. Двоюродных сестер Руфь считала неглупыми, по-своему остроумными, и никак не могла понять, почему позднее, перед сном, они так расхваливали Мартина. Он же, среди своих известный остряк и весельчак, душа общества на всех танцульках и воскресных пикниках, и в новом окружении довольно легко развеселился и стал сыпать добродушными шуточками. А в этот вечер подле него стояла удача, и похлопывала по плечу, и говорила, что он делает успехи, – и можно было смеяться и смешить и не смущаться.

Но позднее опасения Руфи оправдались, Мартин и профессор Колдуэл отошли в сторону и оказались у всех на виду, и, хотя Мартин теперь не размахивал руками, Руфь с неудовольствием заметила, что он слишком возбужден, слишком блестят и сверкают у него глаза, слишком быстро, горячо, слишком напористо он говорит, не сдерживается и кровь уже прихлынула к щекам. Не хватает ему воспитанности и самообладания, в этом он прямая противоположность молодому профессору английской филологии, с которым у него завязался разговор.

Но что Мартину приличия! Он тотчас отметил тренированный ум собеседника, оценил его широкую образованность. И вдобавок профессор Колдуэл оказался совсем не такой, каким Мартин представлял себе рядового английского филолога. Мартин непременно хотел вызвать того на профессиональный разговор. Колдуэл поначалу противился, но Мартин все-таки заставил его уступить: не понимал он, почему в гостях человек не должен разговаривать о своем деле.

– Нелепо это и несправедливо, – сказал он Руфи еще с месяц назад. – Почему не полагается разговаривать о своем деле? Чего ради людям встречаться друг с другом, если не обмениваться лучшим, что в них есть? А лучшее в них то, чем они интересуются, чем зарабатывают на жизнь, на чем специализируются, чем заняты день и ночь, что даже во сне им снится. Представь-ка, вдруг мистер Батлер, соблюдая этикет, примется излагать свое мнение о Поле Верлене, о немецкой драме или о романах д'Аннунцио. Да мы помрем со скуки. По мне, уж если надо слушать Батлера, пусть уж он рассуждает о своей юриспруденции. Это лучшее, что в нем есть, а жизнь коротка, и я хочу взять от каждого лучшее, что в нем есть.

– Но разве мало тем, которые интересуют всех? – возразила Руфь.

– Ошибаешься, – горячо возразил Мартин. – Все люди и все слои общества или, вернее, почти все люди и слои общества подражают тем, кто стоит выше. Ну, а кто в обществе стоит выше всех? Бездельники, богатые бездельники. Как правило, они не знают того, что знают люди, занятые каким-либо делом. Слушать разговоры о деле бездельникам скучно, вот они и определили, что это узкопрофессиональные разговоры и вести их в обществе, не годится. Они же определили, какие темы не узкопрофессиональные и о чем, стало быть, годится, беседовать: это новейшие оперы, новейшие романы, карты, бильярд, коктейли, автомобили, скачки, ловля форелей или голубого тунца, охота на крупного зверя, парусный спорт и прочее в том же роде, – и заметь, все это бездельники хорошо знают. По сути, это – узкопрофессиональные разговоры бездельников. И самое смешное, что многие умные люди или те, кто слышит умными людьми, позволяют бездельникам навязывать им свои дурацкие правила. А вот мне нужно от человека

лучшее, что в нем есть, и пусть меня обвиняют в пристрастии к узкопрофессиональным разговорам, в вульгарности, в чем угодно.

И Руфь тогда ничего не поняла. Нападки Мартина на общепринятое показались ей лишь своеобразием, вечно он упорствует в своих суждениях.

Итак, Мартин заразил профессора Колдуэла своей искренностью и вызвал на серьезный разговор. Подойдя к ним, Руфь услышала слова Мартина:

– С университетской кафедры вы, конечно, не проповедуете такую ересь?

Профессор Колдуэл пожал плечами.

– Как всякий честный налогоплательщик, я, знаете ли, политик. Сакраменто дает нам средства, а мы раболепствуем перед Сакраменто, и перед Попечительским советом университета, и перед нашей партийной прессой или перед прессой обеих партий.

– Ну да, ясно, но сами-то вы как? – гнул свое Мартин.

– Вы же там, наверно, как рыба без воды.

– Пожалуй, в университетском кругу таких, как я, немного. Временами я действительно чувствую себя рыбой, вытащенной из воды, понимаю, что место мне в Париже или среди пишущей братии, или в пещере отшельника, или среди вконец одичавшей богемы – попивал бы кларет, у нас в Сан-Франциско его называют итальянское красное, обедал бы в дешевых ресторанчиках Латинского квартала и громогласно излагал радикальнейшие взгляды на все сущее. Право, я нередко почти уверен, что рожден был радикалом. Но на свете слишком много такого, в чем я совсем не уверен. Я робею, когда остаюсь один на один со своей человеческой слабостью, ведь она мешает мне всесторонне осмыслить любой из вопросов – важнейших вопросов человеческого бытия.

Мартин слушал Колдуэла и вдруг поймал себя на том, что с губ его готова сорваться «Песнь пассата»:

Я в полдень сильней, Но всего верней При луне надуваю парус.

Слова так и просились на язык, и до Мартина дошло, что собеседник напоминает ему пассат, северо-восточный пассат, упорный, свежий и сильный. Спокойный человек, надежный, однако что-то в нем сбивает с толку. У Мартина было ощущение, что Колдуэл никогда не высказывается откровенно, до конца, как раньше нередко бывало ощущение, будто пассат никогда не дует в полную силу, всегда есть у него в запасе и еще силы, которые он никогда не пускает в ход. Живое воображение Мартина, как всегда, не дремало. Мозг его был словно богатая кладовая, где память хранила множество фактов и вымыслов, и доступ к ним всегда открытый, все в полном порядке, все к его услугам. В любую минуту, что бы ни случилось, Мартин мигом находил в своих запасниках контрастный или схожий образ. Получалось это само собой, и воображаемое неизменно сопровождало тому, что совершалось въяве. Как лицо Руфи в миг ревности вызвало перед глазами давно забытую картину шторма в лунную ночь, а беседуя с профессором Колдуэлом, Мартин снова увидел белые валы, гонимые северо-восточным пассатом по темно-лиловому океану, так минута за минутой вставали перед ним, всплывали перед глазами или возникали на экране сознания все новые образы-воспоминания, не сбивая с толку, но скорее помогая разобраться в настоящем. Образы эти – несчетное множество видений, рожденных то давними поступками или переживаниями, то книгами, то обстоятельствами, событиями вчерашнего дня или прошлой недели, – спал ли Мартин, бодрствовал ли, вечно толпились у него в памяти.

Так и сейчас, слушая непринужденные речи профессора Колдуэла – разговор умного, культурного человека, – Мартин все видел себя в прошлом. Вот он – настоящий хулиган, в шляпе с широкими полями и в двубортном пиджаке по шикарной моде городской окраины, и его мечта стать уж вовсе лихим парнем, да только из тех, кого еще не трогает полиция. Это

прошлое он не приукрашивает в собственных глазах, не думает отказываться от него. Да, одно время был он обыкновенный хулиган, вожак шайки, которая доставляла немало хлопот полиции и держала в страхе честный рабочий люд. Но мечты его изменились. Он оглядел гостиную, которую наполняли превосходно воспитанные, превосходно одетые мужчины и женщины, вдохнул дух культуры и утонченности, а меж тем по комнате заносчиво прошелся призрак ранней юности в шляпе с широкими полями и в двубортном пиджаке, лихой и бедовый. И этот хулиган с городской окраины растворился в нем, собеседнике настоящего университетского профессора.

Ведь, в сущности, никогда у него не было постоянного и прочного места в жизни. Он приходился ко двору везде, куда бы ни попал, всегда и везде оказывался общим любимцем, потому что в работе ли, в игре ли он оставался верен себе, всегда был готов и умел воевать за свои права и требовать уважения. Но нигде он не пустил корней. Им всюду были довольны те, кто рядом, но сам он вполне доволен не бывал. Не было в нем покоя, вечно что-то звало и манило его, и он скитался по жизни, сам не зная, чего ищет и откуда зов, пока не обрел книги, творчество и любовь. И вот он здесь, единственный из всех своих товарищей по былым приключениям, кто стал вхож в дом Морзов.

Но все эти мысли и видения не мешали Мартину внимательно слушать профессора Колдуэла. Он слушал, вдумывался, придирчиво оценивал и видел, как основательно и широко образован его собеседник. А сам в ходе разговора порой отмечал провалы и пробелы в своих знаниях, целые области, ему неизвестные. Однако, спасибо Спенсеру, он имеет представление о просторах человеческого знания. И только дело времени заполнить белые пятна на карте этих просторов. А тогда держитесь, вам всем несдобровать! Он будто сидел у ног профессора, благоговел и внимал, но постепенно начал различать некую слабость в его суждениях – слабость настолько, неожиданную, едва уловимую, что, не проскальзывай она в каждом суждении Колдуэла, Мартин, пожалуй, и не приметил бы ее. Когда же он наконец поймал ее, он сразу почувствовал себя ровней Колдуэлу.

Руфь подошла к ним во второй раз в ту самую минуту, как Мартин заговорил.

– Я скажу вам, в чем вы неправы или, вернее, отчего ваши рассуждения уязвимы. Вы не принимаете в расчет биологию, ту, что может полностью объяснить жизнь всего живого на земле, от лабораторных опытов по превращению неживого в живое до широчайших эстетических и социологических обобщений.

Руфь ужаснулась. Она прослушала у профессора Колдуэла два курса и смотрела на него снизу вверх, как на олицетворение всех на свете знаний.

– Я вас не совсем понимаю, – неуверенно вымолвил профессор.

Что-что, а понимает его Колдуэл прекрасно, в этом Мартин не сомневался.

– Тогда постараюсь объяснить, – сказал Мартин. – Помню, я читал в истории Египта что-то в таком роде: египетское искусство невозможно понять, не изучив прежде состояние египетского земледелия.

– Совершенно верно, – профессор кивнул.

– И по-моему, – продолжал Мартин, – в свою очередь, разобраться в земледелии невозможно, если не изучил сперва материю и основной закон жизни. Как можно понять законы и устои, верования и обычаи, не понимая не просто природу тех, кто их создал, но природу материи, из которой созданы сами люди? Разве литература менее связана с жизнью общества, чем архитектура и скульптура Египта? Разве найдется во вселенной хоть что-то, не подвластное закону эволюции? Да, конечно, существует тщательно разработанная теория эволюции различных искусств, но мне кажется, она слишком механистична. Человека она оставляет без внимания. Эволюция инструмента, лиры, музыки, песни, танца – все прекрасно

разработано, ну а как же эволюция самого человека, развитие важнейших внутренних его органов, что были в нем прежде, чем он сработал первый инструмент или пробормотал первую свою песнь? Вот чего нет в ваших рассуждениях и вот что я называю биологией. Это биология в самом широком понимании.

Я знаю, я говорю бессвязно, но я стараюсь растолковать свою мысль. Она пришла мне в голову, пока я вас слушал, и я не успел отточить формулировки. Вы сами говорили о слабости человека, которая мешает ему всесторонне осмыслить происходящее. И сами же – так мне кажется – оставляете в стороне роль биологии, самое материю, то важнейшее, из чего сотканы все искусства, основу и нить всех человеческих деяний и свершений.

К изумлению Руфи, Мартин не был тотчас же разбит наголову, и, услышав, как отвечает профессор, она подумала, что тот просто снисходит к молодости собеседника. Долгую минуту профессор Колдуэл молчал и теребил цепочку часов.

– Знаете, однажды мне уже пришлось выслушать точно такую же критику, – сказал он наконец. – То был человек величайшего ума, ученый и эволюционист Джозеф Леконт. Но его уже нет в живых, и я надеялся, что больше никто не заметит мою ахиллесову пяту, но вот являетесь вы и обличаете меня. Впрочем, если говорить серьезно, признаюсь откровенно, в вашей точке зрения есть доля правды... и немалая. Я слишком погружен в гуманитарные науки, отстал от сегодняшнего естествознания и могу лишь сожалеть о недостатках моего образования и о вялости характера, которая мешает мне наверстать упущенное. Верите ли, я никогда не переступал порога физической или химической лаборатории. Да-да, представьте. Леконт был прав, и вы тоже правы, мистер Иден, во всяком случае, до известной степени. Затрудняюсь в точности определить насколько.

Под каким-то предлогом Руфь увела Мартина и уже в сторонке зашептала:

– Напрасно ты взял в плен профессора Колдуэла. Наверно, и другие хотели бы с ним побеседовать.

– Виноват, – сокрушенно сказал Мартин. – Но мне удалось расшевелить его, и он оказался так интересен, я забыл обо всем на свете. Знаешь, это такой блестящий ум, такой интеллект, первый раз я с таким разговаривал. И вот еще что. Раньше я думал каждый, кто учился в университете или занимает высокое положение в обществе, непременно блестяще умен, – вот как этот Колдуэл.

– Он – исключение, – ответила Руфь.

– Похоже на то. А теперь с кем ты хочешь, чтобы я поговорил?.. Вот что, сведи меня с этим банковским кассиром.

Мартин беседовал с кассиром пятнадцать минут, и Руфь была очень довольна, возлюбленный вел себя безупречно. Глаза его ни разу не сверкнули, щеки не вспыхнули, а его спокойствие и уравновешенность при разговоре поразили Руфь. Но уважение Мартина ко всему племени банковских кассиров резко упало, и остаток вечера он не мог избавиться от впечатления, что банковский кассир и болтун – синонимы. Офицер оказался добрым малым – простодушный, здоровый и здравомыслящий, он был вполне доволен местом в жизни, которое досталось ему по праву рождения и удачи. Когда выяснилось, что тот два года проучился в университете, Мартину осталось только недоумевать, как он ухитрился растерять все свои познания. Но все равно этот молодой человек понравился Мартину больше сыплющего банальностями банковского кассира.

– Бог с ними, с банальностями. – сказал он потом Руфи, – всего ужасней другое, слышать не могу, до чего напыщенно, чопорно и самодовольно, до чего свысока и тягуче он все это изрекает. Да за то время, пока он сообщал мне, что Объединенная рабочая партия слилась с демократами, я успел бы ему изложить всю историю Реформации. Ты знаешь, он передергивает

в разговорах, как профессиональный игрок в карты. Я как-нибудь покажу тебе, что я имею в виду.

– Жаль, что он тебе не понравился, – ответила Руфь. – Он любимец мистера Батлера. Мистер Батлер говорит, он надежен и честен, называет его Скала, Петр{1}, говорит, на таких держатся банки.

– Не сомневаюсь – по тому немногому, что видел, и уж совсем немногому, что от него слышал. Но вот почтения к банкам у меня поубавилось. Ты не против, что я говорю так откровенно, Руфь, милая?

– Нет-нет, это необычайно интересно.

– Я ведь только варвар, получающий первые впечатления от цивилизации, – чистосердечно признался Мартин. – Для цивилизованного человека подобные впечатления уж наверно новы и занимательны.

– А что ты скажешь о моих кузинах? – осведомилась Руфь.

{1} Петр – скала, камень (от греч.). 218

– Они мне понравились больше других женщин. Веселости в них хоть отбавляй, а зазнайства и притворства самая малость.

– Значит, другие женщины тебе все-таки понравились?

Мартин покачал головой.

– Эта дама-благотворительница просто попугай от социологии. Голову даю на отсечение, если кинуть ее среди звезд, как Томлинсона, в ней не сыщешь ни единой собственной мысли. Что до портретистки, она нестерпимо скучна. Ей бы выйти за банковского кассира, – самая подходящая пара. А уж музыкантша! Какое мне дело, что у нее проворные пальцы, и совершенная техника, и экспрессия – ведь ясно как день:

в музыке она ничего не смыслит.

– Она играет прекрасно, – запротестовала Руфь.

– Да, без сомнения, во всем, что касается техники, она поднаторела, но вот о духе музыки понятия не имеет. Я ее спросил, что для нее музыка, – ты ведь знаешь, эта сторона меня всегда интересует, – а она не знала, только и смогла ответить, что обожает музыку, что музыка величайшее из искусств и для нее дороже жизни.

– Ты всех заставлял говорить об их работе, – упрекнула Руфь.

– Да, признаюсь. И уж если они не могли толком поговорить о своем деле, каково было бы слушать, как они разглагольствуют о чем-нибудь другом. Я-то прежде думал, здесь, где люди наслаждаются всеми преимуществами культуры... – Мартин на минуту примолк, и в дверь шагнула и вызывающей походкой прошла по гостиной тень его самого в юности, – широкополая шляпа, двубортный пиджак. – Так вот, я думал, здесь все, и мужчины и женщины блистают умом и талантом. А теперь, по тому немногому, что я успел увидеть, мне кажется, почти все они – сборище глупцов, большинство из них, а девяносто процентов остальных наводят скуку. Вот профессор Колдуэл совсем другой. Он – человек, весь как есть, до мозга костей.

Руфь просияла.

– Расскажи мне о нем, – настойчиво попросила она. – Не о том, какой он блестящий ум и незаурядная личность, достоинства я знаю, а вот есть ли в нем, по-твоему, и противоположные свойства. Мне очень любопытно.

– Боюсь попасть впросак, – шутливо заупрямился Мартин.

– Лучше сперва скажи ты... Или ты видишь в нем одни только достоинства?

– Я прослушала у него два курса, знала его два года, оттого мне так интересно твое первое впечатление.

– Хочешь узнать его дурные свойства. Что ж, ладно. Думаю, твое прекрасное мнение о нем

оправданно. По крайней мере из всех, кого я знаю, он самый замечательный образец интеллектуала. Но у этого человека совесть нечиста. Нет-нет, – поспешно прибавил Мартин. – Ничего ничтожного или вульгарного. Понимаешь, мне показалось, он проник в самую суть жизни и отчаянно испугался того, что увидел и сам перед собой притворяется, будто ничего этого не видел. Пожалуй, это звучит не очень внятно. Попробую сказать иначе. Он набрел на тропу, ведущую к потерянному храму, но не пошел по ней; возможно, мельком он увидел и храм, но потом постарался убедить себя, что то был только мираж, игра теней в листве. Или еще так скажу. Человек мог кое-что сделать, но решил, что это бессмысленно, и теперь все время в глубине души жалеет, что не сделал: он втайне смеялся над наградой, которую заслужил бы деянием, и однако, еще затаенней жаждал награды, жаждал радости деяния.

– Я в профессоре ничего такого не вижу, – сказала Руфь.

– И право, не понимаю, что ты хочешь сказать.

– У меня это только смутное ощущение, – Мартин пошел на попятный. – Причин так думать у меня нет. Это только ощущение, и очень возможно, что я ошибаюсь. Уж наверно ты его знаешь лучше.

В этот вечер Мартин ушел от Руфи в странном замешательстве, ощущения у него были самые противоречивые. Он так трудно шел к этим высотам, так стремился к этим людям, а они его разочаровали. С другой стороны, успех ободрил его. Подъем оказался легче, чем он ожидал. Он одолел подъем – и теперь (не страдая ложной скромностью, он не скрывал этого от себя) он выше тех, к кому стремился, кроме, конечно, профессора Колдуэла. Он знал больше них о жизни и о книгах и диву давался, куда они подевали свое образование. Ведь он не знал, что сам обладает выдающимся умом, не знал также, что гостинные всевозможных Морзов не то место, где можно встретить людей, доискивающих до глубин, задумывающихся над основными законами бытия; и не подозревал, что люди эти – точно одинокие орлы, одиноко парят в лазурной небесной выси над землей, обремененной толпами, чей удел – стадное существование.

Но удача потеряла адрес Мартина, и ее посланцы уже не стучались в дверь. Двадцать пять дней, работая и в воскресенья и в праздники, трудился он над большим, примерно в тридцать тысяч слов, этюдом «Позор солнца». То была тщательно обдуманная атака на мистицизм школы Метерлинка – из крепости позитивной науки он нападал на мечтателей, ждущих чуда, однако не ниспровергал красоту и чудо, ту красоту и чудо, что совместимы с фактами. Несколько позднее он продолжил атаку, написал два коротких эссе «Взыскующие чуда» и "Мерило своего "я". И принялся оплачивать путевые расходы всех трех работ – из журнала в журнал.

За двадцать пять дней, посвященных «Позору солнца», он продал юморесок на шесть с половиной долларов. Одна шутка дала ему полдоллара, а вторая, купленная первоклассным юмористическим еженедельником, принесла доллар. И еще два юмористических стихотворения заработали ему одно – два доллара, другое – три. И вот, исчерпав кредит а лавках (хотя бакалейщик поверил теперь ему в долг на пять долларов), Мартин опять отнес в заклад велосипед и костюм. Агентство опять требовало с него за машинку, настойчиво напоминая, что согласно договору плату непременно следует вносить вперед.

Приободренный тем, что несколько мелочей все же куплено, Мартин опять принялся за поделки. В конце концов, может быть, на них и просуществуешь. Под столом скопилось двадцать коротких рассказов, отвергнутых газетным синдикатом. Он перечел их, стараясь понять, как следует писать рассказы для газет, и, читая, вывел точный рецепт. Оказалось, в газете рассказ не должен быть трагическим, у него не должно быть несчастливого конца, ему отнюдь не нужны ни красота стиля, ни пронизательность мысли, ни неподдельная тонкость чувств. Но чувства необходимы, притом в изобилии – благородные и чистые чувства того сорта, каким он аплодировал с галерки в ранней юности – чувства вроде тех, какими полны урапатриотические пьесы и мелодрамы «о бедном, но честном малом».

Мартин усвоил эти предосторожности, тон позаимствовал у «Герцогини» и, руководствуясь своим рецептом, принялся изготавливать смесь. Рецепт состоял из трех частей: 1. Двое влюбленных ссорятся и расстаются; 2. благодаря какому-нибудь поступку или по стечению обстоятельств они вновь соединяются; 3. свадебные колокола. Третья часть была величиной постоянной, но в первую и вторую можно было подставлять несчетное множество вариантов. Так, влюбленных может разлучить недоразумение, прихоть судьбы, ревнивые соперники, разгневанные родители, злокозненные опекуны и коварные родственники, и так далее и тому подобное; а вновь соединить их может отважный поступок влюбленного, подобный же поступок влюбленной, перемена в его или ее чувствах, вынужденное признание злокозненного опекуна, коварного родственника или ревнивого соперника, добровольное признание любого из них, какая-нибудь внезапно открывшаяся тайна, влюбленный может взять сердце девушки штурмом, либо покорить долгим благородным самопожертвованием, и т. д. без конца.

Очень соблазнительно повернуть примирение так, чтобы предложение сделала она, мало-помалу Мартин находил и другие несомненно пикантные и соблазнительные хитрости. Но свадебные колокола в конце неизбежны, тут нельзя себе позволить никаких вольностей; хоть весь мир провалился в тартарары, хоть настань конец света, а все равно свадебные колокола должны звонить. Минимальную дозу рецепт предписывал в двенадцать тысяч слов и максимальную в пятнадцать тысяч.

Пока Мартин не полностью превзошел искусство сочинять короткие рассказы для газет, он разработал с полдюжины схем и, выстраивая рассказ, постоянно в них заглядывал. Схемы эти

напоминали хитроумные таблицы, какие в ходу у математиков, они состояли из десятков клеток и множества рядов, их можно было читать сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо, и, не думая, не рассуждая, черпать из них тысячи различных решений, каждое из которых будет бесспорно верным и точным. Таким образом, за полчаса Мартин мог при помощи своих схем сколотить дюжину сюжетов, потом откладывал их, а когда выдавалась удобная минута, разрабатывал. Он мог превратить такую схему в рассказ за час перед сном, после целого дня серьезной работы. Позднее он как-то признался Руфи, что мог писать их чуть ли не во сне. Тут только и требовалось сколотить сюжет, но это он делал чисто механически.

Мартин ничуть не сомневался в верности своего рецепта, в кои-то веки он понял, чего хотят редакторы, и первые два рассказа отослал, твердо веря, что они принесут ему чеки. И через двенадцать дней они действительно принесли чеки, по четыре доллара каждый.

Между тем он делал новые и тревожные открытия в отношении журналов. Хотя «Трансконтинентальный» опубликовал «Колокольный звон», оттуда чека не последовало. Деньги нужны были позарез, и Мартин написал в редакцию. Но получил лишь уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь из его работ. В ожидании ответа он два дня голодал и теперь снова заложил велосипед. Аккуратно, дважды в неделю, он писал в «Трансконтинентальный», требуя свои пять долларов, но ответом его удостаивали далеко не всякий раз. Не знал он, что «Трансконтинентальный» уже многие годы висит на волоске, что это журнал даже не третьего, а десятого сорта, нет у него ни доброго имени, ни постоянных читателей и подписчиков, и он кое-как существует хлесткими заметками, отчасти патриотическими призывами да еще объявлениями, которые помещают на его страницах благотворительности ради. Не знал он и того, что «Трансконтинентальный» – единственный источник существования для редактора и коммерческого директора и выжать из него средства на жизнь они умудряются, лишь вечно переезжая с места на место в бегах от уплаты аренды и никогда, если их не возьмут за горло, не платя по счетам. Невдомек Мартину было и то, что принадлежащие ему пять долларов присвоил коммерческий директор и пустил на окраску своего дома в Аламеде, причем красил сам, вечерами, так как ему не по карману было платить маляру по ставкам профсоюза, а первый же нанятый им нечлен профсоюза угодил в больницу с переломом ключицы; кто-то выдернул у него из-под ног лестницу.

Не получил Мартин и десяти долларов, обещанных чикагской газетой за «Охотников за сокровищами». Очерк напечатали, он проверил это в центральной читальне, но от редактора не мог добиться толку. Все письма оставались без ответа. Чтобы– убедиться, что они доходят по назначению, Мартин несколько писем послал заказными. Значит, его просто грабят, грабеж среди бела дня. Он голодает, а у него крадут его добро, его товар, плата за который – единственная для него возможность купить хлеба.

Еженедельник «Юность и время», едва успев напечатать две трети его повести с продолжениями, объемом в двадцать одну тысячу слов, перестал существовать. И рухнула надежда получить свои шестнадцать долларов.

В довершение всего с одним из лучших, по мнению самого Мартина, рассказов «Выпивка» случилась беда. В отчаянии, в лихорадочных поисках подходящего журнала, Мартин послал этот рассказ в Сан-Франциско в светский еженедельник «Волна». «Волну» он выбрал главным образом потому, что надеялся быстро получить ответ – ведь рассказу предстояло лишь переплыть залив из Окленда. Две недели спустя он, вне себя от радости, увидел в газетном киоске, в последнем номере журнала, свой рассказ, напечатанный полностью, с иллюстрациями и на почетном месте. Он пошел домой и с бьющимся сердцем гадал, сколько же ему заплатят за одну из лучших его вещей. И до чего же приятно, что рассказ так вот сразу приняли и напечатали. Радость была еще полнее от неожиданности, ведь редактор не известил Мартина,

что рассказ принят. Он подождал неделю, две, две с половиной, наконец отчаяние взяло верх над скромностью и Мартин написал редактору «Волны», что, вероятно, коммерческий директор запмятовал о его небольшом гонораре.

Даже если заплатят только пять долларов, этого хватит на бобы и гороховый суп, чтобы написать еще полдюжины рассказов, и возможно, ничуть не хуже. Редактор ответил до того невозмутимо, что Мартин восхитился.

"Благодарим Вас за Ваш замечательный дар, – прочел он. – Все в редакции прочли рассказ с огромным удовольствием и, как видите, опубликовали его в ближайшем же номере и на почетном месте. Искренне надеемся, что иллюстрации Вам понравились.

Перечитав Ваше письмо, мы увидели, что Вы по недоразумению решили, что мы платим за материалы, нами не заказанные. У нас это не принято, а ведь Ваша рукопись поступила не по заказу. Когда мы получили рассказ, мы, естественно, полагали, что это наше правило Вам известно. Мы можем лишь глубоко сожалеть об этом прискорбном недоразумении и заверить Вас в нашем неизменном уважении. Еще раз благодарим Вас за ваш любезный дар, надеемся в ближайшем будущем получить от Вас и еще материалы.

Остаемся... и проч."

Был в письме и постскрипtum, смысл которого сводился к тому, что хотя «Волну» никому не высылают бесплатно, Мартину рады будут предоставить бесплатную подписку на следующий год.

После этого опыта Мартин стал печатать наверху первой страницы всех своих рукописей: «Подлежит оплате по вашей обычной ставке».

Придет день, утешал он себя, когда они будут подлежать оплате по моей обычной ставке.

В ту пору он открыл в себе страсть к совершенству, она заставила его переписать и отшлифовать «Толчею», «Вино жизни», «Радость», «Голоса моря» и еще кое-что из ранних работ. Как и прежде, ему не хватало и девятнадцати часов в день. Он писал невероятно много и невероятно много читал, за работой забывая о мучениях, которые испытывал, бросив курить. Обещанное Руфью средство от курения с кричащей этикеткой Мартин засунул в самый недостижимый угол комнаты. Особенно он страдал без табака, когда приходилось голодать; но как бы часто он ни подавлял острое желание курить, оно не слабело. Мартин считал отказ от курева самым трудным из всего, чего он достиг, а на взгляд Руфи, он всего лишь поступал правильно. Лекарство от курения ока купила ему на деньги, что получала на булавки, и скоро начисто об этом забыла.

Свои сработанные по шаблону рассказы он терпеть не мог, издевался над ними, но они-то шли успешно. Благодаря им он все выкупил из заклада, расплатился почти со всеми долгами и купил новые шины для велосипеда. Рассказы хотя бы кормили его и давали время для работы, на которую он возлагал все надежды; но по-настоящему его поддерживали сорок долларов, полученные раньше от «Белой мыши». Они укрепили его веру в себя и надежду, что подлинно первоклассные журналы станут платить неизвестному автору, но крайней мере столько же, если не больше. Но вот загвоздка: надо еще пробиться в эти первоклассные журналы. Лучшие его рассказы, этюды, стихи напрасно стучались в их двери, а меж тем каждый месяц он читал в них прорву нудной, пошлой, безвкусной писанины. Если бы хоть один редактор снизошел черкнуть мне одну-единственную ободряющую строчку! Пускай то, что я пишу, непривычно, пускай это не подходит для их журналов по соображениям благоразумия, но есть же в моих рассказах хоть что-то стоящее, и не так мало, что заслуживает доброго слова. И Мартин брал какую-нибудь свою рукопись, к примеру «Приключение», читал и перечитывал ее и тщетно пытался понять, чем же оправдано молчание редакторов.

Наступила чудесная калифорнийская весна, а с ней кончилась полоса недостатка. Несколько

недель Мартина тревожило странное молчание литературного агентства, поставляющего газетам короткие рассказы. И однажды, ему сразу вернули по почте десять безупречно сработанных рассказиков. Их сопровождало краткое извещение: в агентстве избыток материалов, и оно снова начнет покупать рукописи не раньше чем через несколько месяцев. А Мартин в расчете на эти десять вещей даже позволил себе кое-какие роскошества. Последнее время агентство платило ему по пять долларов за штуку и принимало все подряд. И он полагал, что эти десять как бы уже проданы, и соответственно жил так, словно у него в кармане пятьдесят долларов. И вдруг опять началась полоса безденежья, – он продолжал посылать свои ранние опыты в издания, которые его печатали, но платили гроши, а поздние предлагал журналам, которые их не покупали. И опять он стал наведываться в Окленд к ростовщику, отдавать вещи в заклад. Несколько шуток и юмористических стишков, проданные нью-йоркским еженедельникам, позволяли только-только сводить концы с концами. Тогда-то он написал в несколько солидных изданий, выходящих ежемесячно или раз в три месяца, справляясь об условиях публикации, и из ответов узнал, что там редко рассматривают рукописи, присланные не по заказу, а в основном печатают материалы, которые заказывают известным специалистам, авторитетам в той или иной области.

Лето для Мартина выдалось тяжелое. Рецензенты и редакторы разъехались отдыхать, и те издания, которые обычно сообщали о своем решении недели через три, теперь задерживали рукописи месяца на три, а то и больше. Одно утешение: из-за этого застоя он экономил на почтовых расходах. Только вороватые журнальчики, видно, не утратили расторопности, и Мартин отдал им все свои ранние опыты, такие, как «Ловцы жемчуга», «Профессия моряка». «Ловля черепах» и «Северо-восточный пассат». Эти рукописи не принесли ему ни гроша. Правда, после полугодовой переписки Мартин пошел на уступки – и получил безопасную бритву за «Ловлю черепах», а за «Северо-восточный пассат» «Акрополь», пообещав заплатить пять долларов наличными и сверх того выслать пять годовых подписок, выполнил только вторую половину обещания.

За сонет о Стивенсоне Мартин ухитрился выжать два доллара из бостонского журнала, издатель которого обладал изысканным вкусом Мэтью Арнольда, но тощим кошельком. «Пери и жемчужина» остроумная поэма-пародия в двести строк, только что законченная, с пылу с жару, покорила сердце редактора журнала, издающегося в Сан-Франциско на средства крупной железной дороги. Редактор написал Мартину и предложил вместо гонорара за поэму бесплатный проезд по железной дороге. Мартин письмом спросил, можно ли передать это право другому лицу. Оказалось, нет, нельзя, а значит, денег за это не выручишь, и потому он попросил вернуть поэму. Поэму он получил вместе с сожалениями редактора и опять послал ее в Сан-Франциско, на этот раз в «Осу», модный ежемесячник, который был когда-то основан и умело вознесен в число звезд первой величины одним блестящим журналистом. Но популярность «Осы» стала меркнуть задолго до того, как Мартин появился на свет. Редактор обещал Мартину за поэму пятнадцать долларов, но, напечатав ее, казалось, забыл о своем обещании. Несколько напоминаний Мартина остались без ответа, тогда он сочинил гневное письмо, и ответ пришел. Отвечал уже новый редактор, он холодно сообщал, что не считает себя ответственным за ошибки своего предшественника, и, кстати сказать, сам он о поэме отнюдь не высокого мнения.

—
Мэтью Арнольд (1822 – 1888) – английский поэт, критик, эссеист.

—
Но бессовестней всех обошелся с Мартином чикагский журнал «Глобус». Мартин долго не хотел предлагать издателям «Голоса моря» – пока его не вынудил к этому голод. Десяток журналов их отверг, и наконец они осели в редакции «Глобуса». В цикле этом было тридцать стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый месяц было напечатано четыре стихотворения, и он сразу же получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, пришел в ужас, так жестоко расправились с его стихами. У одних стихотворений изменили название:

вместо латинского «Finis» поставили «Конец», «Песнь Внешнего рифа» заменили на «Песнь кораллового рифа». Одному стихотворению дали совсем иное, никак не подходящее название: вместо «Огни медузы» редактор напечатал «Обратный путь». А над самими стихами учинили поистине зверскую расправу. Мартина бросало в пот, он глухо стонал и хватался за голову. Фразы, строки, строфы были выброшены, перетасованы или перепутаны самым немыслимым образом. Кое-где его строки и строфы были заменены чужими. Не верилось, что редактор в здравом уме и твердой памяти мог так чудовищно обойтись с рукописью, и всего вероятней казалось, что стихи изувечил какой-нибудь мальчишка на побегушках или стенографистка. Мартин тотчас написал редактору, взмолился: пусть остальные стихи не

печатают и вернут ему. Он писал снова и снова, просил, умолял, грозил, но письма оставались без ответа. Месяц за месяцем продолжалась расправа, пока не вышли все тридцать стихотворений, и месяц за месяцем Мартин получал чек за те, что появлялись в очередном номере.

Наперекор всем злосчастиям его поддерживало воспоминание о сорока долларах из «Белой мыши», хотя все больше и больше времени приходилось тратить на поделки. Оказалось, можно прожить, печатаясь в сельскохозяйственных еженедельниках и в специальных газетах и журналах, а вот религиозные еженедельники могут запросто уморить голодом. В самую трудную пору, когда черный костюм был в закладе, Мартину – как он думал – неслыханно повезло, он стал победителем конкурса, устроенного окружным комитетом республиканской партии. Конкурс шел по трем жанрам, Мартин участвовал во всех трех, горько смеясь над собой – вот до чего он докатился! Его стихотворение получило первую премию в десять долларов, песня к выборной кампании – вторую премию в пять долларов, заметка о принципах республиканской партии – первую премию в двадцать долларов, все это казалось ему весьма лестно и приятно, пока он не попытался получить эти деньги. Что-то приключилось в окружном комитете, и, хотя в нем состояли богатый банкир и сенатор, деньги не появлялись. А пока там тянули, Мартин доказал, что отлично разбирается в принципах демократической партии, завоевав первую премию на таком же конкурсе. И даже деньги получил – двадцать пять долларов. А вот сорок долларов, выигранные в конкурсе республиканской партии, он так и не получил.

Не зная, как извернуться, чтобы повидать Руфь, и решив, что если идти пешком из Северного Окланда до ее дома и обратно, на это уйдет уйма времени, Мартин выкупил из заклада велосипед, а черный костюм оставил. Велосипед упражнял мускулы и, сберегая время для работы, позволял при этом встречаться с Руфью. Для велосипедиста парусиновые брюки до колен и старый свитер – костюм вполне приличный, и можно было во второй половине дня поехать на прогулку вдвоем. А поговорить с нею в доме Морзов больше не удавалось, там была в разгаре кампания развлечений, начатая ее матерью. Те, кого Мартин там встречал и на кого еще совсем недавно смотрел снизу вверх, девушки и молодые люди из круга Руфи, стали ему скучны. Они уже не казались ему существами высшей породы. Нужда, разочарование и непомерная напряженная работа издергали его, он стал раздражителен, и разговоры этой публики его бесили. И не потому, что он слишком возомнил о себе. Узость их ума очевидна, если мерило – мыслители, чьи книги он прочитал. В доме Руфи он не встречал людей, выделяющихся умом, за исключением профессора Колдуэла, но Колдуэла он встретил там только раз. А прочие сплошь были тупицы, ничтожества, догматики и невежды. Всего сильнее поражало их невежество. Что с ними стряслось? Куда они девали свои познания? Им доступны были те же книги, что и ему. Как же они ничего не извлекли из этих книг?

Мартин знал, есть на свете великие умы, проницательные и трезвые мыслители. Доказательства тому – книги, книги, благодаря которым он стал образованнее всяких морзов. И он знал: в мире существуют люди и умнее и значительнее тех, кого он встречал у Морзов. Он читал английские романы, где, случалось, светские господа и дамы беседовали о политике, о философии. И он читал о салонах в больших городах, даже в Америке, где собираются вместе люди искусства и науки. Когда-то он по глупости воображал, будто все хорошо одетые и выхоленные господа, стоящие над рабочим классом, наделены могуществом интеллекта и силой красоты. Ему казалось, крахмальный воротничок – верный признак культуры, и он, введенный в заблуждение, верил, будто высшее образование и духовность – одно и то же.

Что ж, он будет пробираться дальше и выше. И возьмет с собой Руфь. Он так ее любит, и он уверен, она всюду будет блистать. Он давно уже понял, что в детстве и юности ему мешало

развиваться его окружение, а теперь осознал, что и Руфь была скована своим окружением. Не оказалось у нее возможности совершенствоваться. Книжки на полках в отцовском кабинете, картины на стенах, ноты на фортепьяно – все это показное, все мишура. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке Морзы и им подобные слепы и глухи. Но превыше всего этого сама жизнь, а от жизни они безнадежно далеки, понятия о ней не имеют. Они принадлежат к унитарной церкви, носят маску терпимости, даже некоторого свободомыслия, и однако в своих естественнонаучных взглядах отстали на два поколения: они мыслят на уровне средневековья, а их понятия об основах бытия на земле и о вселенной поразили Мартина чисто метафизическим подходом, столь же молодым, как самый молодой народ на земле, и столь же древним, как пещерный человек, и еще древнее – подобное же мировосприятие в эпоху плейстоцена заставляло первого обезьяночеловека бояться темноты, а первого дикаря-иудея создать Еву из ребра Адама. Декарт сотворил идеалистическую теорию вселенной, исходя из представлений своего ничтожного "я", а знаменитый британский священник¹ обрушился на эволюцию в столь злой сатире, что немедленно заслужил рукоплескания и его имя осталось пресловутой закорючкой на скрижалях истории.

Так Мартин думал, размышлял, и наконец его осенило, что разница между адвокатами, офицерами, дельцами, банковскими кассирами, между всеми теми, с кем он недавно познакомился, и хорошо ему знакомым рабочим людом, в сущности, состоит в том, что они по-разному едят, по-разному одеваются, селятся в разных кварталах. Но и тем и другим безусловно недостает чего-то существенного, что нашел он а себе и в книгах. Морзы показали ему все, чем блистает их круг, и светила эти отнюдь его не ослепили. Сам он – нищий и в рабстве у ростовщика, но он выше тех, с кем познакомился у Морзов, и сознает это; и когда, выкупив из заклада свой единственный приличный костюм, он почувствовал себя человеком и снова стал бывать среди них, в нем все дрожало от оскорбления – так чувствовал бы себя оскорбленным принц, которого судьба обретаю жизнь среди козапасов.

—
' Имеются в виду Джонатан Свифт и четвертая часть его знаменитой книги «Путешествия Гулливера».

— Вы ненавидите и боитесь социалистов, – однажды за обедом сказал Мартин мистеру Морзу, – но почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов. Разговор о социализме зашел оттого, что миссис Морз принялась до неприличия расхваливать мистера Хэпгуда. Мартин терпеть не мог кассира и от одного упоминания об этом самовлюбленном пошляке начинал горячиться.

— Да, – сказал он, – говорят, Чарли Хэпгуд – подающий надежды молодой человек. И это верно. Он еще успеет стать губернатором штата и – как знать? – может, еще войдет и в сенат Соединенных Штатов.

— Почему вы так думаете? – спросила миссис Морз.

— Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она уж так хитроумно глупа и лишена всякой оригинальности и притом так убедительна, что руководители просто не могли не счесть его человеком надежным и подходящим, ведь его плоские рассуждения в точности соответствуют плоским рассуждениям рядового избирателя, и... ну, известно ведь, когда преподносить человеку его же собственные мысли, да еще принаряженные, это ему лестно.

— Право, мне кажется, вы завидуете мистеру Хэпгуду, – вступила в разговор Руфь.

— Упаси бог!

На лице Мартина выразился такой ужас, что миссис Морз кинулась в бой.

— Не утверждаете же вы, будто мистер Хэпгуд глуп? – ледяным тоном спросила она.

– Не глупее рядового республиканца, – резко сказал Мартин, – или любого демократа, какая разница. Все они тупы, если не хитры, но хитрых раз-два – и обчелся. Среди республиканцев подлинно умны только миллионеры и их сознательные приспешники. Эти знают что к чему и своей выгоды не упустят.

– Я республиканец, – небрежно вставил мистер Морз. – Собогадите сказать, к какой категории вы отнесете меня?

– Ну, вы приспешник бессознательный.

– Приспешник?

– Ну да. Вы работаете на акционерные компании. Уголовные дела не ведете, интересы рабочих не защищаете. Ваш доход не зависит от тех, кто избивает жен, или от карманных воришек. Вы получаете средства к существованию от хозяев общества, а кто человека кормит, тот над ним и хозяин. Да, вы приспешник. В ваших интересах отстаивать интересы капитала, которому вы служите.

Мистер Морз даже немного покраснел.

– Должен признаться, сэр, вы повторяете речи негодяев-социалистов.

Вот тут-то Мартин и заявил:

– Вы ненавидите и боитесь социалистов, но почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

– Ваши-то взгляды, уж во всяком случае, пахнут социализмом, – ответил мистер Морз.

Меж тем Руфь в тревоге переводила взгляд с одного на другого, а миссис Морз сияла, радуясь случаю, который восстановил главу семьи против Мартина.

– Хотя я и говорю, что республиканцы глупы, и уверен, что свобода, равенство и братство – мыльные пузыри, это еще не делает меня социалистом, – с улыбкой возразил Мартин. – Хотя я и расхожусь во мнениях с Джефферсоном и с тем французом, чьей антинаучной теории он следует, это еще не делает меня социалистом. Поверьте, мистер Морз, вы куда ближе к социализму, чем я, его заклятый враг.

– Извольте шутить, – только и нашелся ответить хозяин дома.

– Нисколько. Я говорю вполне серьезно. Вы все еще верите в равенство, и однако служите акционерным обществам, а акционерные общества изо дня в день усердно хоронят равенство. И вы называете меня социалистом, потому что я отрицаю равенство, потому что высказываю вслух те истины, которые вы утверждаете самой своей жизнью. Республиканцы – враги равенства, хотя большинство их, воюя против равенства, без конца твердит о равенстве. Во имя равенства они уничтожают равенство. Вот почему я называю их глупцами. Ну, а я индивидуалист. Я уверен, что в беге побеждает проворнейший, а в битве – сильнейший. Этот урок я усвоил из биологии, по крайней мере мне кажется, что усвоил. Итак, я индивидуалист, а индивидуалист извечный, прирожденный враг социализма.

– Но вы бываете на собраниях социалистов, – с вызовом бросил мистер Морз.

– Конечно. Как лазутчик – в лагере противника. А как иначе узнать врага? Кроме того, на их собраниях я получаю удовольствие. Они отменные спорщики, и, правы они или нет, они много читали. Любой из них знает о социологии и прочих логиях куда больше среднего капиталиста. Да, я раз шесть бывал на их собраниях, но не стал от этого социалистом, как не стал республиканцем, хоть и наслушался Чарли Хэпгуда.

– Что ни говорите, а все-таки мне кажется, вы склоняетесь на сторону социалистов, – беспомощно возразил мистер Морз.

«Ну и ну, – подумал Мартин, – ни черта он не понял. Ни единого слова, где же вся его образованность?»

Так на путях своего развития Мартин оказался лицом к лицу с моралью, коренящейся в

экономике, с моралью классовой, и скоро она стала злейшим его врагом. Сам он придерживался морали осмысленной, и еще больше пошлой напыщенности его оскорбляла мораль тех, кто его окружал, нелепая мешанина из практицизма, метафизики, слюнтяйства и фальши.

Образчик этой нелепой и нечистой смеси он встретил и в более близком окружении. За его сестрой Мэриан ухаживал трудолюбивый молодой механик из немцев, который, основательно изучив дело, завел собственную мастерскую по ремонту велосипедов. Вдобавок он стал приторговывать дешевыми велосипедами и жил теперь в достатке. Незадолго перед тем как объявить о помолвке, Мэриан навестила Мартина и, шутки ради, стала гадать ему по руке. В следующий раз она привела с собой Германа Шмидта. Мартин как положено принял гостей и поздравил, но речь его, слишком изящная и непринужденная, пришлась не по вкусу дубоватому жениху сестры. Плохое впечатление еще усилилось оттого, что Мартин прочел стихи, посвященные прошлому приходу Мэриан. Стихи были легкие, изысканные, Мартин назвал их «Гадалка». Прочитал он стихи и удивился: на лице сестры ни малейшего удовольствия. Наоборот, глаза ее были с тревогой устремлены на жениха; Мартин проследил за ее взглядом и в асимметричных чертах этой почтенной личности прочел одно лишь хмурое, сердитое неодобрение. О стихах не сказано было ни слова, гости вскоре ушли, и Мартин забыл об этом случае, хотя в ту минуту поразился: ему казалось, любая женщина, хотя бы и работница, должна быть польщена и рада, если о ней написаны стихи.

Через несколько дней Мэриан опять к нему пришла, на этот раз одна. И, едва переступив порог, принялась горько упрекать его за то, как он себя вел.

– Послушай, Мэриан, ты так говоришь, будто стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата, – с укором заметил Мартин.

– А я и стыжусь, – выпалила она.

От обиды в глазах у нее заблестели слезы, и Мартин растерялся. Чем бы ни была вызвана эта обида, она неопровержима.

– Да с чего твоему Герману ревновать, Мэриан, я же твой брат и стихи написал о собственной сестре?

– Он не ревнует, – всхлипнула Мэриан. – Он говорит, это неприлично, не... непристойно.

Ошарашенный Мартин протяжно присвистнул, потом разыскал и перечел копию «Гадалки».

– Ничего такого тут нет, – сказал он наконец, протягивая листок сестре. – Прочти сама и покажи, что тут непристойно. Так ты, кажется, сказала?

– , Он говорит, есть, ему видней, – был ответ. Мэриан отмахнулась от листка, поглядела на него с отвращением. – И он говорит, ты должен это изорвать. Он говорит, не желает он, чтоб про его жену такое писали, а каждый потом читай. Стыд, говорит, какой, он этого не потерпит.

– Послушай, Мэриан, да это же чепуха, – начал Мартин и вдруг передумал.

Перед ним несчастная девчонка, все равно переубеждать ее или ее мужа бесполезно, и хотя вся история бессмысленна и нелепа, он решил покориться.

– Ладно, – объявил он, мелко изорвал рукопись и бросил в корзинку.

Хорошо уже то, что первый экземпляр все-таки отдан в редакцию одного из нью-йоркских журналов. Мэриан с мужем ничего не узнают, и ни ему самому, ни им, ни кому другому не повредит, если милое, безобидное стихотворение когда-нибудь напечатают.

Мэриан потянулась было к корзинке, замешкалась, попросила.

– Можно?

Мартин кивнул и задумчиво смотрел, как она собирает бумажные клочки – наглядное свидетельство успеха ее миссии – и сует в карман жакета. Она напомнила ему Лиззи Конноли, хотя не так была полна жизни, дерзости, великолепного задора, как та повстречавшаяся ему

дважды девушка-работница. И однако они очень схожи – одеждой, повадками, и Мартин улыбнулся про себя, представив забавную картинку: вот которая-нибудь из них появляется в гостинной миссис Морз. Но веселость угасла, и его обдало холодом безмерного одиночества. Эта его сестра и гостинная Морзов – вехи на дороге, по которой он идет. И он оставил их позади. Он с нежностью оглядел немногие свои книги. Только они ему и остались, единственные его друзья.

– Что такое? – в изумлении спросил он, вдруг возвращенный к действительности. Мэриан повторила вопрос.

– Почему я не поступаю на службу? – Мартин рассмеялся, но не совсем искренне. – Я вижу, этот, твой Герман накрутил тебя. Сестра покачала головой.

– Не ври, – резко сказал Мартин, и Мэриан виновато кивнула, подтверждая справедливость обвинения.

– Так вот, скажи своему Герману, чтоб не совался куда не следует. Скажи, мол, когда я пишу стихи о девушке, за которой он ухаживает, это его дело, а остальное его не касается. Понятно? По-твоему, писатель из меня не получится, так? – продолжал он. – По-твоему, никчемный я человек?.. ничего не добился и позорю своих родных?

– По мне, ты бы лучше определился на место, – твердо сказала Мэриан, она явно говорила искренне. – Герман сказал....

– К чертям Германа! – добродушно перебил Мартин. – Я вот что хочу знать: когда вы поженитесь. И узнай у своего Германа, соизволит ли он принять от меня свадебный подарок.

Сестра ушла, а Мартин призадумался и разок-другой рассмеялся, но горек был его смех – он видел, что сестра и ее жених, и все и каждый, будь то люди его класса или класса, к которому принадлежит Руфь, одинаково подгоняют свое ничтожное существование под убогие ничтожные шаблоны; косные, они сбиваются в стадо, в постоянной оглядке друг на друга, они рабы прописных истин и потому безлики и неспособны жить подлинной жизнью. Вот они проходят перед ним вереницей призраков: Бернард Хиггинботем об руку с мистером Батлером, Герман Шмидт плечом к плечу с Чарли Хэпгудом, и одного за другим и попарно он оценивал их и отвергал, оценивал по меркам разума и морали, которым его научили книги. Тщетно он спрашивал себя: где же великие души, великие люди? Не находил он их среди поверхностных, грубых и. тупых умов, что явились на зов воображения в его тесную комнатку. Они ему были отвратительны, как, наверно, Цирцее отвратительны были ее свиньи. Но вот он отослал последнего и, казалось, остался один, и тут явился запоздавший, неожиданный и незванный. Мартин взглянул: шляпа с широкими полями, двубортный пиджак и походка враскачку – он узнал молодого хулигана, прежнего себя.

– Ты был такой же как все, парень, – усмехнулся Мартин.

– Ничуть не нравственней и не грамотней. Ты думал и действовал не по-своему. Твои мнения, как и одежда, были скроены по тому же шаблону, что у всех, ты поступал так, как считали правильным другие. Ты верховодил в своей шайке, потому что другие объявили: ты парень что надо. Ты дрался и правил шайкой не потому, что тебе это нравилось, нет, в душе ты все это презирал, но потому, что тебя похлопывали по плечу. Ты лупил Чурбана потому, что не хотел сдаваться, а сдаваться не хотел отчасти потому, что был ты грубое животное, и еще потому, что верил, как все вокруг, будто мужчина должен быть кровожаден и жесток, должен уметь измордовать, изувечить ближнего. Да что говорить, ты, молокосос, даже девчонок отбивал у других парней не потому, что обмирал по этим девчонкам, а потому что теми, кто тебя окружал, кто определял уровень твоей морали, движет инстинкт дикого жеребца или козла. Ну вот, прошли годы, что же теперь ты об этом думаешь?

Словно в ответ, видение мигом преобразилось. Шляпу с широкими полями и

двубортный пиджак сменила не столь топорная одежда; не стало грубости в лице, жесткости во взгляде; и лицо, очищенное и облагороженное общением с красотой и знанием, просияло внутренним светом. Теперь видение очень походило на него сегодняшнего, и, вглядываясь, Мартин увидел настольную лампу, освещавшую это лицо, и книгу, над которой оно склонилось. Он взглянул на заглавие и прочел: «Курс эстетики». Потом он слился с видением, подрезал фитиль и уже сам принялся читать дальше «Курс эстетики».

В ясный осенний день, в такой же день бабьего лета, как тот, когда год назад они открылись в своей любви, Мартин читал Руфи свои «Стихи о любви». В этот предвечерний час они, как часто бывало, расположились на своем любимом бугорке среди холмов. Руфь порой перебивала Мартина восторженными восклицаниями, и теперь, отложив последнюю страницу рукописи к остальным, Мартин ждал ее суда.

Руфь медлила и начала не вдруг, запинаясь, не решаясь облечь в слова суровый приговор.

– По-моему, это прекрасные стихи, да, прекрасные, но ведь денег они не принесут, ты согласен? Понимаешь, что я хочу сказать? – продолжала она почти умоляюще. – То, что ты пишешь, не подходит для издателей. Что-то, уж не знаю что, не позволяет тебе заработать этим на жизнь, может быть, тут дело в спросе. Только, пожалуйста, милый, пойми меня правильно. Я польщена, и горда, и все такое, что стихи эти посвящены мне, иначе какая бы я была женщина. Но они не помогают нам пожениться. Неужели ты не понимаешь, Мартин? Не считай меня корыстной. Любовь, наше будущее – вот что меня тревожит. С тех пор, как мы узнали, что любим друг друга, прошел целый год, а день свадьбы не стал ближе. Не сочти нескромностью, что я так прямо говорю о нашем браке, но ведь на карту поставлена моя любовь, вся моя жизнь. Почему ты не попытаешься устроиться в газету, если уж тебе так необходимо писать? Почему не стать репортером... хотя бы на время?

– Это испортит мой стиль, – негромко, устало возразил Мартин. – Ты не представляешь, как я отрабатывал стиль.

– Ну, а эти рассказы для газет, – заспорила Руфь, – ты сам называешь их поделками. Ты столько их написал. Они разве не портят тебе стиль?

238

– Нет, то совсем другое дело. Рассказы я вымучивал, выжимал из себя после того, как весь день оттачивал стиль. А работа репортера – это сплошное ремесленничество с утра до вечера, там вся жизнь уходит на поделки. И вся жизнь – какой-то водоворот, только и знаешь настоящую минуту, нет ни прошлого, ни будущего, и уж конечно, недосуг подумать о стиле, разве что о репортерском, но это уже никакая не литература. Стать репортером сейчас, когда у меня только-только складывается, кристаллизуется свой стиль, для меня как для писателя – самоубийство. Ведь каждый такой рассказик, каждое слово каждого рассказика было насилием над собой, писалось вопреки уважению к себе, вопреки моему уважению к красоте. Поверь, от этого занятия меня тошнит. Грех этим заниматься. И втайне я был доволен, когда их не покупали, хоть и приходилось отдавать в заклад костюм. Но какая была радость писать «Стихи о любви»! Высочайшая творческая радость! Она – награда за все.

Мартин не знал, что Руфь не понимает творческой радости. Слова эти она употребляла, от нее-то он и услышал их впервые. Она читала об этом, изучала это в университете, когда готовилась стать бакалавром изящных искусств, но сама неспособна была ни на самостоятельную мысль, ни на творческое усилие, и все, что будто бы говорило о ее высокой культуре, она повторяла с чужих слов, все было получено из третьих рук.

– А может быть, редактор не без основания правил «Голоса моря»? – спросила Руфь. – Не забудь, редактор должен был доказать, что разбирается в литературе, иначе он бы не стал редактором.

– Это лишь подтверждает, как живуче все общепринятое, – возразил Мартин, не сдержав давнего ожесточения против редакторской братии. – То, что существует, не только правильно, но и лучшее из всего возможного. Раз оно существует, значит, хорошо, полезно, имеет право

существовать, – и, заметь, как верит рядовой человек, существовать не только в нынешних условиях, но и в любых условиях. Верит он в такую чепуху, разумеется, из-за своего невежества, а невежество его рождено всего-навсего убийственной формой мышления, описанной Вейнингером. Эти при– 236 верженцы общепринятого воображают, будто мыслят, и. сами лишенные способности мыслить, распоряжаются жизнью тех немногих, кто и вправду мыслит.

Мартин замолчал, до него вдруг дошло, что Руфи не понять его речей.

– Знать не знаю, кто такой этот Вейнингер, – отрезала Руфь. – И все эти рассуждения носят слишком общий характер, я просто не улавливаю твоей логики. Я говорила о способности редактора разобратся...

– Да откуда она, эта способность, – прервал Мартин. – Девяносто девять процентов редакторов обыкновенные неудачники. Несостоявшиеся писатели. Не думай, будто они предпочли нудную необходимость торчать за редакторским столом, зависеть от тиража и коммерческого директора радости творить. Они пробовали писать – и не сумели. И получается дьявольская нелепость. Каждую дверь в литературу охраняют сторожевые псы – несостоявшиеся писатели. Редакторы, помощники редакторов, младшие редакторы, – в большинстве, и те, кому журналы и издатели поручают читать рукописи, тоже, почти все – люди, которые хотели писать и не сумели. И однако они, меньше всех пригодные для этой роли, именно они решают, что следует и что не следует печатать, – именно они, доказавшие, насколько они заурядны и бездарны, судят незаурядность и талант. А вслед за ними идут газетные и журнальные критики, опять же почти сплошь несостоявшиеся писатели. Не уверяй меня, будто они не мечтали творить, не пытались писать стихи или прозу, пытались, да не вышло. Недаром рядовая рецензия тошнотворна, как рыбий жир. Ты же знаешь мое мнение о рецензентах и так называемых критиках. Правда, есть и замечательные критики, но они редки, словно кометы в небе. Если я провалюсь как писатель, в самый раз заделаться редактором. Что-что, а на хлеб с маслом да еще и джемом заработаю.

Руфь мигом заметила противоречие в словах возлюбленного и обратила это против него.

– Но, Мартин, если так, если все двери на запоре, как ты сейчас убедительно доказал, откуда же взялись знаменитые писатели?

– Они достигли невозможного, – ответил он. – Они работали так блистательно, с таким огнем, что 240 испепелили всех, кто стоял на их пути. Успех каждого из них – чудо, выигрыш там, где ставка тысяча против одного. Они добились успеха потому, что они закаленные в битвах гиганты Карлейля, против которых никому не устоять. Вот и я, я должен достичь невозможного.

– А если не удастся? Ты же должен подумать и обо мне, Мартин.

– Не удастся? – он посмотрел на нее так, словно услышал такое, о чем и помыслить невозможно. Потом в глазах блеснуло понимание. – Если не удастся, я стану редактором, а ты женой редактора.

В ответ на шуточку Руфь нахмурилась – и это вышло у нее так прелестно, так мило, что Мартин обнял ее и поцелуями согнал тень с ее лица.

– Ну, не надо, оставь, – усилием воли она не поддавалась этой пленяющей ее силе. – Я говорила с папой и с мамой. В первый раз в жизни я так взбунтовалась. Потребовала, чтобы меня выслушали. Я оказалась очень непослушной дочерью. Ты ведь знаешь, они предубеждены против тебя, но я снова и снова твердила, что люблю тебя и никогда не разлюблю, и наконец папа сдался и сказал, если ты хочешь, прямо сейчас поступай к нему в контору. И сам предложил с первого же дня платить тебе прилично, чтобы мы могли пожениться и купить где-нибудь домик. По-моему, это очень благородно с его стороны... ведь правда?

С тупой болью отчаяния в сердце Мартин машинально потянулся за табаком и бумагой

(забыл, что больше не носит их с собой), хотел свернуть сигарку, пробормотал что-то невнятное, а Руфь продолжала:

– Откровенно говоря, – ты не обижайся, я только хочу, чтобы ты ясно понял, как он к тебе относится, – ему не нравятся твои радикальные взгляды, и он считает, что ты ленив. Я-то знаю, ты совсем не ленивый. Я знаю, ты очень усердно работаешь.

«Даже она этого не знает», – подумалось Мартину.

– Ну, а как насчет моих взглядов? – спросил он. – По-твоему, они такие уж радикальные?

Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.

– По-моему... ну... они меня сильно смущают, – ответила Руфь.

Все стало ясно, и Мартин был подавлен, жизнь вдруг стала беспросветной, он даже забыл о предло– 341 жении Руфи, об этой ее попытке уговорить его пойти служить. А она, не решаясь больше настаивать, готова была ждать ответа, пока не понадобится снова спросить о том же.

Долго ждать не пришлось. Мартину тоже было о чем ее спросить. Он хотел понять, верит ли она в него по-настоящему, и не прошло и недели, как оба получили ответ. Мартин ускорил события– прочел Руфи свой «Позор солнца».

– Почему бы тебе не стать репортером? – спросила она, когда он дочитал до конца. – Ты так любишь писать, и я уверена, ты бы добился успеха. Был бы видным журналистом, человеком с именем. Есть же замечательные специальные корреспонденты. Они прекрасно зарабатывают и разъезжают по всему свету. Куда их только не посылают– и в сердце Африки, как Стенли, и брать интервью у папы римского, и в Тибет, в места, где не бывал ни один исследователь.

– Значит, мой этюд тебе не понравился? – вместо ответа спросил Мартин. – По-твоему, я могу показать себя в журналистике, но не в литературе?

– Нет-нет, конечно, понравился. Очень хорошо написано. Но боюсь, для читателя это слишком сложно. Для меня, во всяком случае, сложно. Звучит прекрасно, но непонятно. Твой научный жаргон до меня не доходит. Ты всегда слишком увлекаешься, милый, и, наверно, разобрался в таких вещах, в которых и я и другие разобраться неспособны.

– Вероятно, тебе мешает философская терминология, – только и мог сказать Мартин.

Он прочитал ей сейчас самое зрелое из всего, что когда-либо продумал и высказал на бумаге, он еще не остыл от волнения, и приговор Руфи ошеломил его.

– Как бы плохо это ни было написано, неужели тебе совсем не интересно? – допытывался он. – Неужели не интересна сама мысль?

Руфь покачала головой.

– Нет, это так непохоже на все, что я читала раньше. Я читаю Метерлинка и понимаю его...

– Мистицизм его понимаешь? – не удержался Мартин.

– Да, а вот твоя статья, ты ведь как будто нападаешь на него, этого я не понимаю. Конечно, что касается оригинальности...

242 Мартин нетерпеливо махнул рукой, но смолчал. А потом вдруг спохватился, что Руфь все говорит, говорит уже давно.

– В конце концов, писательство было твоей забавой, – говорила она. – Право же, ты забавлялся достаточно долго. Пора принять жизнь всерьез – нашу с тобой жизнь, Мартин. До сих пор ты жил только для себя.

– Ты хочешь, чтобы я пошел служить? – спросил он.

– Да. Папа предложил тебе...

– Это я понял, – перебил Мартин, – но я хочу знать, ты что, больше в меня не веришь?

Руфь молча сжала его руку, глаза ее затуманились.

– В твое писательство, милый, – призналась она чуть слышно.

– Ты читала множество моих вещей, – резко продолжал он. – Что ты о них думаешь? Они

безнадежно плохи? А если сравнить с тем, что пишут другие?

– Но других печатают, а твое... твое нет.

– Это не ответ. По-твоему, литература вовсе не мое призвание?

– Тогда я отвечу. – Руфь собралась с духом. – Я не думаю, что ты создан писателем. Прости меня, милый. Ты заставил меня сказать это прямо. И ты ведь знаешь, в литературе я разбираюсь лучше тебя.

– Да, ты бакалавр изящных искусств, – раздумчиво сказал Мартин, – должна бы разбираться... Но я еще не все сказал, – продолжал он после тягостного для обоих молчания. – Я знаю, на что способен. Никто не знает этого лучше меня. Я добьюсь успеха. Меня не остановишь. Мысли так и кипят во мне, ждут воплощения в стихах, в прозе, в статьях. Нет, я не прошу, чтобы ты поверила в это. Не прошу верить ни в меня, ни во все то, что я пишу. Об одном прошу: люби меня и верь в любовь.

Год назад я просил тебя дать мне два года. Один мне еще остался. И я верю, клянусь тебе, еще до того, как он кончится, я добьюсь успеха. Помнишь, ты когда-то сказала: чтобы стать писателем, мне надо пройти через ученичество. Что ж, я и прошел. Я гнал вовсю, я уложился в недолгий срок. В конце пути ждала меня ты, и я не давал себе поблажки. Я забыл, что значит спокойно уснуть, понимаешь?

243 Поспать всласть и проснуться, просто оттого что выспался, – как давно я этого не знаю. Теперь меня поднимает будильник. Я завожу будильник на тот или иной час, смотря по тому, раньше или позже лег, и это последние мои осмысленные движения– завожу будильник, гашу лампу и проваливаюсь в сон.

Если за чтением я начинаю клевать носом, я откладываю серьезную книгу и берусь за более легкую. А если начинаю засыпать и над ней, бью кулаком по голове– гоню сон. Где-то я читал про человека, который боялся уснуть. Да, у Киплинга. Человек этот приспособил шпору– когда засыпал, в обмякшее тело вбивалось стальное острие. Ну, и я сделал то же самое. Я смотрю на часы и решаю не убирать свою шпору до полуночи, или до часу, или до двух. И если засыпаю раньше времени, она меня пришпоривает. Месяцами я спал со шпорой. Я дошел до того, что пять с половиной часов сна стали мне казаться непозволительней роскошью. Теперь я сплю четыре часа. Я изголодался по сну. Бывает, от недосыпа я брежу наяву, бывает, меня соблазняет смерть– ее покой и сон, бывает, меня преследуют строки Лонгфелло:

Молчаливо глубокое море, Все в нем спит без тревоги и горя. Только шаг – в тишину, в глубину – И ко дну– и навеки усну.

Это, разумеется, чепуха. Просто сдают нервы, переутомлен мозг. Но ведь главное– ради чего все это? Ради тебя. Чтобы сократить срок ученичества. Чтобы поторопить Успех. Теперь ученичество окончено. Я знаю, как снаряжен. Даю голову на отсечение, каждый месяц я узнаю больше, чем обычный студент колледжа за год. Я это знаю, поверь. Я не стал бы тебе все это рассказывать, но мне позарез необходимо, чтобы ты меня поняла. Это не похвальба. Мое мерило – книги. Сегодня твои братья – дикари, невежды по сравнению со мной, столько знаний я выжал из книг, пока они спали. Было время, я хотел прославиться. Сейчас слава меня мало заботит. Мне нужна ты, по тебе я изголодался больше, чем по еде, по одежде, по признанию. Есть у меня мечта: положить голову тебе на грудь и спать долго, долго... года не пройдет, и мечта моя сбудется.

244 Исходящая от Мартина сила волна за волной обдавала Руфь, и как раз тогда, когда он был всего упорней, неподатливей, ее всего неодолимей влекло к нему. Неукротимая заразительная энергия трепетала сейчас страстью в его голосе, сверкала в глазах всей мощью ума и бьющей через край жизни. В этот миг на один только миг уверенность Руфи дала трещину, и в просвет она увидела подлинного Мартина Идена, великолепного, непобедимого; и

как бывают минуты слабости у дрессировщика, так и Руфь на миг усомнилась было, сумеет ли приручить этого неистово самобытного человека. —

— И еще одно, — стремительно продолжал Мартин— Ты меня любишь. Но почему? Как раз за то, что, есть во мне и что заставляет меня писать. Любишь, потому что я в чем-то не такой, как мужчины, которых ты знала и могла бы полюбить. Я не создан для конторы или бухгалтерии, для торгашеского крохоборства и всяческого крючкотворства. Заставь меня заняться всем этим— стать таким, как все эти люди, выполнять ту же работу, дышать тем же воздухом, исповедовать те же взгляды, — и ты уничтожишь разницу между нами, уничтожишь меня, уничтожишь именно то во мне, что любишь. Я жив тем, что жажду писать. Будь я заурядный болван, я бы не захотел писать, а ты бы не захотела меня в мужья.

— Но ты забываешь, — прервала Руфь, быстрый ум ее мгновенно уловил нехитрую параллель: — Всегда были чудачки-изобретатели, одержимые несбыточными мечтами, пытались, например, изобрести вечный двигатель, а их семьи из-за этого голодали. Несомненно, жены любили их и страдали вместе с ними и за них, но не за сумасбродное увлечение каким-нибудь вечным двигателем, а вопреки ему.

— Верно, — был ответ. — Но не все изобретатели были чудаками, иные голодали, стараясь изобрести вещи полезные и осуществимые, и, как известно, иногда им это удавалось. Право же, я не стремлюсь к невозможному...

— Ты сам называл это «достичь невозможного», — вставила Руфь.

— Это же не буквально. Я стремлюсь к тому, что удавалось другим до меня, — писать и зарабатывать этим на хлеб.

245 Руфь промолчала, и это подхлестнуло Мартина.

— Значит, по-твоему, моя цель такая же несбыточная мечта, как вечный двигатель? — спросил он.

Руфь сжала его руку— ласково, с нежностью матери, жалеющей обиженного ребенка, и для Мартина это было внятным ответом. А для Руфи он в ту минуту и правда был лишь обиженный ребенок, одержимый, стремящийся к невозможному.

К концу разговора она опять напомнила, как настроены против него ее отец и мать.

— Но ты меня любишь? — спросил Мартин.

— Да! Да! — воскликнула Руфь.

— А я люблю тебя, не их, и пускай делают что хотят, мне все равно. — В голосе Мартина звучало торжество. — Я верю в твою любовь, и не страшна мне их враждебность. В этом мире все может сбиться с дороги, только не любовь. Любовь не станет на ложный путь, разве что она малодушный недокормыш.

Мартин случайно встретил на Бродвее свою сестру, – случай оказался счастливым, хотя Мартин и растерялся. Гертруда ждала на углу трамвая и первая увидела брата, заметила, какое у него напряженное, исхудалое лицо, какое отчаяние и тревога в глазах. Мартина и вправду терзали тревога и отчаяние. Он только что был у ростовщика, пытался выжать еще немного денег за велосипед, но тщетно. С наступлением дождливой осени Мартин заложил велосипед, а черный костюм придержал.

– У вас еще есть черный костюм, – отвечал ему ростовщик, который знал на память все его имущество. – Не вздумайте сказать, что вы заложили костюм у этого еврея Липки. Потому что тогда...

Вид у него был угрожающий, и Мартин поспешно воскликнул:

– Нет-нет, костюм у меня. Но он мне нужен для одного дела.

– Прекрасно, – сказал процентщик помягче. – И мне он нужен для дела, иначе я не могу вам дать денег. По-вашему, я сижу тут для собственного удовольствия?

246

– Но ведь велосипед стоил сорок долларов, и он в хорошем состоянии, – заспорил Мартин. – А вы мне дали под него всего только семь долларов. Нет, даже не семь, шесть с четвертью – взяли вперед проценты.

– Хотите еще немного денег, несите костюм, – был ответ, и Мартин вышел из душной лавчонки в таком отчаянии, что оно отразилось на его лице и вызвало у сестры жалость.

Едва они встретились, с Телеграф-авеню подошел трамвай и остановился, впуская послеобеденных покупателей. Мартин помог Гертруде подняться на ступеньку, сжал ей руку повыше локтя, и она поняла, это он прощается. Она обернулась, посмотрела на него. При виде его изможденного лица ее опять пронзила жалость.

– Ты не едешь? – спросила она. И тотчас сошла с трамвая.

– Я пешком... надо же размяться, – объяснил Мартин.

– Ну и я с тобой пройду с квартал-другой, – заявила миссис Хиггинботем. – Может, и мне получшеет. Что-то я последние дни вроде как вареная.

Мартин глянул на нее – да, недаром она пожаловалась: одета неряшливо, появилась нездоровая полнота, плечи ссутулились, лицо усталое, обмякшее и походка тяжелая, деревянная, какая-то пародия на походку человека раскованного, не обремененного заботами.

– Хватит, дальше не ходи, – сказал Мартин на первом же углу, хотя она и так уже остановилась, – сядешь на следующий трамвай.

– Господи! До чего ж я утомилась! – тяжело дыша, сказала Гертруда. – Так ведь и ты еле шлепаешь в эдаких-то башмаках. Подметки совсем прохудились, до Северного Окленда нипочем не дойдешь.

– У меня дома еще пара, получше, – сказал Мартин.

– Приходи завтра обедать, ладно? – неожиданно пригласила сестра. – Мистера Хиггинботема не будет. В Сан-Леандро поедет, дела у него.

Мартин покачал головой, но, услышав про обед, не совладал с собою – глаза блеснули, выдавая, что он голоден как волк.

247

– У тебя ни гроша, Март, вон ты почему пешком идешь. Размяться! – Гертруда хотела презрительно фыркнуть, но только засопела. – Стой-ка, обожди. – И, порывшись в сумке, сунула Мартину в руку пять долларов. – Я и позабыла. Март, у тебя ж был день рождения, – запинаясь,

пробормотала она.

Мартин невольно зажал в руке монету. Тотчас понял, нельзя ее принять, и замер, раздираемый сомнениями. Этот золотой означал пищу, жизнь, бодрость духа и тела, силу писать дальше, и – как знать? – может быть, написать что-то такое, что принесет множество золотых. Перед глазами засветились рукописи двух только что законченных эссе. Вот они валяются под столом на кипе возвращенных рукописей, ведь у него нет марок, и вот перед глазами отпечатанные на машинке названия: «Служители тайны» и «Колыбель красоты». Он еще ни одному журналу их не предлагал. Они настоящие, как все, что он писал в этом роде. Если бы только у него были для них марки! Уверенность, что в конце концов ему повезет, верный союзник голода, вспыхнула в нем, и он поспешно опустил монету в карман.

– Я отдам, Гертруда, в сто раз больше отдам, – сглотнув ком в горле, выговорил Мартин, глаза его влажно заблестели. – Помяни мое слово! – вдруг уверенно воскликнул он. – Года не пройдет, высыплю тебе в руки ровно сотню этих желтеньких кругляшей. Я не прошу тебя верить. Вот подожди– и увидишь.

А Гертруда и не верила. От недоверчивости ей стало не по себе, и, не найдя более подходящих слов, она сказала:

– Голодный ты, Март, я уж знаю. По тебе сразу видать. Приходи почаще обедать. Как мистера Хиг-гинботема дома не будет, я к тебе пошлю кого из ребятишек. И слышь, Март...

Он ждал, в глубине души уже зная, что она сейчас скажет, слишком ясен был ему ход ее мыслей.

– Не пора ль тебе, Март, найти место?

– А ты не думаешь, что я добыюсь своего? – спросил Мартин.

Гертруда покачала головой.

– Никто в меня не верит, Гертруда, только я сам, – страстно, с вызовом сказал Мартин. – У меня уже есть хорошие вещи, и немало, и рано или поздно их купят.

248

– А ты почему знаешь, что они хорошие?

– Потому что... – Мартин запнулся, а в мозгу у него возникла панорама литературы и истории литературы, и он понял: нечего и пытаться втолковать ей, почему он в себя верит. – Ну, потому что это лучше, чем девяносто девять процентов того, что печатают в журналах.

– Надо бы тебе образумиться, – беспомощно возразила Гертруда, неколебимо уверенная, однако, что правильно определила его беду. Надо бы тебе образумиться, – повторила она, – а завтра приходи обедать.

Мартин подсадил ее в трамвай и поспешил на почту, где три из пяти долларов потратил на марки, а под вечер по дороге к Морзам опять зашел на почту, взвесил множество длинных пухлых конвертов и наклеил на них все марки, кроме трех двухцентовых. Вечер этот сыграл огромную роль в жизни Мартина, потому что после обеда он познакомился с Рассом Бриссенденом. Как Бриссенден там оказался, кто из друзей или знакомых его привел, Мартин не знал. Даже и расспрашивать о нем Руфь не стал. Короче говоря, Бриссенден показался Мартину личностью бесцветной, пустой, не стоящей внимания. Час спустя он решил, что Бриссенден вдобавок невежа – шастает по комнатам, глазает на картины, а то возьмет со стола или вытащит с полки книгу или журнал и уткнется в них. Под конец, забыв, что он в гостях, в чужом доме, никого не замечая, уселся в глубоком моррисовском кресле и углубился в вытащенный из кармана тоненький томик. Читал и рассеянно поглаживал, ерошил волосы. За весь вечер Мартин еще только раз взглянул на него – он шутил с несколькими молодыми женщинами и явно их очаровал.

Случилось так, что, уходя домой, Мартин нагнал Бриссендена, уже переступившего порог.

– А, это вы? – окликнул его Мартин. Тот неприветливо что-то буркнул, однако пошел рядом. Мартин больше не пытался завязать разговор, и несколько кварталов они прошли в довольно тягостном молчании.

– Надутый старый осел!

Неожиданность и ядовитая сила этого возгласа ошарашила Мартина. Вышло забавно, и однако спутник становился ему все неприятнее.

249

– Чего ради Тзы к ним ходите? – резко бросил тот ему после того, как они молча прошли еще квартал.

– А вы? – не растерялся Мартин.

– Сам не знаю, черт возьми, – был ответ. – Ну, по крайней мере, это впервые я так оплошал. В сутках двадцать четыре часа, надо же их как-то убить. Пойдемте выпьем.

– Пойдемте, – согласился Мартин.

И сам растерялся, с какой стати вдруг принял приглашение. Дома, до того как лечь, предстояло несколько часов заниматься поделками, потом, когда ляжет, его ждет том Вейсмана, не говоря уже об «Автобиографии» Герберта Спенсера, которая для него заманчивей самого завлекательного романа. Чего ради тратить время на малоприятного человека, мелькнула мысль. Но привлекли, пожалуй, не этот человек и не выпивка, а то, что ей сопутствует, – яркие огни, зеркала, сверкающие бокалы, разгоряченные весельем лица, звучный гул мужских голосов. Вот что притягательно – голоса мужчин, людей бодрых, уверенных, тех, кто отведал успеха и, как свойственно мужчине, может потратиться на выпивку. Он, Мартин, одинок – вот в чем беда, вот почему он ухватился за приглашение, как хватает приманку – любую, самую ничтожную – хищная рыба. С тех пор как он выпивал с Джо в «Горячих ключах», Мартин только еще раз выпил вина в баре, когда его угостил португалец-бакалейщик. Усталость ума не вызывает такого острого желания выпить, как усталость физическая, и обычно Мартина не тянуло к спиртному. Но как раз сейчас выпить хотелось, вернее, хотелось оказаться там, где шумно илюдно, где подают спиртное и пьют. Таким местом и был «Грот», где они сидели с Бриссенденом, откинувшись в глубоких кожаных креслах, и пили виски с содовой.

Завязался разговор. Говорили о многом, и то Бриссенден, то Мартин по очереди заказывали еще виски с содовой. Сам Мартин мог выпить очень много, не хмелея, но только диву давался, глядя, как пьет собеседник, и время от времени замолкал, дивясь его речам. Очень быстро у Мартина сложилось впечатление, что Бриссенден знает все на свете, что это второй настоящий интеллект, которого он встретил в своей жизни. Но он заметил в Бриссендене и то, чего лишен 250 был профессор Колдуэл, – огонь, поразительную чуткость и прозорливость, неукротимое пламя гения. Живая речь его была ключом. С тонких губ, словно из какой-то умной жестокой машины, слетали отточенные фразы, которые разили и жалили, а потом эти тонкие губы, прежде чем что-то вымолвить, ласково морщились, и звучали мягкие, бархатистосочные фразы, что сияли и славили, и исполнены были неотразимой красоты, и эхом отзывались на загадочность и непостижимость бытия; и еще они, эти тонкие губы, точно боевая труба, возвещали о громе и смятении грандиозной битвы, звучали и фразы, чистые, как серебро, светящиеся, как звездные просторы, в них отчетливо выражено было последнее слово науки, но было и нечто большее – слово поэта, смутная неуловимая истина, для которой как будто и нет слов, и однако же выраженная тончайшими ускользающими оттенками слов самых обыкновенных. Каким-то чудесным прозрением он проникал за пределы обыденного и осязаемого, туда, где нет такого языка, чтобы рассказать о виденном, и однако неизъяснимым волшебством своей речи вкладывал в знакомые слова неведомые значения и открывал Мартину то, чего не передашь заурядным душам.

Мартин забыл об испытанной поначалу неприязни. Вот оно перед ним, наяву, то лучшее, о чем рассказывали книги. Вот он подлинно высокий ум, живой человек, на которого можно смотреть снизу вверх. «Я во прахе у ног твоих», – опять и опять повторял про себя Мартин.

– Вы изучали биологию, – многозначительно сказал он вслух.

К его удивлению, Бриссенден покачал головой.

– Но вы утверждаете истины, к которым может подвести только биология, – настаивал Мартин и опять встретил непонимающий взгляд Бриссендена. – В своих выводах вы близки авторам, которых уж наверняка читали.

– Рад это слышать, – был ответ. – Если крохи моих знаний сокращают мой путь к истине, это весьма утешительно. Хотя меня весьма мало интересует, прав я или неправ. Все равно это бесполезно. Человеку не дано узнать абсолютную истину.

– Вы ученик Спенсера! – торжествующе воскликнул Мартин.

– С юности его не читал, да и тогда читал только его «Образование».

– Вот бы мне так мимоходом подхватывать знания. – выпалил Мартин полчаса спустя. Он придиричиво оценивал умственный багаж Бриссендена. – Вы – настоящий философ, вот что самое поразительное. Вы утверждаете как аксиому новейшие факты, которые науке удалось установить только *a posteriori* '. Вы делаете верные выводы мгновенно. Вы сокращаете путь, да еще как. Вы устремляетесь к истине со скоростью света, это какой-то дар сверхмысли.

– Да, как раз это всегда тревожило преподобного Джозефа и брата Даттона, – сказал Бриссенден. – Нет, нет, сам я отнюдь не слугитель божий. Просто мне повезло – по прихоти судьбы я получил образование в католическом колледже. А вы где набирались познаний?

Мартин рассказывал, а сам внимательно присматривался к Бриссендену, ничего не упускал, перебежал взглядом с длинного худого аристократического лица и сутулых плеч к брошенному на соседний стул пальто, карманы которого вытянулись и оттопырились под грузом книг. Лицо Бриссендена и длинные узкие кисти рук темны от загара, даже слишком темны, подумал Мартин. Странно это. Бриссенден явно не охотник до загородных прогулок. Где же его так обожгло солнцем? Что-то недоброе почудилось Мартину в этом загаре, когда он опять и опять вглядывался в узкое лицо с обтянутыми скулами и впалыми щеками, украшенное орлиным носом на редкость красивой формы. Глаза самой обыкновенной величины. Не такие уж большие, но и не маленькие, неприметно карие; но в них тлел огонек, вернее, таилось нечто двойственное, до странности противоречивое. В глазах был неукротимый вызов, даже какая-то жестокость, и однако взгляд этот пробуждал жалость. Мартин поймал себя на том, что невесть почему жалеет Бриссендена – впрочем, очень скоро ему предстояло узнать почему.

– А я чахоточный, – небрежно объявил Бриссенден чуть погодя, сказав перед тем, что вернулся из Аризоны. – Я прожил там два года из-за тамошнего климата.

–
' Исходя из опыта (лат.).

–
– А опять в здешнем климате жить не боитесь?

– Боюсь?

Бриссенден всего лишь повторил то, что сказал Мартин. Но его лицо, лицо аскета, ясней слов сказало, что он не боится ничего. Глаза сузились, глаза орла, и у Мартина перехватило дыхание, он вдруг увидел Орлиный клюв, расширенные ноздри, – воплощенная гордость, дерзкая решимость. Великолепно, с дрожью восторга подумал Мартин, даже сердце забилося сильнее. А вслух он процитировал:

Под тяжелой палицей судьбы Я не склоняю головы.

– Вы любите Хенли, – сказал Бриссенден, лицо его мгновенно изменилось, оно засветилось

безмерной добротой и нежностью. – Ну конечно, иначе просто быть не могло. Хенли! Отважная душа. Среди нынешних рифмоплетов – журнальных рифмоплетов – он возвышается точно гладиатор среди евнухов.

– Вы не любите журналы? – несмело, с сомнением в голосе спросил Мартин.

– А вы любите? – гневно рявкнул Бриссенден, Мартин даже испугался.

– Я... Я пишу... вернее, пытаюсь писать для журналов, – запинаясь, выговорил он.

– Это лучше, – смягчился Бриссенден. – Вы пытаетесь писать, но не преуспели. Уважаю ваш неуспех и восхищаюсь им. Я понимаю, как вы пишете. Это сразу видно. В том, что вы пишете, есть одно свойство, которое закрывает путь в журналы. Есть мужество, а этот товар журналам не требуется. Им нужны нюни и слюни, и, видит бог, им это поставляют, только не вы.

– Я не гнушаюсь поделок, – возразил Мартин.

– Наоборот... – Бриссенден чуть помолчал, оценил бесцеремонным взглядом бьющую в глаза бедность Мартина, оглядел сильно потрепанный галстук и замахрившийся воротничок, лоснящиеся рукава пиджака, бахрому на одной манжете, перевел взгляд на впалые щеки Мартина. – Наоборот, поделки гнушаются вас, так гнушаются, что и не надейтесь стать с ними вровень. Послушайте, приятель, я мог бы оскорбить вас, мог бы предложить вам поесть.

Против воли Мартина кровь бросилась ему в лицо, и Бриссенден торжествующе засмеялся.

– Сытого таким приглашением не оскорбишь, – заключил он.

– Вы дьявол! – вскипел Мартин.

– Так ведь я вас не пригласил.

– Не посмели.

– Ну, как знать. А теперь вот приглашаю. И он приподнялся на стуле, словно готовый тотчас отправиться в ресторан.

Мартин сжал кулаки, кровь стучала в висках.

– Боско! Он глотает их живьем! Глотает живьем! – воскликнул Бриссенден, подражая Spieler, местной знаменитости

– глотателю змей.

– Вас я и правда мог бы проглотить живьем, – сказал Мартин, в свой черед смерив бесцеремонным взглядом Бриссендена, изглоданного болезнью и тощего.

– Только я того не стою.

– Наоборот, – Мартин чуть подумал, – повод того не стоит. – Он рассмеялся искренне, от всей души. – Признаюсь, вы заставили меня свалить дурака, Бриссенден. Я голоден, вы это поняли, удивляться тут нечему, и нет в этом для меня ничего позорного. Вот видите, издеваюсь над условностями и убогой прописной моралью, но являетесь вы, бросаете меткое, справедливое замечание – и вот я уже раб тех же убогих прописей.

– Вы оскорбились, – подтвердил Бриссенден.

– Конечно, минуту назад. Предрассудки, память ранней юности. Когда-то я усвоил их и они наложили отпечаток на все, что я усвоил после. У всякого своя слабость, у меня – эта.

– Но вы одолеваете ее?

– Конечно, одолеваю.

– Уверены?

– Уверен.

– Тогда пойдемте поедим.

– Я заплачу, – ответил Мартин, пытаясь расплатиться за виски с содовой остатками от своих двух долларов, но Бриссенден сдвинул брови, и официант положил деньги на стол.

Мартин поморщился, сунул деньги в карман, и на миг на плечо его доброй тяжестью легла

рука Брис-сендена.

—

' Зазывала в балагане на ярмарке.

—

Назавтра же перед вечером Марию взволновало событие: к Мартину явился еще один гость. Но на этот раз она не растерялась и усадила Бриссендена среди великолепия своей благопристойной гостиной.

– Надеюсь, вы не против, что я пришел? – начал Бриссенден.

– Нет-нет, нисколько, – ответил Мартин, обмениваясь с ним рукопожатием и указывая на единственный в его комнате стул, а сам сел на кровать. – Но откуда вы узнали, где я живу?

– Позвонил Морзам. К телефону подошла мисс Морз. И вот я у вас. – Он вытянул из кармана пальто тоненькую книжку и кинул ее на стол. – Вот книжка одного поэта. Прочтите и оставьте себе. – И когда Мартин стал было возражать, перебил его: – Куда мне книги? Сегодня утром опять шла кровь горлом. Виски у вас есть? Нету, конечно. Минутку.

Бриссенден поднялся и вышел. Высокий, тощий, он спустился с крыльца и обернулся, закрывая калитку, и Мартин, который смотрел ему вслед, с внезапной острой болью заметил, какая у него впалая грудь, как ссутулились некогда широкие плечи. Потом достал два стакана и принялся читать книгу, это оказался последний сборник стихов Генри Вогена Марло.

– Шотландского нет, – объявил, возвращаясь, Бриссенден. – Этот паршивец продает только американское виски. Но бутылку я взял.

– Я пошлю кого-нибудь из малышни за лимонами, и мы сварим пунш, – предложил Мартин. – Интересно, сколько получает Марло за такую вот книжку? – продолжал он, взяв ее в руки.

– Вероятно, долларов пятьдесят, – был ответ. – Хотя, считайте, ему повезло, если ему удалось покрыть все расходы или если нашел издателя, который рискнул его напечатать.

– Значит, поэзией не проживешь? – И голос и лицо Мартина выдавали, как он удручен.

– Разумеется, нет. Какой дурак на это надеется? Рифмоплетством – пожалуйста. Взять хоть Брюса, и Вирджинию Спринг, и Седжуика. У этих дела идут недурно. Но поэзия.... знаете, чем зарабатывает на жизнь Марло?... преподает в школе для дефективных в Пенсильвании, это не служба, а сущий ад, хуже не придумаешь. Я бы с ним не поменялся, будь даже у него впереди пятьдесят лет жизни. А вот то, что он пишет, сверкает среди современного рифмованного хлама, как оранжевый рубин в куче моркови. А что о нем болтали рецензенты! Будь она проклята, вся эта бездарная мелкота!

– Да, слишком много понаписано про настоящих писателей теми, кто писать не умеет, – подхватил Мартин. – Ведь вот о Стивенсоне и его творчестве сколько чепухи написано, просто ужас!

– Воронье, стервятники! – сквозь зубы выругался Бриссенден. – Знаю я эту породу... с удовольствием клевали его за «Письмо в защиту отца Дамьена», разбирали по косточкам, взвешивали...

– Мерили его меркой своего ничтожного "я", – перебил Мартин.

– Да, именно, хорошо сказано... пережевывают и слюнявят Истинное, Прекрасное, Доброе и наконец похлопывают его по плечу и говорят: «Хороший пес, Фидо». Тьфу! «Жалкое галочье племя», как сказал о них в свой смертный час Ричард Рилф.

– Пытаются ухватить звездную пыль, издеваются над великими, кто проносится над миром, точно огненный метеор, – горячо подхватил Мартин. – Однажды я написал о них памфлет, об этих критиках, вернее, о рецензентах.

– Покажите – нетерпеливо попросил Бриссенден. Мартин извлек копию «Звездной пыли», и Бриссенден погрузился в чтение

– он посмеивался, потирал руки и совсем забыл про пунш.

– Сдается мне, что и вы крупница звездной пыли, брошенной в мир гномов, а им весь свет застит золото, – сказал он, дочитав до конца. – Первая же редакция, разумеется, выхватила памфлет у вас из рук?

Мартин полистал свои записи.

– Его отвергли двадцать семь журналов. Бриссенден искренне захохотал и хохотал бы долго, но отчаянно закашлялся.

– Послушайте, вы же наверняка пишете стихи, – вымолвил он, задыхаясь. – Покажите что-нибудь.

– Не читайте сейчас, – попросил Мартин. – Давайте лучше поговорим. Я их заверну, и вы возьмете их домой.

Бриссенден унес с собой «Стихи о любви» и «Пери и жемчужину», а на другой день пришел опять и первые его слова были:

– Давайте еще.

Он решительно заявил, что Мартин подлинный поэт, и тут выяснилось, что и сам он поэт. Стихи Бриссендена ошеломили Мартина, и его поразило, что тот даже не пытался их напечатать.

– Чума на все их дома! – ответил Бриссенден, когда Мартин вызвался предложить их редакциям. – Любите красоту ради нее самой, – сказал он, – и к черту журналы. Мой совет вам, Мартин Иден, – вернитесь к кораблям и к морю. На что вам город и эта мерзкая человеческая свалка? Вы каждый день зря убиваете время, торгуете красотой на потребу журналишкам и сами себя губите. Как это вы мне недавно цитировали? А, вот «Человек, последняя из эфемерид». Так на что вам, последнему из эфемерид, слава? Если она придет к вам, она вас отравит. Верьте мне, вы слишком настоящий, слишком искренний, слишком мыслящий, не вам довольствоваться этой манной кашкой! Надеюсь, вы никогда не продадите журналам ни строчки. Служить надо только красоте. Служите красоте, и будь проклята толпа! Успех! Что такое успех, черт возьми? Вот ваш стивенсоновский сонет, который превосходит «Привидение» Хенли, вот «Стихи о любви», морские стихи – это и есть успех. Радость не в том, что твоя работа пользуется успехом, радость – когда работаешь. И не заговаривайте мне зубы. Я-то знаю. И вы знаете. Красота ранит. Это непреходящая боль, неисцелимая рана, разящее пламя. Чего ради вы торгуетесь с журналами? Пусть все завершится красотой. Чего ради из красоты чеканить монеты? Да у вас это и не получится, зря я волнуюсь. Если читать журналы, в них и за тысячу лет не найдется ничего, что сравнялось бы с одной-единственной строкой Китса. Бог с ней; со славой и с золотом, полите завтра на корабль и возвращайтесь в море.

– Не ради славы, ради любви, – усмехнулся Мартин. – Похоже, в вашей вселенной нет места любви, а в моей красота – служанка любви.

–

Бриссенден перефразирует слова смертельно раненного Меркуцио в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

–

С жалостью в восхищении посмотрел на него Бриссенден.

– Вы так молоды, Мартин, мой мальчик, так молоды. Вы взлетите высоко, но у вас тончайшие крылья. а узор на них – прекраснейшая пыльца. Не опалите их. Но вы, конечно, уже их опалили. Понадобилась какая-нибудь девчонка, которую вы превозносите, чтобы появились «Стихи о любви», вот в чем позор.

– Я превозношу не только женщину, но и любовь, – со смехом возразил Мартин.

– Философия безумия, – вспылil Бриссенден. – Я убедил себя в этом, когда забывался,

накурившись гашиша. Но берегитесь. Города, эти царства буржуа, убьют вас. Чего стоит логово торгашей, где я вас встретил. Гнилые души— это еще мягко сказано. В такой среде нравственное здоровье не сохранишь. Она растлевают. Все они там растленные, мужчины и женщины, в каждом только и есть, что желудок, а интеллектуальные и духовные запросы у них как у моллюска...

Он вдруг умолк, посмотрел на Мартина. И тут его осенило, он все понял. Ужас и недоумение выразились на его лице.

— И вы написали свои потрясающие «Стихи о любви» в честь этой жалкой девицы, этой бледной немочи!

Миг — и Мартин схватил его за горло, стиснул, затряс так, что у того застучали зубы. Но, заглянув в глаза Бриссендена, Мартин не увидел там страха, нет, — разве что любопытство да язвительную усмешку. Мартин опомнился, одним движением швырнул его поперек кровати и разжал руку.

Минуту-другую Бриссенден задыхался, мучительно хватал ртом воздух, потом засмеялся.

— Был бы я вашим должником на веки вечные, если б вы окончательно вытрясли из меня душу, — сказал он.

— Последние дни я на взводе, — извинился Мартин. — Надеюсь, ничего худого я вам не сделал. Сейчас приготовлю свежий пунш.

— Эх вы, юный эллин! — продолжал Бриссенден. — Вы хотя бы гордитесь своим телом? Оно того стоит! Ну и силач же вы! Молодая пантера, львенок. Ну-ну, придется вам поплатиться за этакую силищу.

— То есть? — не поняв, переспросил Мартин и протянул Бриссендену стакан. — Вот выпейте и не ругайте меня.

— Из-за...— Бриссенден отпил глоток и одобрительно улыбнулся. — Из-за женщин. Они будут вас донимать всю жизнь, уже донимают, или я ничего не смыслю. А душить меня не надо, я все равно свое скажу. Это, конечно, юношеская любовь; но во имя Красоты в следующий раз покажите, что у вас есть вкус. Боже милостивый, да чего вы ждете от буржуазной девицы. Забудьте про них. Найдите женщину пылкую, с горячей кровью, чтоб потешалась над жизнью, и насмеялась над смертью, и любила, пока любит. Такие женщины есть, и они полюбят вас с такой же готовностью, как любая малодушная неженка, выросшая под колпаком в буржуазной теплице.

— Малодушная? — вскинулся Мартин.

— Именно, все они— мелкие души, долбят убогую прописную мораль, которую сызмальства вдолбили в них, а жить настоящей жизнью боятся. Они будут любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль будут любить больше. Вам нужно великолепное бесстрашие перед жизнью, души крупные и свободные, ослепительно яркие бабочки, а не какая-то серенькая моль. Но если, на свою беду, вы протянете еще долго, вам успеют надоесть и женщины. Да нет, не протянете вы. Не вернетесь вы к кораблям и морям, а потому будете слоняться по этим рассадникам заразы, по городам, пока гниль не проест вас до костей.

— Отчитывайте меня сколько угодно, спорить не стану, — сказал Мартин. — В конце концов, у каждого своя мудрость, в зависимости от склада души, моя для меня столь же бесспорна, как ваша для вас. Они смотрели по-разному на любовь, на журналы и еще на многое, но полюбились друг другу, и Мартин всем сердцем привязался к Бриссендену. Они виделись каждый день, хотя в душной комнатенке Мартина Бриссенден мог выдержать не больше часа. Он всегда приносил с собой бутылку виски, а когда они обедали вместе где-нибудь в городе, за едой то и дело потягивал шотландское виски с содовой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин испробовал разные деликатесы, впервые выпил шампанского, отведал рейнвейна.

И однако Бриссенден оставался для него загадкой. По облику аскет, он, несмотря на слабеющее здоровье, отнюдь не отказывался от чувственных радостей. Смерти он не боялся, с едкой горечью высмеивал любой образ жизни, но, умирая, жадно любил жизнь, каждую кроху бытия. Он был одержим безумным желанием жить, ощущать трепет жизни, «все испытать на краткий миг, пока и я – пылинка в звездном вихре бытия», как выразился он однажды. Он рисковал пробовать наркотики, шел и на другие странные опыты в погоне за новой встряской, за неизведанными ощущениями. Он рассказал Мартину, что однажды прожил три дня без воды, нарочно промучился, лишь бы изведать во всей полноте восторг, с каким утоляешь жесточайшую жажду. Кто он, откуда, Мартин так и не узнал. Был он человек без прошлого, чье близкое будущее – неминуемая могила, а настоящее – горькая лихорадка жизни.

Мартин неотвратимо проигрывал сражение. Как он ни урезывал себя во всем, заработки от поделок не покрывали расходов. В День благодарения черный костюм оказался в закладе, и он не мог принять приглашение Морзов на обед. Причина отказа огорчила Руфь, и тогда он решился на отчаянный шаг. Сказал в конце концов, что придет, – съездит в Сан-Франциско, в редакцию «Трансконтинентального», потребует причитающиеся ему пять долларов и на них выкупит костюм.

Утром он взял в долг у Марии десять центов. Он предпочел бы взять их у Бриссендена, но этот сумасброд куда-то запропастился. Он не показывался уже две недели, и Мартин напрасно ломал голову, не понимая, чем мог его обидеть. За десять центов он переправился на пароме в Сан-Франциско и, шагая по Маркет-стрит, раздумывал, в какой попадет переплет, если не получит свои деньги. Ему тогда никак не вернуться в Окленд, ведь занять десять центов не у кого, в Сан-Франциско ни души знакомой.

Дверь в редакцию «Трансконтинентального» была приоткрыта, Мартин хотел уже отворить ее, – и замер, услышав оттуда громкий голос:

– Не в том дело, мистер Форд, – воскликнул кто-то (по своей переписке с журналом Мартин знал, что Форд – редактор). Дело в том, намерены ли вы платить? И платить наличными, деньги на бочку? Мне нет дела, каково приходится вашему «Трансконтинентальному» и на что вы рассчитываете в будущем году. Я желаю получить что положено за свою работу. Прямо говорю: пока не заплатите мне звонкой монетой, рождественский номер не выйдет. До свиданья. Когда будут деньги, приходите.

Дверь распахнулась, человек с разгневанным лицом проскочил мимо Мартина и, сжимая кулаки и бормоча проклятия, помчался к выходу. Мартин решил не заходить сразу и с четверть часа послоняться по коридорам. Потом распахнул дверь и вошел. Ему это было внове, никогда еще он не бывал в редакции, Визитные карточки тут, видимо, не требовались, посыльный пошел доложить мистеру Форду, что какой-то человек хочет его видеть. Вернулся, кивнул посетителю и провел его в кабинет, в святая святых редакции. Прежде всего Мартину бросился в глаза невероятный беспорядок, будто на свалке. Потом он увидел за бюро молодого человека с пышными усами, тот встретил его любопытным взглядом. Мартина изумило его безмятежно спокойное лицо. Стычка с типографом явно не нарушила его душевного равновесия.

– Я. . . я Мартин Идеи, – заговорил Мартин. («И хочу получить мои пять долларов» – просилось на язык.) Но он впервые встретился с живым редактором, и не хотелось с ходу его пугать. К его удивлению, мистер Форд так и подскочил, воскликнул: «Да что вы!» – и вот уже обеими руками горячо жмет ему руку.

– Не могу выразить, как я счастлив вас видеть, мистер Иден. Сколько раз пытался представить, какой вы.

Он отстранил Мартина на расстояние вытянутой руки и сияющими глазами оглядел не лучший костюм Мартина, он же самый худший, изношенный, уже не поддающийся починке, зато складка брюк тщательно отглажена, для чего Мартин воспользовался утюгом Марии.

– Признаться, я полагал, что вы гораздо старше. Ведь в вашем рассказе такая широта и мощь, такая зрелость и глубина мысли. Этот ваш рассказ – шедевр, я его оценил с первых же строк. Позвольте рассказать о первом впечатлении. Но нет, сперва позвольте вас познакомить с моими сотрудниками..

Ни на минуту не умолкая, мистер Форд повел Мартина в редакционную комнату и там представил своему помощнику мистеру Уайту, худенькому тщедушному человечку с редкими

шелковистыми усами, рука у него была ледяная, словно он пришел с мороза..

– А вот мистер Эндс, мистер Иден. Мистер Эндс, знаете ли, наш коммерческий директор.

И вот Мартин уже пожимает руку лысому человеку со злыми глазами, еще не старому, насколько можно судить по лицу, заросшему белоснежной тщательно подстриженной бородой – супруга коммерческого директора сама занималась этим по воскресеньям и заодно подбрасывала ему сзади шею.

Все трое обступили Мартина, наперебой бурно восхищались его рассказом и так трещали, словно заключили пари, кто будет говорить всех быстрее.

– Мы-то удивлялись, почему вы к нам не заглянете, – говорил мистер Уайт.

– А у меня нет денег на проезд, я живу по ту сторону залива, – брякнул Мартин, пускай поймут, что ему до зарезу нужны, деньги.

«Мой роскошный костюм вполне красноречиво свидетельствует, как я нуждаюсь», – подумал он. Опять и опять, при каждом удобном случае он намекал, зачем пришел. Но его поклонники оставались глухи. Они пели ему хвалы, рассказывали, как восторгались его рассказом при первом чтении и при последующем. И как восторгались их жены, чада и домочадцы, но ни словом не обмолвились о том, что намерены ему заплатить.

– Я вам еще не рассказал, как впервые прочитал ваш рассказ? – говорил мистер Форд, – Ну конечно же, нет. Я ехал из Нью-Йорка на Запад, в Огдене поезд остановился, и разносчик принес со станции последний номер «Трансконтинентального». «О черт, подумал Мартин, ты раскатываешь в пульмановских вагонах, а я голодаю оттого, что ты не отдаешь мне жалкие пять долларов!» Все в нем кипело. Оскорбление, нанесенное ему «Трансконтинентальным», безмерно разрослось, ведь так мучительны были мрачные месяцы напрасных надежд, голода, лишений, а вдобавок и сейчас терзал голод, напоминая, что он не ел со вчерашнего дня, да и вчера уснул на пустой желудок. Ярость ослепила его. Эту троицу и грабителями не назовешь, этакое мелкое жулье. Враньем и посулами выманили у него рассказ и оставили ни с чем. Ладно же, он им покажет. И он твердо решил, не уйдет он отсюда, пока не получит свои деньги. Вспомнилось: ведь если он их не получит, ему не на что вернуться в Окленд. Лицо у него стало свирепое, и вся тройка встревожилась и струхнула, но Мартин, хоть и с трудом, взял себя в руки.

А они стали еще речистей. Мистер Форд опять принялся вспоминать, как он впервые прочел «Колокольный звон» и в то же время мистер Эндс старался пересказать, сколь высоко оценила «Колокольный звон» его племянница, как-никак школьная учительница в Аламеде.

– Вот что, – сказал наконец Мартин, – Я затем пришел, чтобы мне заплатили за этот самый рассказ, который всем вам так понравился. Вы обещали после публикации заплатить пять долларов.

На подвижном лице мистера Форда мгновенно выразилась радостная готовность, он сунул было руку в карман, но вдруг обернулся к мистеру Эндсу и сказал, что забыл деньги дома. Мистер Эндс нахмурился, не сумев скрыть досаду, рука его невольно дернулась, готовая прикрыть карман брюк. Вот где деньги, понял Мартин.

– Простите, – сказал мистер Эндс, – но я только что заплатил типографу, часу не прошло, отдал всю наличность. Легкомысленно, конечно, иметь при себе так мало, но платить типографу еще не пришло время, а он просил как об одолжении сразу же выплатить ему аванс, для меня это оказалось полной неожиданностью.

Оба выжидательно посмотрели на мистера Уайта, но сей джентльмен засмеялся и пожал плечами. Уж его-то совесть чиста. Он пришел в «Трансконтинентальный» изучать журналистику, а вместо этого изучил главным образом финансовую политику. «Трансконтинентальный» задолжал ему жалованье за четыре месяца, но он уже знал: сперва,

надо задобрить типографа, а уж потом помощника редактора.

– Вот нелепость, мистер Иден, в каком положении вы нас застали, – небрежно начал мистер Форд. – А все наша беспечность, уверяю вас. Но мы вот что сделаем. Завтра же утром первым делом отправим вам чек по почте. У вас ведь есть адрес мистера Идена, мистер Эндс?

Да, адрес у мистера Эндса есть, и завтра же утром первым делом будет отправлен чек. Мартин имел весьма туманное представление о банках и чеках, но не понимал, почему нельзя дать ему чек сегодня с таким же успехом, как завтра.

– Значит, условились, мистер Иден, завтра же вышлем вам чек, – сказал мистер Форд.

– Деньги мне нужны сегодня, – бесстрастно ответил Мартин.

– Так неудачно сложились обстоятельства... Если бы вы оказались у нас в любой другой день, – вкрадчиво заговорил мистер-Форд, но его тут же прервал мистер Эндс – у этого явно не хватало выдержки, даром такие злые у него были глаза.

– Мистер Форд уже все вам объяснил, – отрезал он. – И я тоже. Чек будет послан...

– Я тоже объяснил, – перебил Мартин, – я объяснил, что деньги нужны мне сегодня.

Грубость коммерческого директора уязвила Мартина, он насторожился и зорко за ним следил – догадываясь, что наличность «Трансконтинентального» покоится в брючном кармане сего джентльмена.

– Так неудачно... – начал мистер Форд. Но тут мистер Эндс нетерпеливо повернулся, явно собираясь выйти из комнаты. В тот же миг Мартин кинулся к нему и схватил за горло, так что снежно-белая борода мистера Эндса, хоть и не утратив безупречной аккуратности, вздернулась к потолку под углом в сорок пять градусов. Мистер Уайт и мистер Форд с ужасом увидели, что коммерческого директора трясут, как пыльный ковер.

– Выкладывай монету, почтенный губитель молодых талантов! – потребовал Мартин. – Выкладывай, не то сам из тебя все до цента вытрясу, хоть бы и одной мелочью. – И остерег обоих напуганных зрители: – Не лезьте. Кто вмешается, изувечу.

Мистер Эндс задыхался и, лишь когда Мартин слегка ослабил хватку, сумел показать, что согласен раскошелиться. Несколько раз лазил он в карман брюк и в конце концов выудил четыре доллара пятнадцать центов.

– Вывернуть карманы, – распорядился Мартин. Из карманов вывалились еще десять центов. Для верности Мартин заново пересчитал добычу.

– Теперь, вы! – крикнул он мистеру Форду. – Мне нужно еще семьдесят пять центов.

Мистер Форд не мешкая обшарил все карманы и выложил шестьдесят центов.

– Больше нет, точно? – с угрозой спросил Мартин, забирая мелочь. – А в жилетных карманах что?

В знак своей честности мистер Форд вывернул два жилетных кармана. Из одного выпал на пол картонный прямоугольник. Форд поднял его и хотел было сунуть обратно, но тут Мартин воскликнул:

– А это что? Билет на паром? Ну-ка давайте сюда. Он стоит десять центов. Засчитываю и его. Стало быть, вместе с проездным билетом я получил четыре доллара девяносто пять центов. За вами еще пять центов.

Он свирепо глянул на мистера Уайта и увидел, что тщедушный человечек уже протягивает ему пятицентовик.

– Благодарю, – сказал Мартин всей троице сразу. – Всего наилучшего.

– Грабитель! – прорычал мистер Эндс.

– Карманник, – не остался в долгу Мартин и вышел, хлопнув дверью.

Победа окрылила Мартина, и так окрылила, что, вспомнив про пятнадцать долларов, которые задолжала ему «Оса» за «Пери и жемчужину», он решил тотчас отправиться туда и

получить свои деньги. Но «Осой» заправляла компания здоровенных чисто выбритых молодцов, откровенных пиратов, которые грабили всех и вся и друг друга тоже. После того как в редакции была поломана койкакая мебель, редактор (в колледже он считался хорошим спортсменом) с умелой помощью коммерческого директора, агента по рекламе и швейцара выдворили Мартина за дверь и еще подтолкнули, ускорив тем его спуск с лестницы.

– Приходите еще, мистер Иден, всегда будем рады вас видеть, – со смехом крикнули ему вслед с площадки.

Мартин поднялся и усмехнулся.

– Ну и ну! – пробормотал он в ответ. – В «Трансконтинентальном» просто овечки, а вот вас, ребята, можно хоть сейчас на ринг.

В ответ опять рассмеялись.

– Должен сказать, мистер Иден, для поэта вы и сами не промах, – откликнулся редактор «Осы». – Позволено спросить, где вы научились так отбивать правой?

– Там же, где вы научились полунельсону, – ответил Мартин. – А под глазом-то у вас будет синяк.

– Надеюсь, шеей ворочать можете, – заботливо пожелал редактор. – Послушайте, а может, пойдем выпьем всей компанией в честь этого дела?.. Не в честь увечий, понятно, а в честь нашей маленькой стычки?

– Пошли, – согласился Мартин, – и подбросим монету: если я проиграю, плачу я.

Грабители и ограбленный выпили вместе, любовно решив, что сражение выиграл сильнейший и что пятнадцать долларов за «Пери и жемчужину» по праву принадлежат сотрудникам «Осы».

Артур остался у калитки, а Руфь поднялась по ступенькам Марииного крыльца. Она слышала быстрый стук пишущей машинки и, когда Мартин впустил ее в комнату, увидела, что он заканчивает последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь приехала удостовериться, будет ли он у них на обеде в День благодарения, но не успела, Мартин был слишком полон другим.

– Послушай, сейчас я тебе это прочту! – воскликнул он, раскладывая экземпляры и аккуратно выравнивая стопки. – Это последний мой рассказ, он совсем непохож на все прежние. До того непохож, что мне даже страшно, и все-таки в душе я надеюсь, что он получился. Будь судьей. Это из жизни на Гавайях. Я его назвал «Уики-Уики».

Лицо Мартина горело жаром творчества, а Руфь в его холодной комнате пробирала дрожь, и при встрече ее поразило, какие холодные у Мартина руки. Она внимательно слушала, пока он читал, и хотя, изредка поднимая глаза, он видел на ее лице одно лишь неодобрение, но, дочитав, спросил:

– Честно, что ты об этом думаешь?

– Я... я не знаю, – ответила Руфь. – А это можно... по-твоему, это удастся где-нибудь напечатать?

– Боюсь, что нет, – признался Мартин. – Для журналов слишком сильно. Но рассказ настоящий, честное слово, настоящий!

– Но почему ты упорно пишешь так, что тебя заведомо не напечатают? – неумолимо продолжала Руфь. – Разве ты пишешь не для того, чтобы заработать на жизнь?

– Да, верно, но проклятый рассказ оказался сильнее меня. Я не мог удержаться. Он требовал, чтобы его написали.

– Но этот герой, этот Уики-Уики, почему он у тебя так грубо выражается? Конечно же, такая грубость оскорбит читателей, и конечно, именно поэтому редакторы справедливо отвергают твои работы.

– Потому что настоящий Уики-Уики разговаривал бы именно так.

– Но это дурной вкус.

– Это жизнь, – горячо ответил Мартин. – Это правда. Это настоящее. А я должен писать жизнь такой, какой я ее вижу.

Руфь не ответила, с минуту длилось неловкое молчание. Мартин не мог толком ее понять оттого, что любил, а она не могла его понять оттого, что слишком он был крупен и не укладывался в тесные рамки ее понятий.

– Кстати, я получил гонорар в «Трансконтинентальном», – сказал Мартин, стараясь направить разговор в более спокойное русло. Перед глазами предстала усатая троица, какой он ее видел напоследок, выжав свои четыре доллара девяносто центов и проездной билет, и он фыркнул.

– Значит, придешь! – радостно воскликнула Руфь. – Я затем и приехала, чтобы узнать.

– Приду? – рассеянно пробормотал Мартин. – Куда?

– Ну как же, завтра на обед. Ты же собирался, если получишь эти деньги, выкупить костюм.

– Совсем забыл, – смиренно признался он, – Понимаешь, сегодня утром полицейский забрал двух Марииных коров и теленка, взяли за потраву, и... ну, так вышло, у Марии не было ни гроша, и пришлось мне заплатить за нее штраф. Вот и ухнули пять долларов «Трансконтинентального» – весь «Колокольный звон» ухнул в карман полицейского.

– Значит, не придешь? Мартин оглядел свое одеяние.

– Не могу.

Слезы разочарования и укора заблестели в голубых глазах Руфи, но она ничего не сказала.

– В следующий День благодарения я приглашу тебя на обед у Дельмонико, – весело сказал Мартин, – или пообедаем в Лондоне, или в Париже, где захочешь. Вот увидишь!

– На днях я видела в газете сообщение, что в железнодорожном почтовом ведомстве открылось несколько вакансий, – вдруг сказала Руфь. – Ты ведь по конкурсу прошел первым, не так ли?

Пришлось Мартину сознаться, что ему предлагали место, но он отказался.

– Я был так уверен... я и сейчас уверен... в себе, – сказал он под конец. – Через год я буду зарабатывать больше, чем десяток почтовых служащих. Подожди и сама увидишь.

– Вот как, – только и сказала она в ответ. И поднялась, натягивая перчатки. – Мне пора, Мартин. Меня ждет Артур.

Мартин обнял ее, поцеловал, но возлюбленная осталась холодна. Тело ее не напряглось, руки не обхватили его за шею, губы встретили его поцелуй без обычного жара.

Рассердилась, решил Мартин, возвратясь от калитки. Но почему? Так случилось, что полицейский захватил Марииных коров. Но ведь это просто невезенье. Никто тут не виноват. Мартину и в голову не пришло, что можно было поступить иначе. А, да, он малость виноват, что отказался от места, мелькнула новая мысль. И ей не понравился «Уики-Уики».

С верхней ступеньки крыльца он обернулся и увидел почтальона – тот разносил предвечернюю почту. Мартин принял стопку длинных конвертов, и, как всегда, в нем вспыхнула лихорадочная надежда. Один конверт оказался не длинный. Небольшой, тонкий, с отпечатанным обратным адресом «Нью-йоркского наблюдателя». Мартин стал было вскрывать конверт и замешкался. Это не может быть известие, что рассказ принят. В этот журнал он рукописей не посылал. А вдруг... сердце замерло от невероятной мысли... вдруг они заказывают ему статью; но тотчас он опомнился – не может этого быть.

Короткое официальное письмо, подписанное заведующим редакцией, всего лишь извещало, что ему пересылают полученное журналом анонимное письмо и заверяют, что анонимные письма редакция никогда и ни при каких обстоятельствах не принимает во внимание.

Вложенное письмо оказалось написано от руки, печатными каракулями. Безграмотное, густо сдобренное оскорблениями, оно утверждало, что «так называемый Мартин Иден», который продает рассказы разным журналам, никакой не писатель, на самом-то деле он ворует рассказы из старых журналов, переписывает на машинке и рассылает под своим именем. На конверте был почтовый штамп «Сан-Леандро». Мартин сразу понял, чьих это рук дело. Грамотность Хиггинботема, словечки и выражения Хиггинботема, Хиггинботемская логика и нелепый склад ума выпирали из каждой строчки. Тут ощущалась не тонкая рука итальянца, а заскорузлый кулак лавочника, его зятя.

Но почему? – тщетно гадал Мартин. Что плохого сделал он Бернарду Хиггинботему? Поступок уж до того непонятный, до того бессмысленный. Его никак не объяснишь. За неделю редакторы различных журналов из восточных штатов переслали Мартину еще с десятков подобных писем. Очень благородно с их стороны, решил Мартин. Ведь эти редакторы совсем его не знают, и однако иные даже посочувствовали ему. Анонимные, письма явно им отвратительны. Стало быть, злобная попытка ему навредить провалилась. Скорее это даже к добру – по крайней мере, многие редакторы узнали его имя. Быть может, когда-нибудь, читая его рукопись, они и вспомнят, мол, это тот самый, про кого было анонимное письмо. И как знать, вдруг при оценке его рукописи подобное воспоминание будет гирькой на весах в его пользу?

Примерно в это время Мартин сильно упал в глазах Марии. Однажды утром он застал ее в кухне, когда она стонала от боли, по ее щекам от слабости текли слезы, а перед ней высилась груда неглаженного белья. Мартин мигом определил, что у нее грипп. дал ей горячего виски – в

бутылках, которые приносил Бриссенден, набрались кой-какие остатки – и велел лечь в постель. Но Мария заупрямилась. Белье надо прогладить и до вечера разнести клиентам, заспорила она, не то завтра семерым голодным ребятишкам нечего будет есть.

К ее удивлению (потом она не уставала рассказывать об этом до своего смертного часа), Мартин Иден схватил с плиты утюг и кинул на гладильную доску фасонистую блузку с длинным рукавом. Это была выходная блузка Кейт Фланнаген, самой привередливой модницы на свете. Да еще мисс Фланнаген нарочно предупредила, чтоб блузку ей доставили сегодня же вечером. Все знали, за ней ухаживает кузнец Джон Коллинз, и, как по секрету было известно Марии, завтра мисс Фланнаген и мистер Коллинз собирались в парк Золотые ворота. Тщетно пыталась Мария спасти блузку. Мартин отвел ее к стулу, до которого она еле доплелась, усадил, и тут она вытаращила глаза. Вчетверо быстрее, чем управилась бы она сама, Мартин отгладил блузку и заставил ее признать, что отгладил ничуть не хуже ее самой.

– Я бы и побыстрее работал, будь утюги погорячее.

А он и так орудовал раскаленными утюгами, она бы такими нипочем не решилась гладить.

– Ты не так обрызгиваешь, – упрекнул он ее. – Дай-ка я тебя научу, как надо. Самое главное – придавить. Сбрызнула – и сразу придави, тогда дело пойдет быстрее.

Из кучи деревянного хлама в погребе он достал ящик, приспособил к нему крышку и порылся в железном ломе, который ребятня Сильва приготовила на продажу. Сложил свежесбрызнутое белье в ящик, накрыл доской и придавил утюгом – пресс был готов и действовал.

– Теперь гляди, Мария, – сказал Мартин, скинув с себя верхнюю рубашку и схватив утюг, по его словам, «и впрямь горячий».

– А кончил гладить и давай стирать шерстяное, – рассказывала потом Мария. – Говорит: «Дуреха ты дуреха, Мария. Сейчас покажу тебе, как стирать шерстяное», – и показал, да. За десять минут смастерил машина – один бочка, один втулка от колеса, два шеста, и готов машина.

Это было изобретение Джо из Горячих ключей. Втулка от старого колеса прикреплялась к концу вертикально стоящего шеста – получалась мешалка. Это в свою очередь крепко соединялось с пружиной, прикрепленной к потолочной балке, так что втулка ходила вверх-вниз, перемешивала шерстяные вещи, лежащие в бочке, и одной рукой можно было как следует их поколачивать.

– Теперь Мария не стирать шерстяное, – неизменно кончался ее рассказ. – Теперь ребятишки управлять с бочка, да втулка, да шест. Он хитрый голова, мистер Иден.

И все же ловко смастерив машину и преобразовав Мариину кухню-прачечную, Мартин непоправимо уронил себя в глазах Марии. Романтический ореол, которым его наградило ее воображение, поблек в холодном свете истины: он бывшая прачка! Все его книги, и важные его друзья, которые приезжали к нему в колясках или приносили несчетные бутылки виски, все уже не имело значения. Оказывается, он всего-навсего простой рабочий, человек ее породы, из ее класса. Он стал ей понятнее, доступней, но не осталось в нем ничего загадочного.

Пропасть между Мартином и его родными все ширилась. Вслед за беспричинным нападением Хиггинботема показал себя и мистер Герман Шмидт. Мартину удалось продать несколько зарисовок для газет, кое-что из юмористических стихов и шуток, и на время дела его заметно поправились. Он расплатился с частью долгов и даже сумел выкупить из заклада черный костюм и велосипед. Велосипед требовалось починить – погнулась ось педали, – и в знак доброго отношения к будущему зятю Мартин отправил велосипед в мастерскую Шмидта.

К вечеру того же дня Мартин с удовольствием получил свой велосипед, его доставил какой-то мальчонка. Похоже, мистер Шмидт тоже настроен дружелюбно, подумал Мартин при виде

такой любезности. Из починки велосипед обычно приходилось брать самому. Но оглядев велосипед, Мартин обнаружил, что его и не думали чинить. А чуть позднее, позвонив сестрину жениху, он услышал, что эта личность не желает иметь с ним никакого дела «ни в каком виде, ни в какой форме, никоим образом».

– Герман Шмидт, – весело ответил Мартин, – кажется, я сейчас приду и расквашу ваш немецкий нос.

– Только суньтесь в мастерскую, и я пошлю за полицией, – последовал ответ. – Я вас проучу. Знаю я вас, чуть что– в драку, да со мной не выйдет. Не желаю иметь ничего общего с таким хулиганьем. Бездельник, лодырь, меня не проведешь. Не удастся вам меня доить, хоть я и женюсь на вашей сестре. Почему вы не хотите работать и честно зарабатывать на жизнь, а? Отвечайте!

Мартин отнесся к этому философски, не дал волю гневу, удивленно и насмешливо присвистнул и повесил трубку. Но потом ему стало не до смеха, всей тяжестью навалилось одиночество. Никто его не понимает, никому он, видно, не нужен, кроме Бриссендена, а Бриссенден исчез неведомо куда.

В сумерках Мартин вышел с покупками из зеленой лавки и зашагал к дому. На углу остановился трамвай, и сердце Мартина радостно забило при виде знакомой тощей фигуры. То был Бриссенден, и, прежде чем трамвай двинулся и заслонил его, Мартин успел приметить оттопыренные карманы пальто– в одном явно были книги, в другом бутылка виски.

Бриссенден не объяснил, почему так долго пропадал, а Мартин не стал допытываться. Сквозь пар, поднимающийся над пуншем, отрадно было видеть бледное, изнуренное лицо друга.

– Я тоже не бездельничал, – заявил Бриссенден. выслушав отчет Мартина о том, что он успел написать.

Он вытащил из внутреннего кармана рукопись и протянул Мартину, тот прочитал заглавие и удивленно посмотрел на Бриссендена.

– Да, именно, – засмеялся Бриссенден. – Неплохое название, а? «Эфемерида»... то самое слово. Я от вас его услышал, вы так называли человека, он у вас всегда нестигаемый, одухотворенная материя, последний из эфемерид, гордый своим существованием в краткий миг, отведенный ему под солнцем. Это гвоздем засело у меня в голове – и пришлось написать, чтобы от этого избавиться. Скажите, каково это на ваш взгляд.

Мартин стал читать, и поначалу вспыхнул, а потом побледнел. Это было само совершенство. Форма одержала победу над содержанием, если это можно назвать победой – все содержание, до последнего атома, было выражено с таким мастерством, что у Мартина от восторга закружилась голова, на глаза навернулись жаркие слезы, по спине пошел холодок. То была большая поэма, в шестьсот или семьсот строк, – причудливая, поразительная, загадочная. Необычайные, невероятные стихи, однако вот они, небрежно написанные черным по белому. Они – о человеке и его напряженнейших духовных исканиях, о его мысли, проникающей в бездны космоса в поисках отдаленнейших солнц и спектров радуги. То был безумный разгул воображения умирающего, чье дыхание прерывается всхлипом и слабеющее сердце неистово трепещет перед тем, как остановиться навсегда. В этом величавом ритме с громом восставали друг на друга холодные светила, проносились вихри звездной пыли, сталкивались угасшие солнца, и вспыхивали в черной пустоте новые галактики; и тонкой серебряной нитью пронизывал все это немолчный, слабый, чуть слышный голос человеческий, жалобное лепетанье средь воплей планет и грохота миров.

– Такого в литературе еще не было, – сказал Мартин, когда к нему наконец вернулся дар речи. – Потрясающие стихи!.. потрясающие! Мне просто в голову ударило. Я как пьяный. Этот великий и тщетный вопрос... Я ни о чем другом думать не могу. Этот вопрошающий вечный голое человеческий, неустанная тихая жалоба все заучит в ушах. Он словно комариный похоронный марш среди трубного зова слонов, и львиного рыка. Голос едва слышен, а жажда его неутолима. Я говорю глупо, знаю, но поэма чудо, вот что. Ну как вам это удастся? Как?

Мартин перевел дух и снова принялся восхвалять поэму.

– Я больше не стану писать. Я бездарь. Вы показали мне, что такое работа настоящего мастера. Гений! Это не просто гениально. Это больше, чем гениально. Это обезумевшая истина. Это настоящее, дружище, в каждой строчке настоящее. Хотел бы я знать, понимаете ли вы это, вы, философ. Сама наука не может вас опровергнуть. Это прозрение, выкованное из черного металла космоса и обращенное в великолепные звучные ритмы. Вот, больше я не скажу ни слова! Я потрясен, раздавлен. Хотя нет, еще одно. Позвольте, я найду для нее издателя.

Бриссенден усмехнулся,

– Нет в христианском мире журнала, который посмел бы ее напечатать... сами понимаете.

– Ничего такого я не понимаю. Я понимаю другое: любой журнал в христианском мире мигом за нее ухватится. Такое на дороге не валяется. Это не просто поэма года. Это поэма века.

– Хотел бы я поймать вас на слове.

– Не будьте таким уж пессимистом, – предостерег его Мартин. – Редакторы журналов не

сплошь болваны. Я-то знаю. Давайте держать пари. Спорю на что угодно – вашу «Эфемериду» примет если не первый же, так второй журнал.

– Ухватился бы за ваше предложение, только одно меня удерживает, – сказал Бриссенден и, помолчав, продолжал: – Вещь хороша... лучше всего, что я написал. Я-то знаю. Это моя лебединая песнь. Я чертовски ею горжусь. Боготворю ее. Это лучше виски. Великолепная вещь, совершенство, о такой я мечтал, когда был молод и простодушен, полон прелестных иллюзий и чистейших идеалов. И вот теперь, на пороге смерти я ее написал. И не хочу я, чтобы ею завладело, осквернило стадо свиней. Нет, я не иду на пари. «Эфемерида» моя. Я создал ее и поделился с вами.

– А как же другие? – возразил Мартин. – Назначение красоты – дарить человечеству радость.

– Это моя красота.

– Не будьте эгоистом.

– Я не эгоист, – сказал Бриссенден и сдержанно усмехнулся, как всякий раз, когда он бывал доволен тем, что готово было слететь с его тонких губ. – Я щедр и самоотвержен, как изголодавшийся боров.

Тщетно пытался Мартин поколебать его решение.. Твердил, что его ненависть к журналам – сумасбродство, фанатизм, он в тысячу раз достойнее презрения, чем юнец, который сжег храм Дианы в Эфесе. Под градом обвинений Бриссенден преспокойно прихлебывал пунш и соглашался: да, все так, все справедливо, за исключением того, что касается журнальных редакторов. Его ненависть к ним не знала границ, и нападал он на них еще яростнее Мартина.

– Пожалуйста, перепечатайте для меня «Эфемериду», – сказал он. – Вы это сделаете в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу вам кое-что посоветовать. – Он вытащил из кармана пальто пухлую рукопись. – Вот ваш «Позор солнца». Я его прочел, и не один раз, а дважды, трижды... Это высшая похвала, на какую я способен. После ваших слов об «Эфемериде» мне следует молчать. Но одно я вам скажу: когда «Позор солнца» напечатают, то-то будет шуму. Разгорятся споры, которые принесут вам тысячи долларов, так как сделают вас знаменитым.

Мартин рассмеялся.

– Сейчас вы посоветуете отправить «Позор» в журналы.

– Ни в коем случае... разумеется, если вы хотите, чтобы его напечатали. Предложите рукопись первоклассным издательствам. Найдется рецензент, который будет достаточно безумен или достаточно пьян, в даст о ней благоприятный отзыв. Вы много читали. Суть прочитанного переплавилась в вашем мозгу и вылилась в «Позор солнца», настанет день, когда Мартин Иден прославится, и не последнюю роль в этом сыграет «Позор Солнца». Итак, найдите для нее издателя... чем скорее, тем лучше.

Бриссенден засиделся допоздна и, уже на ступеньке трамвая, вдруг обернулся к Мартину и сунул ему в руку скомканную бумажку.

– Вот, возьмите, – сказал он. – Я был сегодня на скачках, и мне сказали, какая лошадь придет первой. Зазвенел звонок, трамвай тронулся, оставив. Мартина в недоумении, что за измятая, засаленная бумажка зажата у него в руке. Вернувшись к себе, он разгладил, ее и увидел, что это стодолларовый билет.

Мартин не постеснялся им воспользоваться. Он звал, у друга всегда полно денег, и знал также, был глубоко уверен, что дождется успеха, и сможет вернуть долг. Наутро он заплатил по всем счетам, дал Марии за комнату за три месяца вперед и выкупил у ростовщика все свои вещи. Потом выбрал свадебный подарок Мэриан и рождественские подарки поскромней для Руфи и Гертруды. И наконец, на оставшиеся деньги повез в Окленд все семейство Сильва. С

опозданием на год, он все-таки исполнил свое обещание, и все от мала до велика, включая Марию, получили по паре обуви. А в придачу свистки, куклы, всевозможные игрушки, пакеты и фунтики со сладостями и орехами, так что они едва могли все это удержать.

Ведя за собой эту красочную процессию, он вместе с Марией зашел в кондитерскую и поискал самых больших леденцов на палочке и неожиданно увидел там Руфь с матерью. Миссис Морз оторопела. Даже Руфь была задета, ибо приличия кое-что значили и для нее, а ее возлюбленный бок о бок с Марией, во главе этой команды португальских оборвышей, – зрелище не из приятных. Но сильнее задело ее другое, она сочла, что Мартину недостает гордости и чувства собственного достоинства. А еще того хуже – случай этот показал ей, что никогда Мартину не подняться над средой, из которой он вышел. Бедняк, рабочий – само происхождение Мартина уже клеймо, но так бесстыдно выставлять его напоказ перед всем миром, перед ее миром – это уже слишком. Хотя ее помолвка держалась в тайне, об их давних, постоянных встречах не могли не судачить; а в кондитерской оказалось несколько ее знакомых, и они украдкой поглядывали на ее поклонника и его свиту. Руфь не обладала душевной широтой Мартина и не способна была стать выше своего окружения. Случившееся уязвило ее, чувствительная душа ее содрогалась от стыда. И приехав к ней позднее в тот же день с подарком в нагрудном кармане, Мартин решил отдать его как-нибудь в другой раз. Плачущая Руфь, плачущая горько, сердитыми слезами, это было для него откровение. Раз она так страдает, значит, он грубое животное, хотя в чем и как провинился:– хоть убейте, непонятно. Ему и в голову, не приходило стыдиться своих знакомств, и в том, что ради Рождества он угостил семейство Сильва, он не усматривал ни малейшего неуважения к Руфи. С другой стороны, когда Руфь объяснила ему свою точку зрения, он понял ее, что ж, видно, это одна из женских слабостей, которым подвержены все женщины, даже самые лучшие.

– Пойдемте, я покажу вам людей из настоящего теста, – однажды январским вечером сказал Бриссенден.

Они пообедали вместе в Сан-Франциско и ждали обратного парома на Окленд, как вдруг ему вздумалось показать Мартину «людей из настоящего теста». Он повернулся и стремительно зашагал по набережной, тощая тень в распахнутом пальто, Мартин едва поспевал за ним. В оптовой винной лавке он купил две четырехлитровые оплетенные бутылки Старого портвейна и, держа по бутылки в каждой руке, влез в трамвай, идущий к Мишшен-стрит; Мартин, нагруженный несколькими бутылками виски, вскочил следом.

«Видела бы меня сейчас Руфь», – мелькнуло у него, пока он гадал, что же это за настоящее тесто:

– Возможно, там никого и не будет, – сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая, свернули направо и углубились в самое сердце рабочего района. южнее Маркет-стрит. – В таком случае вы упустите то, что так давно ищете.

– Что же именно, черт возьми? – спросил Мартин.

– Люди, умные люди, а не болтливые ничтожества, с которыми я вас застал в логове того торгаша. Вы читали настоящие книги и почувствовали себя там белой вороной. Что ж, сегодня я вам покажу других людей, которые тоже читали настоящие книги, так что вы больше не будете в одиночестве.

– Не то, чтобы я вникал в их вечные споры, – сказал Бриссенден на следующем углу. – Книжная философия меня не интересует. Но люди они незаурядные, не то что свиньи-буржуа. Только держите ухо востро, не то они заговорят вас до смерти – о чем бы ни шла речь.

– Надеюсь, мы застанем там Нортон, – еле выговорил он немного погодя; он тяжело дышал, не напрасно Мартин пытался взять у него бутылки с портвейном. – Нортон – идеалист, учился в Гарварде. Невероятная память. Идеализм привел его к философии анархизма, и родные выгнали его из дому. Его отец президент железнодорожной компании, мультимиллионер, а сын голодает в Сан-Франциско, редактирует анархистскую газетку за двадцать пять долларов в месяц.

Мартин плохо знал Сан-Франциско, и уж вовсе не знал район южнее Маркет-стрит, и понятия не имел, куда его ведут.

– Рассказывайте еще, – попросил он. – Что там за народ? Чем они зарабатывают на жизнь? Как сюда попали?

– Надеюсь, Хамилтон дома, – Бриссенден остановился передохнуть, опустил бутылки наземь. – Вообще-то он Строун-Хамилтон... двойная фамилия, через дефис, – он из старого южного рада. Бродяга... человека ленивее я в жизни не встречал, хотя служит канцеляристом, вернее, пробует служить в кооперативном магазине социалистов за шесть долларов в неделю. Но он по природе перекати-поле. Забрел в Сан-Франциско. Однажды он просидел весь день на уличной скамейке, за весь день во рту ни крошки, а вечером, когда я пригласил его пообедать в ресторане, тут, за два квартала, он говорит: «Еще идти. Купите-ка мне лучше пачку сигарет, приятель». Он, как и вы, исповедовал Спенсера, покуда Крейс не обратил его в мониста-материалиста. Если удастся, я вызову его на разговор о монизме. Нортон тоже монист... Но идеалист, для него существует только дух. Он знает не меньше Крейса и Хамилтона, даже больше.

– Кто такой Крейс? – опросил Мартин.

– Мы к нему идем. Бывший профессор... уволен из университета... обычная история.

Память-стальной капкан. На жизнь зарабатывает чем придется.

Одно время, когда очутился вовсе на мели, был бродячим фокусником. Неразборчив в средствах. Может и украсть – хоть саван с покойника... на все способен. Разница между ним и буржуа, что крадет, не обманывая себя. Готов говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но, в сущности, из всего на свете, включая Мэри, ему по-настоящему интересен только его монизм. Его божок – Геккель. Единственный способ его оскорбить

– это ругнуть Геккеля.

– Ну вот и место сборищ. – Войдя в подъезд, Бриссенден поставил обе бутылки и перевел дух – надо было еще подняться по лестнице. Это был обыкновенный двухэтажный угловой дом, внизу – бакалейная лавка и пивная. – Здесь обитает вся компания, занимает весь верх. Но только у Крейса две комнаты. Идемте.

Свет в верхнем коридоре не горел, но в полной темноте Бриссенден двигался привычно, как домовый. Приостановился, опять заговорил.

– Есть у них еще такой Стивенс. Теософ. Когда разойдется, даже дважды два усложнит и запутает. Сейчас мойщик посуды в ресторане. Любит хорошую сигару. Я раз видел, он перекусил за десять центов в забегаловке, а потом выкурил сигару за пятьдесят. У меня в кармане припасены две штуки, на случай если он покажется.

И еще один есть, Парри, австралиец, статистик и ходячая энциклопедия. Спросите его, каков был урожай зерновых в Парагвае в тысяча девятьсот третьем, или сколько простынной ткани Англия поставила в Китай в тысяча восемьсот девяностом, или в каком весе Джимми Бритт победил Бетлинга Нелспна, или кто был чемпионом Соединенных Штатов в полусреднем весе в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом и он выдаст правильный ответ со скоростью игорного автомата. И еще есть Энди, каменщик, полон идей обо всем на свете, хороший шахматист; и Харри, пекарь, ярый социалист и один из профсоюзных вожаков. Кстати, помните стачку поваров и официантов – это Хамилтон организовал тот профсоюз и провернул стачку – все заранее спланировал вот тут, у Крейса. Прodelал это все ради собственного удовольствия, но в профсоюзе не остался, слишком ленив. А если бы захотел, пошел бы далеко. На редкость способный человек, но непревзойденный лентяй.

Бриссенден продвигался в темноте, пока не завиднелась полоска света из-под какой-то двери. Стук, чей-то голос в ответ, дверь отворилась, и вот уже Мартин обменивается рукопожатием с Крейсом, смуглым красавцем с ослепительно белыми зубами, черными вислыми усами и черными сверкающими глазами. Мэри, полная молодая блондинка, мыла тарелки в задней комнатке (она же кухня и столовая). Первая комната служила спальней и гостиной. Гирлянды выстиранного белья висели так низко над головой, что поначалу Мартин не заметил двух мужчин, беседующих в углу. Они шумно и радостно приветствовали Бриссендена и его бутылки, и, когда Мартина познакомили, оказалось, это Энди и Парри. Мартин присоединился к ним и внимательно слушал рассказ Парри о боксерском состязании, на котором он был накануне вечером; тем временем Бриссенден, как заправский бармен, готовил пунш и разливал вино и виски с содовой. Потом он скомандовал: «Давайте всех сюда» – и Энди пошел по всему этажу созывать жильцов.

– Нам повезло, почти все дома, – шепнул Мартину Бриссенден. – Вот и Нортон и Хамилтон, подите познакомьтесь. Стивенса, я слышал, нету. Попробую заведу их на монизм. Вот погодите, они опрокинут стаканчик – другой, тогда разойдутся.

Поначалу разговор перескакивал с одного на другое. И все равно Мартин не мог не оценить живую игру их мысли. У каждого был свой взгляд на вещи, хотя взгляды их зачастую оказывались противоположными; и хотя спорили они остроумно и находчиво, но не поверхностно. Мартин скоро понял – это было ясно, о чем бы ни зашла речь, – что у каждого

есть связанная система знаний и цельное, хорошо обоснованное представление об обществе и о вселенной. Они не пользовались готовыми мнениями, все они, каждый на свой лад, были мятежники, и никто не изрекал избитых истин. Мартин никогда не слышал, чтобы у Морзов обсуждался такой широкий круг разнообразнейших тем. Казалось, они о чем угодно могут с увлечением толковать хоть ночь напролет. Разговор переходил от новой книги миссис Хемфри Уорд к последней пьесе Шоу, через будущее драмы к воспоминаниям о Менсфилде. Они одобряли или высмеивали передовые статьи утренних газет, говорили об условиях труда в Новой Зеландии, а потом о Генри Джеймсе и Брандере Мэтьюзе, обсуждали притязания Германии на Дальнем Востоке и экономическую сторону «желтой опасности», ожесточенно спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, а там доходила очередь и до местных политических махинаций, до новейших замыслов и распрей руководства Объединенной рабочей партии, до сил, приведенных в действие, чтобы вызвать забастовку портовых рабочих. Мартина поразила их осведомленность. Им было известно то, о чем никогда не писали газеты – пружины, и рычаги, и невидимые глазу руки, которые приводят в движение марионеток. К удивлению Мартина, молодая хозяйка, Мэри, вступила в разговор и оказалась на редкость умной и знающей, таких женщин Мартин почти не встречал. Побеседовали о Суинберне и Россетти, а лотом она принялась толковать о таком, о чем он и представления не имел, завела его на боковые тропинки французской литературы. Он отыгрался, когда она принялась защищать Метерлинка, а он пустил в ход тщательно продуманные мысли, которые развивал в «Позоре солнца».

Появились еще несколько человек, в комнате стало не продохнуть от табачного дыма, и тут Бриссенден дал старт.

– Вот вам новая жертва, Крейс, – сказал он. – Неоперившийся птенец, пылкий поклонник Герберта Спенсера. Обратите его в геккельянца, если сумеете.

Крейс будто проснулся, засиял, как металл под лучом света, а Нортон посмотрел на Мартина сочувственно, с мягкой, девичьей улыбкой, словно обещая надежно его защитить.

Крейс повел наступление на Мартина, но Нортон вмешался раз, другой, третий, и вскоре между ним и Крейсом завязался ожесточенный поединок. Мартин слушал и не верил ушам. Невероятно, непостижимо, да еще в рабочем квартале к югу от Маркет-стрит. В устах этих людей ожили книги, которыми он зачитывался. Они говорили страстно, увлеченно. Мысль горячила, их, как других горячат алкоголь или гнев. Философия перестала быть сухими печатными строчками из книг легендарных полубогов вроде Канта и Спенсера. Философия ожила, воплотилась вот в этих двоих, наполнилась кипучей алой кровью, преобразила их лица. Порой кто-нибудь еще вставлял слово, и все зорко, напряженно следили за спором и не переставая курили.

Идеализм никогда не привлекал Мартина, но то, как преподносил его сейчас Нортон, было откровением. Логика нортоновских рассуждений показалась ему убедительной, но, видно, не убеждала Крейса и Хамилтона, они насмехались над ним, обличали его в метафизике, а он, в свою очередь, насмешливо обличал в метафизике их обоих. Противники метали друг в друга слова «феномен» и «ноумен». Те двое обвиняли Нортон в стремлении объяснить сознание, исходя из самого сознания. Нортон же обвинял их в жонглировании словами, в том, что они воздвигают теорию, опираясь на слово, тогда как теория должна опираться на факты. Такое обвинение их ошеломило. Ведь важнейший их принцип был – рассуждать, исходя из фактов, и фактам давать наименования.

Нортон углубился в философские сложности Канта, и Крейс напомнил ему, что все милые немецкие философийки, испустив дух, переправляются в Оксфорд. Немного погодя Нортон напомнил хамилтоновский закон краткости доказательств, и те двое тотчас заявили, что они-то

неуклонно следуют этому закону. Мартин сидел, обхватив руками колени, слушал и наслаждался. Однако Нортон вовсе не был последователем Спенсера и тоже покушался на душу новичка, – он не только возражал своим противникам, но и стремился обратить Мартина в свою веру.

– Как известно, Беркли так и не был опровергнут, – сказал он, прямо глядя на Мартина. – Больше всех в этом преуспел Герберт Спенсер, но и его успехи невелики. А большего не добиться даже самым верным последователям Спенсера. На днях я читал эссе Сейлиби, и он только и сказал, что Герберт Спенсер, опровергая Беркли, почти преуспел.

– А что сказал Юм, вам известно?-спросил Хамилтон. Нортон кивнул, но Хамилтон все равно продолжал для сведения остальных, – Он сказал, что аргументы Беркли неопровержимы, но не убеждают.

– Не убеждают Юма, – последовало возражение. – А у Юма та же точка зрения, что у вас, с одной лишь разницей: у него хватило мудрости признать, что Беркли неопровержим.

Нортон был чуток и уязвим, хотя ни на минуту не терял самообладания, Крейс же и Хамилтон. точно два свирепых дикаря, выискивали, куда бы побольнее кольнуть и ударить. Спор затянулся, и Нортон, выведенный из себя бесконечными обвинениями в метафизике, ухватился за стул, чтобы не вскочить, серые глаза его сверкали, девичье лицо стало жестким и уверенным, и он обрушился на позиция противника.

– Ладно, слушайте, вы, геккельянцы, пусть я рассуждаю как шаман, но, скажите на милость, вы-то как рассуждаете? Вам не на что опереться, вы носитесь со своим позитивизмом, вечно приплетаете его куда попало, совсем не к месту. Задолго до того, как появилась школа материалистического монизма, у него была уже выбита почва из-под ног и нет у него никакого фундамента. Это Локк сделал, Джон Локк. Двести лет назад... даже больше... в своем «Опыте о человеческом разуме» он доказал, что врожденных идей не существует. Ну, и прекрасно, а вы по сей день твердите, то же самое. Весь вечер уверяете меня, что врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек никогда не узнает реальную сущность вещей. При рождении в голове у человека пусто. Пять чувств могут дать мозгу представление лишь о внешнем, то есть о феноменах. Что касается ноуменов, при рождении их не существует, и они никак не могут проникнуть в мозг...

– Неверно.... – прервал было Крейс.

–Дай досказать!-крикнул Нортон. – О действии и взаимодействии силы и материи мы узнаем лишь постольку, поскольку они так или иначе приходят в соприкосновение с нашими чувствами. Видите, чтобы облегчить себе задачу, я готов допустить, что материя существует; и я намерен разбить вас с помощью ваших же доводов. По-другому этого не сделать, ведь вы оба по самой своей природе неспособны понять философскую абстракцию.

Так что же, исходя из вашей позитивной науки, вам известно о материи? Она известна вам только по ее феноменам, по ее внешним признакам. Вы воспринимаете лишь ее изменения, вернее, те ее изменения, которые что-то меняют в вашем сознании. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы, сумасброды, воображаете, что вам доступны ноумены, и мните себя онтологами. Однако по самому определению позитивной науки она занимается лишь внешней стороной явлений. Как сказал кто-то, знание, получаемое при помощи чувственного восприятия, не может подняться над феноменами.

Вы не можете опровергнуть Беркли, даже если вы полностью уничтожили Канта, и однако, утверждая, будто наука доказала, что бога не существует, или – а это одно и то же – что существует материя, вы волей-неволей признаете, что Беркли ошибается... Заметьте, я допускаю существование материи только для того, чтобы вы могли понять мою мысль. Будьте, если угодно, позитивистами, но в позитивной науке онтологии нет места, так что оставьте ее а

покое. Спенсер прав в своем агностицизме, но если Спенсер... Однако пора было уходить, чтобы поспеть на последний паром в Окленд, и Мартин с Бриссенденом выскользнули из комнаты, а Нортон все говорил, а Крейс с Хамилтоном ждали, когда он кончит, готовые наброситься на него подобно охотничьим псам.

– Вы дали мне заглянуть в волшебную страну, – сказал Мартин на пароме. – Когда видишь таких людей, стоит жить. У меня сейчас мысли так и кипят. Я впервые по достоинству оценил идеализм. Но принять его не могу. Нет, я всегда буду реалистом. Видно, уж таким уродился. Но хотел бы я кое-что ответить Крейсу и Хамилтону, и, пожалуй, у меня найдется словечко-другое и для Нортона. Не вижу, чтобы они в чем-то опровергли Спенсера. Никак не успокоюсь, чувствую себя мальчишкой, впервые побывавшим в цирке. Надо мне кое-что почитать. Непременно прочту Сейлиби. По-моему, Спенсер все равно неопровержим, и в следующий раз я вмешаюсь в спор.

Но Бриссенден уже дремал – дышал он тяжело, подбородком уткнулся в кашне, прикрывавшее впалую грудь, и тело его в длинном и чересчур просторном пальто подрагивало в такт оборотам гребных винтов.

На другое утро Мартин первым делом поступил и наперекор совету Бриссендена, и наперекор его распоряжению. Он упаковал «Позор солнца» и послал по почте в «Акрополь». Уж, наверно, найдется журнал, который напечатает его детище, и журнальная публикация привлечет внимание книжных издательств. «Эфемериду» он тоже упаковал и отправил в журнал. Предубеждение Бриссендена против журналов явно обратилось в манию, а все-таки, решил Мартин, великая поэма должна увидеть свет. Он, однако, не собирался ее печатать без разрешения автора. Пусть какой-нибудь из солидных журналов примет ее, и, вооружившись этим одобрением, можно будет снова выдержать бой с Бриссенденом и добиться его согласия.

В то утро Мартин сел за повесть, которую задумал больше месяца назад, и с тех пор она не давала ему покоя, так и рвалась на бумагу. По-видимому, это будет увлекательнейшая морская повесть, где все современно – и приключения и любовь, – где действуют подлинные герои, в подлинном мире, при подлинных обстоятельствах. Но за крутыми поворотами сюжета будет еще нечто, чего поверхностный читатель нипочем не разглядит, но от чего повесть ничуть не станет для него менее интересной и увлекательной. И не повесть сама по себе, а именно это скрытое нечто заставило Мартина сесть за нее. В сущности, его сюжеты всегда рождались из значительной; всеобъемлющей темы. Найдя такую тему, Мартин обдумывал характеры подходящих для ее воплощения героев, определял Подходящее место и время. Он решил назвать повесть «Запоздавший» и рассчитывал уложиться в шестьдесят тысяч слов-при его редкостной работоспособности суший пустяк. В этот первый день он с первых минут испытывал наслаждение мастера, сознающего, что он отлично владеет своими орудиями. Его уже не мучил страх, что острое соскользнет и испортит работу. Долгие месяцы напряженного труда и ученичества не пропали даром. Теперь можно было с уверенностью посвятить себя задачам посерьезнее, которые хотелось решить в повести; он работал час за часом, и, как никогда прежде, чувствовал, до чего уверенная у него хватка, как глубоко, всеобъемлюще он умеет показать жизнь и события жизни. «Запоздавший» поведает об определенных событиях из жизни определенных людей; но, спасибо Герберту Спенсеру, он, конечно же, поведает еще и нечто значительное, что будет правдой для всех времен, всех широт, для всей жизни, подумал Мартин, на миг откинувшись на стуле. Да-да, спасибо Герберту Спенсеру и вернейшему ключу к жизни, учению об эволюции, который вложил ему в руки Спенсер.

Мартин сознавал, что вещь получается значительная. «Она пойдет! Пойдет!» – звучало у него в ушах. Конечно, пойдет. Наконец-то он пишет то, за что наверняка ухватятся журналы. Повесть развернулась перед ним как огненный свиток. Мартин оторвался от нее лишь ненадолго, чтобы записать в блокноте один абзац. Это будет последний абзац «Запоздавшего», – так сложилась уже в голове вся книжка, что самый конец он мог написать задолго до того, как подошел к концу. Он сравнил свою еще не написанную повесть с морскими повестями других авторов и почувствовал, что она будет неизмеримо лучше. "Лишь один человек мог бы написать что-нибудь подобное, – пробормотал он, – это Конрад. И даже Конрад подскочит от удивления, пожмет мне руку и скажет: «Хорошо сработано, Мартин, дружище».

Он трудился весь день и лишь в последнюю минуту вспомнил, что должен обедать у Морзов. Спасибо Бриссендену, черный костюм вернулся из заклада и опять можно бывать на званных обедах. По пути Мартин успел еще забежать в библиотеку, чтобы взять какую-нибудь из книг Сейлиби. Ему попался «Цикл жизни», и в трамвае он открыл статью о Спенсере, которую упомянул Нортон. Он читал, и в нем разгоралось бешенство. Он побагровел, стиснул зубы, и сам того не замечая, сжимал, разжимал и вновь сжимал кулак, будто держал какую-то гадину и

хотел придушить ее насмерть. Сойдя с трамвая, он зашагал быстрым шагом разъяренного человека и с такой злостью нажал на звонок у двери Морзов, что сразу опомнился и вошел в дом уже с улыбкой, потешаясь над самим собой. Но едва вошел, его охватило глубокое уныние. Он упал с высоты, где парил весь день на крыльях вдохновения. «Буржуа», «логово торгаша» – эхом отдавались в уме слова Бриссендена. Но что из того? – сердито спросил он себя. Он женится на Руфи, а не на ее семье.

Казалось, никогда еще он не видел Руфь такой красивой, одухотворенной, воздушной и вместе с тем такой цветущей. Щеки порозовели, глаза так и манили-глаза, в которых он впервые увидел вечность. В последнее время он забыл о вечности, научное чтение уводило его в сторону; но вот оно, в глазах Руфи, доказательство, что вечность существует, и оно убедительнее всяких речей. Все споры исчезали перед ее глазами, потому что в ее глазах он видел любовь. И в его глазах была любовь, а любовь неопровержима. Такова была его страстная вера.

Те полчаса, что Мартин провел с Руфью перед обедом, он был безмерно счастлив, доволен жизнью. Но все равно за столом пришла неизбежная реакция, после напряженного рабочего дня никаких сил не осталось. Он сознавал, что глаза у него усталые и внутри накапливается досада. Вспомнилось, что за этим самым столом, где теперь он ощущал презрение, а чаще скуку, он когда-то впервые обедал среди образованных людей, приобщался к тому, что казалось ему высшей культурой и утонченностью. Представилось, до чего он был жалок в ту далекую пору: смущенный дикарь, мучительно перепуганный, весь в поту, озадаченный множеством непонятных штучек, с помощью которых следовало есть, как он трепетал перед грозным лакеем, как пытался с маху приобщиться к жизни, что ведут в этом обществе, на головокружительных высотах, а под конец решил честно быть самим собой, не прикидываясь, будто все ему понятно, будто он знает, как себя здесь вести.

Чтобы успокоиться, Мартин глянул на Руфь, так пассажир на пароходе, вдруг со страхом подумав о кораблекрушении, ищет глазами спасательный круг. Что ж, это он, во всяком случае; здесь нашел-любовь и Руфь. Все остальное не выдержало испытания книгами. А вот Руфь и любовь выдержали; биология подтверждает их правомерность. Любовь – самое возвышенное выражение жизни. Для любви хлопотала природа, создавая и его и всех нормальных людей. Десять тысяч веков трудилась она, да что там – сто тысяч, миллион, и он, человек, лучшее, что она создала. Это она обратила его любовь в сильнейшую движущую силу и увеличила ее могущество в мириады раз, наделив его даром воображения, она послала его в мир преходящий, чтобы он трепетал восторгом и нежностью и сливался с любимой. Рука Мартина под столом нашла рядом руку Руфи, и они обменялись жарким пожатием. Она кинула на Мартина быстрый взгляд, глаза ее сияли, полные нежности. И он, охваченный трепетом, тоже смотрел на нее глазами сияющими и нежными; но он не понимал, что сияние и нежность ее взгляда, – лишь слабое отражение того, что прочла она в его глазах.

Перед Мартином, наискосок, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блаунт, член верховного суда штата. Мартин не раз встречался с ним и недолго любил его... Этот судья и отец Руфи рассуждали о политике профсоюзов, о положении дел в Окленде, о социализме, и вот социализмом мистер Морз нет-нет да попрекал Мартина. Наконец судья Блаунт посмотрел через стол, благодушно и по-отечески снисходительно. Мартин улыбнулся про себя.

– Вы перерастете это, молодой человек, – утешил он. – Время – лучшее лекарство от детских болезней. – Он повернулся к Морзу. – Я полагаю, споры в таких случаях бесполезны. Пациент только становится еще упрямее, отстаивая свою точку зрения.

– Это верно, – с важностью согласился мистер Морз. – Но больного иной раз следует предостеречь, что недуг серьезен.

Мартин весело рассмеялся, но далось ему это нелегко. Слишком длинный был день,

слишком много потрачено сил, такое даром не проходит.

– Вы оба, несомненно, отличные доктора, – сказал он, – но если вас хоть немного интересует мнение пациента, позвольте сказать вам, что диагносты вы неважные. В сущности, вы оба страдаете той самой болезнью, которую приписываете мне. Что же до меня, я к ней не восприимчив. Недозрелая философия социализма, которая будоражит вам кровь, меня не коснулась.

– Недурно, недурно, – пробормотал судья. – Отличный прием в споре – приписать свои взгляды противнику.

– Я сужу по вашим же словам. – Глаза Мартина сверкали, но он не давал себе воли. – Видите ли, судья, я слушал ваши предвыборные речи. Благодаря некоему логическому кунштюку

– это, кстати сказать, мое любимое, хоть и никому не понятное определение, – вы убедили себя, что верите в систему конкуренции и выживания сильнейшего, и в то же время со всей решительностью поддерживаете всевозможные меры, направленные на то, чтобы сильнейшего обессилить.

– Молодой человек...

– Не забывайте, я слышал ваши предвыборные речи, – предостерег Мартин. – Все это широко известно: и ваше мнение относительно упорядочения торговли между штатами, и об ограничении железных дорог и «Стандартойл», и о сохранении лесов, и относительно тысячи других подобных мер, – а это есть не что иное как социализм.

– Вы что же хотите сказать, что не верите в необходимость ограничить непомерную власть?

– Не о том спор. Я хочу сказать, что вы плохой диагност. Хочу сказать, что я не заражен микробом, социализма. Хочу. сказать, что не я, а вы выхолощены болезнью, вызванной этим микробом. Я же закоренелый противник социализма, как и вашей ублюдочной демократии, которая по сути своей просто лжесоциализм, прикрывающийся одеянием из слов, которые не выдержат проверки толковым словарем.

Я реакционер, такой законченный реакционер, что мою позицию вам не понять, ведь вы живете в обществе, где все окутано ложью, и сквозь этот покров неспособны ничего разглядеть. Вы только делаете вид, будто верите, что выживает и правит сильнейший. А я действительно верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе, всего на несколько месяцев, я верил в то же, что и вы. Видите ли, ваши идеи, идеи ваших сторонников произвели на меня впечатление. Но лавочники и торгаши, – правители в лучшем случае трусливые; они знают одно – толкуются и хрюкают у корыта, стараясь ухватить побольше, и я отшатнулся

– если угодно, к аристократии. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства, я верю в сильную личность, в настоящего крупного человека-только он спасет государство, которое сейчас гнило и никчемно.

Ницше был прав. Не стану тратить время и разъяснять, кто такой Ницше. Но он был прав. Мир принадлежит сильному, сильному, который при этом благороден и не валяется в свином корыте торгашества и спекуляции. Мир принадлежит людям истинного благородства, великолепным белокурым бестиям, умеющим утвердить себя и свою волю. И они поглотят вас-социалистов, которые боятся социализма и мнят себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль сговорчивых и почтительных нипочем вас не спасет. Да, конечно, вы в этом ничего не смыслите, я больше не стану вам этим докучать. Но одно запомните. В Окленде индивидуалистов раз-два-и обчелся, и один из них-Мартин Иден.

И он повернулся к Руфи давая понять, что больше спорить не намерен.

– Я сегодня издерган, – вполголоса сказал он, – Мне хочется не разговоров, а любви.

– Вы не убедили меня, – сказал мистер Морз. – Все социалисты-иезуиты. Это их верный

признак.

Мартин пропустил его слова мимо ушей.

– Мы еще сделаем из вас доброго республиканца, – сказал судья Блаунт.

– Ну, сперва явится настоящая сильная личность, – добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.

Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравилось, что будущий зять ленив, не склонен к разумной скромной работе, не вызывали уважения его взгляды, и сам он был непонятен. И мистер Морз перевел разговор на Герберта Спенсера. Судья Блаунт умело его поддержал, а Мартин, слышав имя философа, мигом насторожился и стал слушать, как судья, исполненной важности и самодовольства, обличает Спенсера. Время от времени мистер Морз посматривал на Мартина, будто говорил: «Вот так-то, мой дорогой».

– Болтливые сороки, – прошептал Мартин и продолжал разговаривать с Артуром и Руфью.

Но долгий утомительный день и вчерашняя встреча с людьми из настоящего теста давали себя знать, да еще он кипел из-за прочитанной в трамвае статьи.

– Что с тобой? – вдруг тревожно спросила Руфь, почувствовав, что он с трудом сдерживается.

– Нет бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его, – говорил в эту минуту судья Блаунт.

Мартин не выдержал и обернулся к нему.

– Грошовой остроумие, – негромко заговорил он. – Впервые я услышал эту фразу в Муниципальном парке из уст рабочего, который должен бы соображать получше. С тех пор я часто ее слышал, и от этой трескучей фразы меня каждый раз тошнит. Постыдились бы! Слышать имя этого благородного, великого человека из ваших уст-все равно что увидеть каплю росы в выгребной яме. Вы омерзительны.

Это было как гром среди ясного неба. Судья Блаунт свирепо уставился на Мартина, весь побагровел, словно его вот-вот хватит удар, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Мистер Морз втайне ликовал. Дочь явно шокирована. Что и требовалось; наконец-то проявилась хулиганская натура этого молодчика, которого он невзлюбил.

Рука Руфи умоляюще сжала под столом руку Мартина, но он уже закусил удила. Его бесили претензии и фальшь этих неспособных мыслить господ, что занимают высокие посты. Член Верховного суда штата! Всего каких-нибудь два года назад он, Мартин, взирал из болота на таких вот знаменитостей и почитал их богами.

Судья Блаунт пришел в себя и попытался продолжать, обращаясь к Мартину с подчеркнутой учтивостью, что, как понял Мартин, делалось ради дам. И Мартин еще сильнее разозлился. Неужто в мире вовсе не осталось честности?

– Где вам спорить со мной о Спенсере!-воскликнул Мартин. – Вы знаете его не лучше, чем его соотечественники. Понимаю, это не ваша вина. Таково уж презренное невежество нашего времени. Сегодня вечером, по дороге сюда, я столкнулся с его образчиком, я читал статью Сейлиби о Спенсере. Вам не мешало бы ее прочесть. Она доступна. Можете купить в любом книжном магазине или взять в библиотеке. Вас бы разобрал стыд, ваше невежество, ваши оскорбления и мелочные нападки на благородного человека – сущие пустяки перед тем, что наворотил Сейлиби. Это уж такой стыд и срам, что ваша постыдная болтовня по сравнению с ним невинный лепет.

Некий философ-академик, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, назвал его «Философом недоучек». Сомневаюсь, чтоб вы прочли хоть десять страниц Спенсера, но существовали критики

– и, надо думать, поумнее вас, – которые прочли из него не больше вашего и, однако,

посмели заявить, будто в его сочинениях нет ни одной дельной мысли, – и это о Спенсере, чей гений наложил печать на все научные исследования, на все современное мышление, о человеке, который стал отцом психологии, который произвел переворот в педагогике, так что сегодня сынишку французского крестьянина обучают грамоте и арифметике, следуя принципам Спенсера. И это презренное комариное племя набрасывается на него, оскорбляет его память, а само кормится его идеями, применяет их в жизни. Ведь тем немногим, что осело у них в мозгах, они прежде всего обязаны Спенсеру. Не будь Спенсера, у этих ученых попугаев не оказалось бы и малой толики подлинного знания.

И однако даже ректор Фербенкс из Оксфорда, человек, чье положение повыше вашего, судья Блаунт, сказал, что потомки отвергнут Спенсера, скорее назвав его мечтателем и поэтом, чем мыслителем. Да вся эта шатия сплошь – болтуны и брехуны. Один изрек: «Основные начала» не вовсе лишены литературных достоинств". А другие заявляли, что он не оригинальный мыслитель, а просто усердный труженик. Болтуны и брехуны! Болтуны и брехуны!

Мартин круто оборвал свою речь, и в комнате воцарилась мертвая тишина. В семье Руфи судью Блаунта почитали как человека влиятельного и достигшего высокого положения, и вспышка Мартина всех ужаснула. Остаток вечера прошел как на похоронах, судья Блаунт и мистер Морз беседовали только друг с другом, общий разговор никак не клеился. А потом, когда Руфь осталась наедине с Мартином, разразилась буря.

– Ты невыносим, – рыдала она. Но его гнев еще не потух, и он продолжал бормотать:

– Скоты! Скоты!

Руфь сказала, что он оскорбил судью.

– Сказав ему правду в глаза? – возразил Мартин.

– Мне все равно, правда это или неправда, – настаивала она. – Существуют границы приличия, и ты не имеешь права никого оскорблять.

– А тогда какое право у судьи Блаунта оскорблять правду?

– резко спросил Мартин. – Уж конечно, нападать на правду куда предосудительней, чем оскорбить ничтожество вроде этого Блаунта. А он поступил еще хуже. Он чернил мя великого, благородного человека, которого уже нет в живых. Ах скоты! Скоты!

Мартин снова разъярился, слишком много было для этого причин, и Руфь пришла в ужас. Никогда еще не видела она его в такой ярости и не могла понять этого непостижимого сумасбродства. И однако к ужасу примешивалось восхищение, которое все еще влекло ее к Мартину, и вот она прислонилась к нему, и в этот миг наивысшего напряжения обняла его за шею. Она была уязвлена и возмущена его выходкой и, однако, трепеща, прильнула к нему, а он, обнимая ее, бормотал: «Скоты! Скоты!» И потом, все еще обнимая ее, сказал:

– Руфь, милая, я больше не буду у вас обедать и портить твоим настроением. Они меня не любят, зачем же мне им навязываться, раз я им не по вкусу. И ведь они мне тоже не по вкусу. Тьфу! Мне от них тошно. И подумать только, до чего я был глуп-воображал, если кто занимает высокие посты и живет в красивых домах и у него есть образование и счет в банке, значит, это люди достойные!

– Пошли! Идемте к здешним социалистам! Так говорил Бриссенден, еще слабый после кровохарканья, которое произошло полчаса назад, второй раз за три дня. И, верный себе, осушил зажатый в дрожащих пальцах стакан виски.

– Да на что мне социализм? – вскинулся Мартин.

– Постороннему тоже можно произнести речь, дается пять минут, – уговаривал больной. – Заведитесь и выскажитесь. Скажите им, почему вы противник социализма. Скажите, что вы думаете о них и об их сектантской этике. Обрушьте на них Ницше, и получите за это взбучку. Затеите драку. Им это полезно. Им нужен серьезный спор, и вам тоже. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы стали социалистом прежде, чем я помру. Это придаст смысл вашей жизни. Только это и спасет вас в пору разочарования, а его вам не миновать.

– Для меня загадка, почему вы, именно вы, социалист, – размышлял Мартин. – Вы так ненавидите толпу. Ну что в этой черни может привлечь вашу душу завязанного эстета. Похоже, социализм вас не спасает. – И он укоризненно показал на стакан, Бриссенден снова наливал себе виски.

– Я серьезно болен, – услышал он в ответ. – Вы-дело другое. У вас есть здоровье и многое, ради чего стоит жить, и надо покрепче привязать вас к жизни. Вот вы удивляетесь, почему я социалист. Сейчас объясню. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй прогнил, вопиюще противоречит здравому смыслу и обречен; потому что времена вашей сильной личности прошли. Рабы ее не потерпят. Их слишком много, и волей-неволей они повергнут наземь так называемую сильную личность еще прежде, чем она окажется на коне. Никуда от них не денешься, и придется вам глотать их рабскую мораль. Признаюсь, радости мало. Но все уже началось, и придется ее заглотать. Да и все равно вы с вашим ницшеанством старомодны. Прошлое есть прошлое, и тот, кто утверждает, будто история повторяется, лжет. Конечно, я не люблю толпу, но что мне остается, бедняге? Сильной личности не дождешься, и я предпочту все, что угодно, лишь бы всем не заправляли нынешние трусливые свиньи. Ну ладно, идемте. Я уже порядком нагрузился и, если посижу здесь еще немного, напьюсь вдрызг. А вам известно, что сказал доктор... К черту доктора! Он у меня еще останется в дураках.

Был воскресный вечер, и в маленький зал до отказа набились оклендские социалисты, почти сплошь рабочие. Оратор, умный еврей, вызвал у Мартина восхищение и неприязнь. Он был сутулый, узкоплечий, с впалой грудью. Сразу видно: истинное дитя трущоб, и Мартину ясно представилась вековая борьба слабых, жалких рабов против горстки властителей, которые правили и будут править ими до конца времен. Этот тщедушный человек показался Мартину символом. Вот олицетворение всех слабых и незадачливых, тех, кто, согласно закону биологии, гибнет на задворках жизни. Они не приспособлены к жизни. Несмотря на их лукавую философию, несмотря на муравьиную склонность объединять свои усилия. Природа отвергает их, предпочитая личность исключительную. Из множества живых существ, которых она щедрой рукой бросает в мир, она отбирает только лучших. Ведь именно этим методом, подражая ей, люди выводят скаковых лошадей и первосортные огурцы. Без сомнения, иной творец мог бы для иной вселенной изобрести метод получше; но обитатели нашей вселенной должны приспособливаться к ее миропорядку. Разумеется, погибая, они еще пробуют извернуться, как изворачиваются социалисты, как вот сейчас изворачиваются оратор на трибуне и обливаемая потом толпа, когда они тут все вместе пытаются изобрести новый способ как-то смягчить тяготы жизни и перехитрить свою вселенную.

Так думал Мартин, и так он и сказал, когда Бриссенден подбил его выступить и задать всем

жару. Он повиновался и, как было здесь принято, взошел на трибуну и обратился к председателю. Он начал негромко, запинаясь, на ходу формулируя мысли, которые закипели в нем, пока говорил тот еврей. На таких собраниях каждому оратору отводили пять минут; но вот время истекло, а Мартин только еще разошелся и ударил по взглядам социалистов разве что из половины своих орудий. Он заинтересовал слушателей, и они криками потребовали, чтобы председатель продлил Мартину время. Они увидели в нем достойного противника и ловили каждое его слово. Горячо, убежденно, без обиняков, нападал он на рабов, на их мораль и тактику и ничуть не скрывал от слушателей, что они и есть те самые рабы. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и утверждал, что все в мире развивается по законам биологии.

– Итак, – наконец подвел он итог. – Государство, состоящее из рабов, выжить не может. Извечный закон эволюционного развития действителен и для общества. Как я уже показал, в борьбе за существование для сильного и его потомства естественней выжить, а слабого и его потомство сокрушают, и для них естественней погибнуть. В результате сильный и его потомство выживают, и пока существует борьба, сила каждого поколения возрастает. Это и есть развитие. Но вы, рабы, – согласен, быть рабами участь незавидная, – но вы, рабы, мечтаете об обществе, где закон развития будет отменен, где не будут гибнуть слабые и неприспособленные, где каждый неприспособленный получит вволю еды, где все переженятся и у всех будет потомство – у слабых так же, как у сильных. А что получится? Сила и жизнестойкость не будут возрастать от поколения к поколению. Наоборот, будут снижаться. Вот вам возмездие за вашу рабскую философию. Ваше общество рабов, построенное рабами и для рабов, неизбежно станет слабеть и рассыплется в прах – по мере того как будут слабеть и вырождаться члены этого общества. Не забывайте, я утверждаю принципы биологии, а не сентиментальной этики. Государство рабов не может выжить...

– А как же Соединенные Штаты?.. – крикнул кто-то с места.

– И в самом деле, как же Соединенные Штаты?-отозвался Мартин. – Тринадцать колоний сбросили своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе хозяева. Никто не правил ими сильной рукой. Но жить безо всяких правителей невозможно, и появились правители новой породы – крупных, мужественных, благородных людей сменили хитрые пауки-торгаши и ростовщики. И они опять вас поработили, но не открыто, по праву сильного с оружием в руках, как сделали бы истинно благородные люди, а исподтишка, при помощи паучьих ухищрений, лести, пресмыкательства и лжи. Они купили ваших рабские судей, развратили ваших рабских законников и обрекли ваших сыновей и дочерей на ужасы, пострашней рабского труда на плантациях. Два миллиона ваших детей непосильно трудятся сегодня в Соединенных Штатах, в этой олигархии торговцев. У вас, десяти миллионов рабов, нет сносной крыши над головой, и живете вы впроголодь.

Так вот. Я показал вам, что общество рабов не может выжить, потому что по самой природе своей это общество опровергает закон развития. Стоит создать общество рабов, и оно начинает вырождаться. Легко вам на словах опровергать всеобщий закон развития, ну, а где он, новый закон развития, который послужит вам опорой? Сформулируйте его. Он уже сформулирован? Тогда объявите его во всеуслышание.

Под взрыв криков Мартин прошел к своему месту. Человек двадцать вскочили на ноги и требовали, чтобы председатель предоставил им слово. Один за другим, поддерживаемые, одобрительными возгласами, они горячо, увлеченно, в азарте размахивая руками, отбивали нападение. Буйный был вечер, но то было интеллектуальное буйство-битва идей. Кое-кто отклонялся в сторону, но большинство ораторов прямо отвечали Мартину. Они ошеломляли его новым для него ходом мысли, и ему открывались, не новые законы биологии, а новое толкование старых законов. Спор слишком задевал их за живое, чтобы постоянно соблюдать

вежливость, и председатель не раз яростно стучал, колотил по столу, призывая к порядку.

Случилось так, что в зале сидел молокосос-репортер, которого отрядили туда в день, небогатый событиями, и он исступленно жаждал сенсации. Журналист он был самый заурядный. Этакое легкомысленное и бойкое перо. Уследить за спором он по невежеству не мог. И сидел с приятным чувством своего неизмеримого превосходства над этими одержимыми болтунами из рабочего класса. Вдобавок он питал величайшее уважение ко всем, кто занимает высокие посты и определяет политику государств и газет. А еще у него была мечта – достичь того свойственного идеальному репортеру совершенства, при котором из ничего можно сделать нечто, и даже весьма шумное нечто.

О чем тут спорили, он так и не понял. Да и на что ему было понимать. В таких словах, как «революция», он обрел ключ. Как палеонтолог способен воссоздать весь скелет по одной выкопанной кости, так и он готов был воссоздать всю речь по одному слову «революция». Он сделал это той же ночью, и сделал недурно; а поскольку больше, всего шуму поднялось от выступления Мартина, молокосос-репортер всю сочиненную им речь приписал ему, сделал его главным заправилкой всего действия, преобразив его реакционный индивидуализм в самую что ни на есть зажигательную речь социалиста, «красного». Сей молокосос был еще и художественной натурой – широкими мазками он наложил местный колорит – ораторствуют длинноволосые, с горящими глазами истерики и выродки, голоса дрожат от страсти, вскидываются сжатые кулаки, и все это на фоне ругани, воплей, хриплого рычания разъяренных людей.

Назавтра Мартин за кофе читал в своей комнатухе утреннюю газету. Впервые увидел он свое имя в газетном заголовке, да еще на первой странице, и с удивлением узнал, что он-известнейший вождь оклендских социалистов. Он пробежал пылкую речь, которую сфабриковал для него репортер, поначалу возмутился, а под конец со смехом отбросил газету.

– Он настроил это либо спьяну, либо по злему умыслу, – сказал Мартин попозже днем, сидя на кровати, когда Бриссенден пришел и тяжело опустился на единственный стул.

– Не все ли вам равно? – спросил Бриссенден. – Вам же не нужно одобрение гнусных буржуа, которые читают эту газету. Мартин ответил не сразу.

– Нет, что до их одобрения, оно ничуть меня не волнует,

– сказал он, – я ничуть его не ищу. Но тут есть другая сторона: скорее всего эта история несколько осложнит мои отношения с семьей Руфи. Ее отец всегда утверждает, что я социалист, и это дурацкое вранье окончательно его убедит в своей правоте. Не скажу, чтобы меня волновало его мнение... а, да какая разница? Я хочу вам прочесть то, что написал сегодня. Это, разумеется, «Запоздавший», я уже дошел почти до середины.

Он читал вслух, и вдруг Мария распахнула дверь и впустила в комнату молодого человека в чистеньком костюмчике – тот быстро огляделся, явно заметил керосинку и кухню в углу и лишь потом перевел Взгляд на Мартина.

– Присаживайтесь, – сказал Бриссенден.

Мартин подвинулся; освобождая посетителю место, и ждал объяснения – зачем он пожаловал. – Вчера вечером я слушал вашу речь, мистер Иден, и пришел взять у вас интервью, – начал тот. Бриссенден рассмеялся.

– Собрат-социалист? – спросил репортер, окинув Бриссендена быстрым взглядом: бледный, тощий, почти уже мертвец-неоценимая находка для газетной сенсации.

– И это он написал тот отчет, – негромко, сказал Мартин. – Да он же совсем мальчишка!

– Почему вы не взгреете его? – спросил Бриссенден. – Вернули бы мне на пять минут мои легкие, тысячу долларов не пожалел бы.

Молокосос был несколько озадачен этим разговором о нем при нем и все же как будто его здесь нет. Но ведь за блестящее описание собрания социалистов его похвалили и отрядили взять интервью у Мартина Идена, вождя организованной угрозы обществу.

– Вы не против, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? – спросил он. – На улице ждет наш редакционный фотограф, и он говорит, лучше сфотографировать вас прямо сразу; пока не село солнце. А после можно будет взять интервью.

– Фотограф, – раздумчиво произнес Бриссенден. – Взгрейте его, Мартин, взгрейте!

– Наверно, я старею, – был ответ. – Надо бы взгреть, да что-то неохота. Не стоит того.

– Ради его матери, – убеждал Бриссенден.

– Об этом стоит подумать, – ответил Мартин. – Но нет, вряд ли стоит тратить на него порох. Понимаете, взгреть парня-для этого нужен порох. Да и какой смысл?

– Верно... ясное дело, – весело объявил молокосос, а сам уже с опаской поглядывал на дверь.

– Но там сплошная неправда, ни слова правды не написал, – продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.

– Понимаете, это же общий очерк, – отважился вставить репортер, – и потом, такой очерк прекрасная реклама. Вот что важно. Это вам на пользу.

– Прекрасная реклама, Мартин, дружище, – внушительно повторил Бриссенден.

– И мне на пользу... подумать только!-подбавил Мартин.

– Одну минутку... где вы родились, мистер Иден? – спросил молокосос, выразив на лице усиленное внимание.

– Он не делает заметок, – сказал Бриссенден. – Он все помнит.

– Я обхожусь без заметок, – молокосос старался не выдать тревоги. – Умелый репортер не нуждается в заметках.

– Он обошелся без заметок... для вчерашнего отчета. – Но Бриссенден отнюдь не исповедовал квиетизм и вдруг резко переменял позицию. – Если вы не взгреете его, Мартин, так взгрею я, даже если сразу после этого упаду за мертвое.

– Может быть, просто его отшлепаем? – спросил Мартин.

Бриссенден обдумал его предложение и кивнул. Миг – и Мартин уже сидел на краю кровати, а юный репортер лежал лицом вниз у него на коленях.

– Смотри не кусайся, – предостерег Мартин, – не то придется заехать в морду, обидно будет, вон ты какой красавчик.

Поднятая рука Мартина опустилась – и пошло, и пошло, вверх, вниз, быстро, размеренно. Молокосос вырывался, ругался, извивался, но кусаться не смел. Бриссенден пресерьезно на это взирал, но в какую-то минуту увлекся и, сжимая бутылку виски, взмолился:

– Ну-ка, я разок попробую.

– Жалко, рука устала, – сказал наконец Мартин и отступился. – Совсем онемела.

Он приподнял молокососа и водрузил на кровать.

– Погодите, я упрячу вас за решетку, – огрызнулся мальчишка, по багровым щекам текли слезы злой обиды. – Вы еще поплатитесь. Я вам покажу.

– Ну и ну! – заметил Мартин. – Он даже не понимает, что ступил на скользкую дорожку. Возвести поклеп на ближнего своего непорядочно, недостойно, не по-мужски, а он такое натворил и не понимает:

– Он пришел к нам, чтобы его вразумили, – вставил Бриссенден.

– Да, пришел ко мне, а сперва оклеветал меня я напакостил мне. Теперь бакалейщик наверняка откажет мне в кредите. И, что самое скверное, несчастный мальчишка не сойдет с этой дорожки, покуда не выродится в первоклассного газетчика и первоклассного негодяя.

– Но еще не все потеряно, – промолвил Бриссенден. – Как знать, может, вы окажетесь скромным орудием его спасения. Почему вы не даете мне двинуть ему хоть разок. Я бы тоже рад приложить руку к его спасению.

– Я в-в-в-вас засажу, о-об-боих васажу, с-с-ско-ты, – рыдала заблудшая душа.

– Нет, слишком у него красивенький да слабовольный ротик, – скорбно покачал головой Мартин. – Боюсь, понапрасну я натрудил руку. Этого молодого человека не исправишь. В конечном счете он станет весьма знаменитым преуспевающим газетчиком. У него нет совести. Уже одно это приведет его к славе.

При таких словах молокосос ступил на порог, до последней минуты трепеща, что Бриссенден запустит в него бутылкой, которую еще сжимал в руках.

Назавтра из утренней газеты Мартин узнал о себе еще немало нового. «Мы заклятые враги общества, – оказывается, сказал он во, время интервью. – Нет, мы не анархисты, мы социалисты». Репортер заметил ему, что между двумя течениями разница как будто невелика, и Мартин в знак согласия молча пожал плечами. Лицо у него, оказывается, резко асимметричное, описаны и другие признаки вырождения. Особенно бросаются в глаза руки типичного убийцы и свирепый блеск налитых кровью глаз.

Мартин узнал также, что по вечерам он выступает перед рабочими в Муниципальном парке и что среди анархистов и социалистов, которые там будоражат умы, он привлекает больше всего

народу и произносит самые революционные речи. Молокосос живо описал жалкую комнатуху Мартина с керосинкой к единственному стулом и его приятеля, жуткого бродягу, который, выглядит так, будто он только что вышел из одиночной камеры после двадцати лет заточения в крепости.

Молокосос не терял времени даром. Где он только не побывал, немало разнюхал о родных Мартина и сфотографировал лавку Хиггинботема, а перед ней-хозяина, Бернарда Хиггинботема собственной персоной. Сей джентльмен был изображен как рассудительный, исполненный достоинства коммерсант, которого глубоко возмущают социалистические взгляды шурина, а сам шурин, по его определению, бездельник и лодырь, не желает устраиваться на работу, когда ему предлагают, и наверняка угодит за решетку. Было взято интервью и у Германа Шмидта, мужа Мэриан. Он назвал Мартина паршивой овцой их семейства и решительно отрекся от него. «Он пытался тянуть с меня денежки, но я живо его отвадил, – сказал Шмидт репортеру. – Знает, бездельник, что у нас ему не поживиться. От человека, который не хочет работать, хорошего не жди, можете мне поверить».

На этот раз Мартин не на шутку обозлился. Бриссендена все это только забавляло, но его уговоры не утешали Мартина, который понимал, что предстоит трудное объяснение с Руфью. Ну, а ее папаша, несомненно, в восторге и уж постарается извлечь из случившегося все, что можно, чтобы расстроить помолвку. Как постарался мистер Морз, Мартину пришлось узнать очень скоро. Послеобеденная почта принесла письмо от Руфи. Предчувствуя беду, Мартин вскрыл письмо и прочел тут же, возле двери, едва получив. Читая, он машинально полез в карман за табаком и бумагой, как бывало, пока он не бросил курить. Он не сознавал, что карман пуст, не сознавал даже, чего ищет.

Письмо было очень спокойное. Никаких следов гнева. Но в каждой строчке, с начала и до конца, чувствовалось, что Руфь оскорблена и разочарована. Он обманул ее ожидания. Она надеялась, что он одолеет свою ребяческую необузданность, сумеет оценить ее любовь к нему и научится жить, как подобает серьезному и порядочному человеку. А теперь ее родители решительно потребовали, чтобы она порвала с ним. Она не может не признать, что у родителей есть для этого все основания. Они с Мартином не пара и не могут быть счастливы друг с другом. Все это было ошибкой с самого начала. Лишь об одном пожалела она в письме, и это больно задело Мартина. «Если бы только Вы поступили на службу и попробовали себя на каком-нибудь поприще, – писала она. – Но этого просто не могло быть. Слишком сумасбродной, беспорядочной была прежде вся Ваша жизнь. Я понимаю, это не Ваша вина. Вы могли поступать только в соответствии со своим характером и воспитанием. И потому не виню Вас, Мартин. Пожалуйста, помните об этом. Просто мы совершили ошибку. Мои родители были правы, мы не созданы друг для друга, и следует радоваться, что это выяснилось не слишком поздно... Не пытайтесь увидеться со мной, – писала под конец Руфь. – Встреча была бы трудна и для нас обоих, и для мамы. Я чувствую, что и так доставила ей слишком много мучений и тревоги. Мне понадобится, много времени, чтобы искупить свою вину».

Мартин внимательно, с начала до конца перечитал письмо и сел писать ответ. Он коротко пересказал свое выступление на собрании социалистов и подчеркнул, что оно было прямой противоположностью речам, которые приписала ему газета. А конец письма был страстной мольбой влюбленного, взывающего к любимой. «Прошу тебя, ответь, – писал он, – и напиши лишь об одном. Ты меня любишь? Только на этот единственный вопрос я жду ответа».

Но ни завтра, ни через день ответа не было. «Запоздавший» лежал нетронутый на столе, а под столом с каждым днем росла гора возвращенных рукописей. Впервые богатырский сон Мартина нарушила бессонница, и долгими ночами он без сна ворочался с боку на бок. Трижды звонил он у двери Морзов, и служанка, открывавшая дверь, трижды не впускала его. Бриссенден

лежал больной у себя в гостинице, не в силах выйти, и хотя Мартин часто навещал его, но не хотел беспокоить своими неприятностями.

А неприятностей было хоть отбавляй. Последствий выходки молокососа-репортера оказалось еще больше, чем предвидел Мартин. Бакалейщик-португалец отказал ему в кредите, а зеленщик, который был чистокровным янки и гордился этим, назвал его предателем родины и вовсе отказался иметь с ним дело— патриотизм его так разыгрался, что он перечеркнул счет Мартина, пусть предатель и не пытается отдать ему долг. Подобные же настроения чувствовались и в пересудах соседей, их возмущение разгоралось с каждым часом. Все отвернулись от предателя-социалиста. Несчастную Марию одолевали сомнения и страхи, но она по-прежнему была предана Мартину. Соседские ребятишки оправились от благоговейного трепета, который им внушил приехавший однажды к Мартину великолепный экипаж, и с безопасного расстояния обзывали его «лодырем» и «бродягой». Однако выводок Сильва решительно стоял за него, дал не один жестокий бой, защищая его честь, и, в придачу, ко всем Мариным волнениям и заботам, теперь дня не проходило без синяков и расквашенных носов.

Однажды на улице в Окленде Мартин повстречался с Гертрудой и узнал то, чего и следовало ждать:

Бернард Хиггинботем взбешен, заявил, что Мартин опозорил семью и чтоб его ноги не было у них в доме.

— Уехать бы тебе, Мартин!-взмолилась Гертруда. — Уезжай, подыщи где-нибудь работу, остепенись. А поутрясется все, забудется, тогда и воротись.

Мартин покачал головой, но объяснять ничего не стал. Что тут объяснишь? Он был потрясен тем, какая пропасть непонимания разверзлась между ним и его родными. Никогда не перебраться ему через эту пропасть, не объяснить свою точку зрения, ницшеанскую точку зрения на социализм. Нет таких слов в его родном языке, да и в любом другом, языке, чтобы растолковать им его взгляды и поведение. По их понятиям, для него самое правильное найти постоянную работу. С этого они начинают и этим кончают. Таков их лексикон прописных истин. Найди место! Устройся на работу! Несчастные тупые рабы, думал он, слушая сестру. Неудивительно, что мир принадлежит сильным. Рабы помешаны на своем рабстве. Для них работа — золотой идол, перед которым они падают ниц, которому поклоняются.

Гертруда предложила брату денег, и он опять покачал головой, хоть и знал, завтра не миновать идти к ростовщику.

— От Бернарда держись подальше, — предостерегла она. — Пройдет месяца три, поостынет он, тогда, глядишь, и возьмет тебя, если захочешь, возчиком, товар возить. А если во мне какая нужда, пошли за мной, я-то приду. Не забывай.

Шумно всхлипывая, она пошла прочь, и при виде этой грузной фигуры, этой неуклюжей походки жалость пронзила Мартина. Он глядел вслед сестре. и здание ницшеанского учения словно бы пошатнулось и закачалось. Отвлеченное понятие «класс рабов»-это ладно, но в применений, к собственным. родным такое определение не слишком подходит. И, однако, если есть на свете рабы, попираемые сильными, так сестра Гертруда-олицетворение раба. Этот парадокс заставил Мартина свирепо усмехнуться. Хорош ницшеанец, допустил, чтобы твои взгляды поколебались при первом же сердечном порыве, при первом же душевном волнении; это в тебе самом пробудилась мораль раба, — вот, по сути, что такое твоя жалость к сестре. Истинные аристократы духа выше щаж рабов, это всего лишь мука и пот отверженных и слабых.

«Запоздавший» по-прежнему лежал забытый на столе. Все рукописи, которые Мартин разослал по журналам, вернулись и лежали под столом. Только одну он отправлял снова и снова – «Эфемериду» Бриссендена. Велосипед и черный костюм опять были в закладе, и агентство проката пишущих машинок вновь беспокоилось из-за арендной платы. Но все это больше не волновало Мартина. Он пытался заново обрести в этом мире почву под ногами, а до тех пор ничего он не станет предпринимать.

Через несколько недель случилось то, на что он надеялся. Он встретил на улице Руфь. Правда, ее сопровождал брат, Норман, и они хотели пройти мимо – и Норман сделал Мартину знак не подходить.

– Если вы станете навязываться сестре, я позову полицейского, – пригрозил он, – Она не желает с вами разговаривать, и ваша настойчивость оскорбительна.

– Не мешайте, не то придется позвать полицейского, но тогда ваше имя попадет в газеты, – угрюмо ответил Мартин. – А теперь прочь с дороги, и если хотите, зовите полицейского. Я намерен поговорить с Руфью.

– Я хочу услышать это из твоих уст, – сказал Мартин.

Ее кинуло в дрожь, она побледнела, но взяла себя в руки и выжидающе посмотрела на Мартина.

– В письме я задал тебе вопрос, – напомнил он. Норман, нетерпеливо дернулся, но быстрый взгляд Мартина обуздал его.

Руфь покачала головой.

– Ты поступаешь так по своей воле? – требовательно спросил он.

– Да. По своей воле. – Она говорила негромко, твердо, обдуманно. – Вы меня опозорили, я стыжусь встречаться со знакомыми. Я знаю, все обо мне сплетничают. Больше мне нечего вам сказать. Из-за вас я несчастлива, и я не хочу больше вас видеть.

– Знакомые! Сплетни! Газетные враки! Да разве все это сильнее любви? Я понимаю одно: значит, ты никогда меня не любила.

Бледное лицо Руфи вспыхнуло.

– После всего, что было? – слабым голосом воскликнула она. – Мартин, вы сами не понимаете, что говорите. Я не фабричная работница.

– Вы же видите, она не желает иметь с вами ничего общего, – выпалил Норман и повел Руфь прочь.

Мартин шагнул в сторону и дал им пройти, бессознательно сунул руку в пустой карман в поисках табака и бумаги для курева.

До Северного Окленда дорога не близкая, и Мартин понял, что она осталась позади, лишь когда поднялся по ступенькам и очутился у себя. Оказалось, он сидит на краю кровати и озирается, словно лунатик, которого разбудили. Увидел на столе рукопись «Запоздавшего», придвинул стул, потянулся за пером. В нем слишком сильно было стремление к законченности. А тут перед ним нечто незавершенное. Он все медлил с этим, пока не завершил другое дело. Теперь с ним покончено и можно всецело отдаться вот этой работе, пока не доведешь ее до конца. Что будет потом, Мартин не знал. Знал только, что в жизни его наступил перелом. Какой-то период подошел к концу, и он устранял недоделки, как свойственно рабочему человеку. Будущее сейчас ему не любопытно. Он и без того очень скоро узнает, что там ему припасено. Так ли, эдак, не имеет значения. Казалось, ничто сейчас не имеет значения.

Пять дней неотрывно работал он над «Запоздавшим», никуда не ходил, никого не видел,

почти не ел. Утром шестого дня почтальон принес ему тоненький конверт от редактора «Парфенона». С одного взгляда он понял, что «Эфемерида» принята. «Мы послали поэму на отзыв мистеру Картрайту Брюсу, – писал редактор, – и он так высоко оценил ее, что мы не можем выпустить ее из рук. Чтобы Вы убедились, как приятно нам опубликовать поэму, хочу Вам сообщить, что мы поставили ее в августовский номер, июльский номер уже сверстан. Не откажите в любезности передать мистеру Бриссендену, как мы польщены и признательны ему. Просьба сразу же выслать нам его фотографию и сообщить биографические сведения. Если предлагаемый нами гонорар недостаточен, пожалуйста, немедленно телеграфируйте, какая сумма для Вас приемлема».

Поскольку они предложили гонорар в триста пятьдесят долларов, Мартин не считал нужным телеграфировать. И надо еще получить согласие Бриссендена. Итак, он был прав. Нашелся редактор журнала, который знает толк в поэзии. И оплата превосходная, даже для поэмы века. А что до Картрайта Брюса, Мартин знал, это единственный критик, вызывающий у Бриссендена хоть малую толику уважения.

Мартин ехал в трамвае, смотрел на убегающие назад дома и перекрестки и невесело думал, что не ощущает ликования, какое должен был вызвать успех друга и его, Мартина, знаменательная победа. Единственно стоящий критик в Соединенных Штатах высоко оценил поэму, и, значит; прав был Мартин, утверждая, что настоящая вещь в конце концов пробьется в журнал. Но пружина восторга ослабла, и он поймал себя на том, что ему сейчас куда важнее просто увидеть Бриссендена, чем принести ему добрую весть. Письмо из «Парфенона» напомнило, что все пять дней, посвященные «Запоздавшему», он ничего не знал о Бриссендене и даже не вспомнил о нем.. Только теперь он понял, до чего оцепенела душа, и устыдился, что забыл о друге. Но и стыд не слишком обжег. Все ощущения притупились, кроме тех, что связаны с творчеством, с работой над «Запоздавшим». Ко всему остальному он в эти дни был слеп и глух. Да он и сейчас еще слеп и глух. Весь этот мир, через который с шумом мчался трамвай казался далеким и призрачным, и если бы каменная громада мелькнувшей неподалеку колокольни внезапно рассыпалась в прах и рухнула на него, вряд ли он удивился бы и, уж конечно бы, не испугался.

В гостинице он поспешно поднялся в номер Бриссендена и тут же поспешно спустился. Номер оказался пуст. Вещей тоже не было.

– Что, мистер Бриссенден не оставлял какого-нибудь адреса?-спросил он портье, и тот посмотрел на него с любопытством.

– Вы разве не слыхали? – спросил он. Мартин покачал головой.

– Да все газеты про это писали. Его нашли в постели мертвым. Самоубийство. Прострелил себе голову.

– Похороны уже были?-Мартину почудилось, это спросил откуда-то издаleка чей-то чужой голос.

– Нет. Осмотрели тело да и отправили на Восток. Его родные наняли законников, а уж те обо всем позаботились.

– Они, видно, не теряли времени, – заметил Мартин.

– Как сказать. Застрелился-то он пять дней назад.

– Пять дней?

– Да, пять дней.

– Вот как, – сказал Мартин, повернулся и вышел.

На углу он зашел на телеграф и отправил в «Парфенон» телеграмму, советуя печатать поэму. В кармане у него было лишь пять центов на обратный проезд, и он послал телеграмму с оплатой при доставке.

Дома он тотчас опять засел за работу. Проходили, сменяясь, дни и ночи, а он сидел за столом и писал. Он никуда не выходил, если не считать ростовщика, и ел, если чувствовал голод и было из чего приготовить, а если готовить было не из чего, обходился без еды. Мысленно он давно уже выстроил повесть, главу за главой, но потом придумалось иное начало, гораздо сильнее, и Мартин его написал, хотя на это потребовалось еще двадцать тысяч слов. Не так уж необходимо было тут стремиться к совершенству, но этого требовала его натура художника. Он работал по-прежнему в оцепенении, странно отрешенный от всего вокруг, и в привычной писательской упряжке ощущал себя призраком прошлого. Вспомнилось, кто-то когда-то сказал, будто призрак-это дух умершего, которому не хватило ума понять, что он умер; и Мартин на минуту задумался— может быть, он и вправду мертв и только не сознает этого?

Настал день, когда «Запоздавший» был закончен. Агент конторы проката пришел за машинкой и сидел на кровати, пока Мартин, сидя на стуле, допечатывал последние страницы последней главы. «КОНЕЦ» отстучал он заглавными буквами, и для него это был поистине конец. Он даже с облегчением смотрел, как выносят из комнаты пишущую машинку, потом лег на постель. Он совсем обессилел от голода. Уже тридцать шесть часов у него маковой росинки во рту не было, но он об этом не думал. Закрыв глаза, лежал он. на спине без мыслей, медленно погружаясь то ли в оцепенение, то ли в беспмятство, в котором тонуло сознание. В полубреду он вслух бормотал строки неизвестного поэта, которые любил читать ему Бриссенден. Это однообразное бормотанье пугало Марию, которая в тревоге прислушивалась за дверью. Беспокоили ее не слова, не слишком ей понятные, беспокоило, что он непрерывно что-то бормочет.

Кончил петь – не трону струн.
Замирают песни быстро,
Так под ветром гаснут искры.
Кончил петь – не трону струн.
Пел когда-то утром чистым —
Вторил дрозд веселым свистом.
Стал я нем, скворец усталый.
Песен в горле не осталось,
Время пенья миновалось.
Кончил петь – не трону струн.

Не в силах больше это выносить, Мария метнулась к плите, налила миску супу, зачерпнула со дна кастрюли побольше мелко нарубленного мяса и овощей. Мартин приподнялся на кровати, сел и принялся есть, уверяя Марию, что разговаривал не во сне и что нет у него никакой лихорадки.

Мария ушла, а он сидел на кровати мрачный, поникший, тусклым, невидящим взглядом обводил комнату, и вот на глаза ему попала надорванная обертка журнала, полученного с утренней почтой и еще не раскрытого, и в помраченном сознании блеснул свет. «Парфенон», – подумал Мартин, – августовский «Парфенон», в нем должна быть «Эфемерида». Если бы Бриссенден дожил!"

Он листал журнал и вдруг замер. Поэма была напечатана на видном месте, под броской заставкой, на полях рисунки в стиле Бердсли. С одной стороны заставки – фотография Бриссендена, с другой – британского посла сэра Джона Вэлью. Из редакторского вступления следовало, что однажды сэр Вэлью сказал, будто в Америке нет поэтов, а «Парфенон»

публикацией «Эфемериды» отвечает: Вот вам, сэр Вэлью, получайте! Картрайт Брюс был подан как замечательнейший американский критик, и приводились его слова, что «Эфемерида» замечательнейшая поэма, другой такой американская литература не знает. И заканчивалось это вступление так: «Мы еще не сумели оценить все достоинства „Эфемериды“, а быть может, и никогда не сумеем вполне их оценить. Но мы неоднократно перечитывали поэму, поражались – где нашел мистер Бриссенден такие слова, как удачно подобрал их и как сумел связать в единое целое». А дальше шла сама поэма.

– Да, повезло, что вы не дожили до этого, Брисс, дружище, – пробормотал Мартин, опустил журнал, и тот соскользнул между колен на пол.

Все это отдавало тошнотворной дешевкой, пошлостью, но Мартин равнодушно заметил, что не так уж ему и тошно. Он бы рад был обозлиться, но и не пытался, не хватало сил. Слишком в нем все оцепенело. Кровь застыла, где ей вскипеть негодованием. В конце концов, не все ли равно? Это не хуже всего прочего, что Бриссенден так осуждал в буржуазном обществе.

– Бедняга Брисс, – прошептал Мартин. – Он бы никогда мне этого не простил. – Через силу он поднялся и взял коробку из-под бумаги для пишущей машинки. Порылся в ней, достал одиннадцать стихотворений, написанных другом. Разодрал их и бросил в корзинку. Прodelал это медленно, вяло, а кончив, сел на край кровати и тупо уставился в одну точку.

Он не знал, сколько времени так просидел. И вдруг перед невидящим взором справа налево протянулась белая полоса. Странно. Она становилась все отчетливей, и оказалось, это коралловый риф, курящийся брызгами пены. Потом среди бурунов он различил маленькое каноэ с выносными уключинами. На корме молодой бронзовый бог в алой набедренной повязке; поблескивая на солнце, мелькает у него в руках весло. Мартин узнал его. Это Моти, младший сын Тати, вождя, это остров Таити, и за курящимся брызгами пены рифом лежит сладостная земля Папара и у самой реки крытый пальмовыми листьями домик вождя. Близится вечер, и Моти возвращается после рыбной ловли домой. Он ждет, когда накатит высокая волна, и готов перенестись на ней через риф. Потом Мартин увидел себя в ту далекую пору – сидит в каноэ впереди, как сиживал когда-то, опустив весло в воду, и ждет команды Моти: едва позади встанет стеною огромный бирюзовый вал, надо грести изо всех сил. И вот он уже не зритель, он сидит в каноэ, Моти издал клич, и оба они бешено заработали веслами, взлетели на крутой гребень вздымающейся бирюзы. Рассекаемая лодкой вода шипит, будто рвется наружу пар из котла, облаком встала водяная пыль, стремительное движение, рокот, раскатистый грохот, и каноэ выносится в безмятежные воды лагуны. Моти смеется и трясет головой, трет глаза, в которые попали соленые брызги, и они вдвоем гребут к изъеденному волнами коралловому берегу, где за кокосовыми пальмами золотится в лучах заходящего солнца дом Тати.

Видение растаяло, и опять перед глазами Мартина его неприбранная убогая комнатенка. Тщетно пытался он снова увидеть Таити. Он знал, там поют среди пальм и девушки танцуют в лунном свете, но их он не увидел. Увидел только заваленный бумагами стол, пустоту на месте пишущей машинки и немытое окно. Он со стоном закрыл глаза и уснул.

Всю ночь Мартин проспал как убитый, разбудил его почтальон, принесший утреннюю почту. Усталый, отяжелевший, Мартин вяло просматривал письма. В тонком конверте оказался чек на двадцать два доллара от одного из вороватых журнальчиков. Полтора года Мартин добивался этих денег. А сейчас они были ему безразличны. Куда девалось волнение, которое вызывал в нем прежде издательский чек. В отличие от тех, прежних чеков, этот ничего ему не сулил. Теперь это чек на двадцать два доллара, только и всего... просто на него можно будет купить еды.

Та же почта принесла и еще один чек, из нью-йоркского еженедельника в оплату за юмористический стишок, принятый несколько месяцев назад, чек на десять долларов. В голову пришла мысль, и Мартин стал неторопливо ее обдумывать. Что делать дальше, еще неясно и пока не хочется ни за что браться. А между тем надо жить. И у него множество долгов. Пожалуй, выгоднее всего закупить марок и опять отправить в путь все рукописи, что громоздятся под столом. Одну-другую глядишь, примут. Это поможет жить дальше. Так он и порешил и, получив по, чекам в Оклендском банке, купил на десять долларов почтовых марок. Возвращаться к себе в тесную комнатуху и готовить завтрак – от одной этой мысли стало тошно. Впервые Мартин махнул рукой на свои долги. Конечно, дома можно состряпать сытный завтрак, который обойдется в пятнадцать-двадцать центов. Но вместо этого Мартин пошел в кафе «Форум» я заказал завтрак за два доллара. Двадцать пять центов он дал на чай и пятьдесят центов потратил на пачку «Египетских» сигарет. Он закурил впервые с тех пор, как Руфь попросила его бросить. А чего ради теперь не курить, да еще когда хочется.. А деньги, зачем их беречь? За пять центов можно бы купить пакет дешевого табаку «Дарем», бумаги, и свернуть сорок распрекрасных цигарок-ну и что? Деньги для него теперь только тем и хороши, что на них можно сразу же что-то купить. Нет у него ни карты, ни руля, и не все ли равно, куда плыть, зато когда плывешь по воле воля, почти и не живешь, а ведь жить больно.

Дни скользили мимо, и каждую ночь Мартин преспокойно спал восемь часов. Хотя теперь, в ожидании новых чеков, он ел в японских рестораниках, где кормили за десять центов, он стал не такой тощий; впалые щеки округлились. Он уже не изматывал, себя вечным недосыпанием, работой и занятиями сверх всякой меры. Ничего не писал, не раскрывал книги. Он много ходил, гулял среди холмов, долгими часами слонялся по тихим паркам. Не было у него ни друзей, ни знакомых, и он не заводил знакомств. Не хотелось. Неведомо откуда он ждал какого-то толчка, который снова привел бы в движение его остановившуюся жизнь. А пока жизнь его замерла, – бесцельная, пустая, бесполезная.

Однажды он отправился в Сан-Франциско, глянуть на «людей из настоящего теста». Но в последнюю минуту, уже поднявшись в подъезд, отпрянул от дверей, повернулся и бежал через многолюдные рабочие кварталы. При мысли, что придется слушать философские споры, страшно ему стало, и он удирал крадучись, опасливо – вдруг столкнется с кем-нибудь из «настоящих», кто его узнает.

Случалось, он проглядывал журналы и газеты – хотелось посмотреть, как там измываются над «Эфемеридой». Поэма имела успех. Но что это был за успех! Все прочитали ее и все спорили, можно ли это назвать поэзией. Местная пресса не осталась в стороне, и каждый день в газетах появлялись мудреные рецензии, язвительные статейки и глубокомысленные письма подписчиков. Элен Делла Делмар (под трубные звуки и грохот тамтамов провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов) заявила, что Бриссенлену не место рядом с ней на Парнасе, и в многословных письмах доказывала публике, что никакой он не.поэт.

В следующем номере «Парфенон» похвалялся тем, какую поднял бурю, насмехался над сэром Джоном Вэлью и без зазрения совести использовал смерть Бриссендена в своих коммерческих интересах. Некая газета, утверждавшая, что у нее полмиллиона подписчиков, тиснула весьма оригинальный экспромт Элен Деллы Делмар с колкостями и подковырками в адрес Бриссендена. Больше того, они посмела еще и сочинить пародию на его поэму.

Не однажды Мартин порадовался, что Бриссенден до этого не дожил. Ведь он так ненавидел чернь, а сейчас все прекраснейшее в нем, самое святое, отдан во власть черни. Изодня в день Красота подвергалась вивисекции. Каждый дурак хватался за перо, жалкие ничтожества спешили взмыть на волне величия Бриссендена и помельтешить в глазах публики: «Мы получили письмо от одного джентльмена, который недавно написал такую же поэму, только лучше», – писала некая газета. Другая газета, упрекая Элен Деллу Делмар за ее пародию, заявила с полной серьезностью: «Мисс Делмар» безусловно написала это в веселую минуту, не проявив уважения, с коим великий поэт должен бы относиться к другому, быть может, даже более великому. Однако, даже если мисс Делмар не чужда ревности к человеку, который сочинил «Эфемериду», она, как и тысячи других, несомненно, зачарована его творением, и, возможно, придет день, когда она попробует написать что-нибудь в этом роде".

Священники начали поносить «Эфемериду» в своих проповедях, а один, который слишком упорно защищал многие идеи поэмы, был за ересь лишен сана. Великую поэму использовали для увеселения публики. Ею завладели сочинители юмористических виршей и карикатуристы и потешались вовсю, а в светских еженедельниках пошли в ход шуточки, вроде таких: сэр Чарли Френшем строго по секрету сказал Арчи Дженнигсу, что, прочитав пять строк «Эфемериды», пожалуй, кинешься избивать калеку, а после десяти строк и вовсе утопишься.

Мартин не смеялся и не скрипел в бешенстве зубами. Им овладела глубокая печаль. Рухнул весь его мир, тот мир, что венчала любовь, и после этого краха разочарование в журнальном мирке к милейшей публике не так ужасало. Бриссенден совершенно справедливо судил о журналах, а ему, Мартину, чтобы убедиться в этом самом, потребовались годы тяжелого и напрасного труда. Да, Бриссенден недаром клял журналы, можно было бы и еще кое-что прибавить. Ну, да с ними покончено, утешил себя Мартин. Он стремился к звездам, а свалился в зловонную трясину. Все чаще ему виделся Таити, – такие чистые, такие сладостные видения перед глазами. А есть еще низинный Паумоту, и скалистые Маркизские острова; теперь он часто видел себя на борту торговой шхуны или хрупкого катерка, – вот он на рассвете проходит за риф у Папезте и пускается в путь вдоль жемчужных атоллов к Нуку-Хиве, к бухте Тайохаэ, где Тама-ри заколет в честь его приезда кабана, а увитые гирляндами дочери Тамари возьмут его за руки и с пес-ней и смехом обовьют и его цветами. Это зов Южных морей, и конечно же, рано или поздно он отзовется.

А пока он ничего не делал, отдыхал и набирался сил после долгого перехода через царство знания. Когда от «Парфенона» пришел чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его местному стряпчему, который по поручению родных Бриссендена занимался делами покойного. Мартин взял расписку в получении чека и одновременно дал письменное обязательство вернуть взятые у Бриссендена сто долларов.

Скоро Мартин перестал быть завсегдатаем японских ресторанчиков. В тот самый час, когда он перестал бороться, судьба ему улыбнулась. Но улыбка запоздала. Равнодушно вскрыл он тонкий конверт из «Золотого века», пробежал глазами чек на триста долларов и заметил, что он выписан за принятое к печати «Приключение». Все долги Мартина, включая проценты ростовщику, не превышали, ста долларов. И когда он расплатился со всеми долгами и отдал сто долларов наследникам Бриссендена, у него в кармане еще осталось больше сотни долларов. Он заказал у портного костюм и обедал в лучших городских кафе. Спал он по-прежнему в своей

комнатушке у Марии, но при виде его нового костюма, соседские мальчишки перестали, забравшись на крышу дровяного сарая или хоронясь за забором, кричать ему «бродяга» и «лодырь».

«Уики-Уики», его гавайский рассказ, был куплен Ежемесячником Уоррена" за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» взяло его этюд «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша»-"Гадалку", стихотворение, которое он посвятил Мэриан. Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и судьба рукописей решалась без промедления. Для Мартина оставалось загадкой, что на них на всех напало, отчего они вдруг встрепенулись и пошли принимать подряд все то, что упорно отвергали целых два года. До сих пор ничто из написанного им еще не было напечатано. Нигде, кроме Окленда, его не знают, да и среди тех немногих в Окленде, кто думал, будто знает его, он известен как «красный» и социалист. И решительно нечем объяснить, почему товар его вдруг пошел в ход. Просто каприз судьбы.

После того как «Позор солнца» был отвергнут многими журналами, Мартин сделал, как советовал Бриссенден, с которым он раньше не соглашался, – отправил эту рукопись по издательствам. После нескольких отказов его приняло издательство «Синглтри, Дарнли и К°», пообещав опубликовать осенью. Мартин попросил аванс, но ему ответили, что это у них не принято, – такого рода книги редко окупаются и навряд ли удастся продать хотя бы тысячу экземпляров. Мартин вычислил, сколько заработает при таком тираже. Цена одного экземпляра-доллар, согласно договору он получает пятнадцать процентов, стало быть, книга принесет ему сто пятьдесят долларов. Он решил, что, если бы начинать все сначала, он бы ограничился беллетристикой. «Приключение» вчетверо короче, а «Золотой век» заплатил за него вдвое больше. Выходит, газетная заметка о гонорарах, которая давным-давно попалась ему на глаза, все-таки не лгала. Первоклассные журналы и вправду платят, как только принимают материал, и платят хорошо. Не два, а четыре цента за слово заплатил ему «Золотой век». И к тому же они покупают хороший то-вар-ведь вот купили же его рассказ. При этой по-следней мысли Мартин усмехнулся.

Он написал в издательство «Синглтри, Дарнли и К°», предлагая продать авторское право на «Позор солнца» за сто долларов, да там не захотели рисковать. Но он пока не нуждался в деньгах, так как были приняты и оплачены несколько его поздних рассказов. Он даже открыл счет в банке, к его услугам теперь было несколько сот долларов, и никому на свете он ничего не должен. «Запоздавший», прежде отвергнутый многими журналами, наконец нашел пристанище в издательстве «Мередит-Лоуэл». Мартин вспомнил о пяти долларах, которые дала ему Гертруда, и как он решил возратить ей в сто раз больше; и он написал в издательство с просьбой заплатить ему пятьсот долларов в счет авторского гонорара. К его немалому удивлению, с обратной же почтой пришел чек на эту сумму и с ним договор. Мартин обменял чек на пятидолларовые золотые и позвонил Гертруде, что ему нужно ее видеть.

Сестра пришла, запыхавшись, еле переводя дух; так она спешила. Предчувствуя недоброе, она прихватила те несколько долларов, которые у нее нашлись; и, совершенно уверенная, что с братом случилась беда, спотыкаясь, всхлипывая, кинулась к нему, обняла, без слов сунула ему сумочку.

– Я бы сам пришел, – сказал Мартин, – да не хотел стычки с Хнггинботемом, а этого бы не избежать.

– Обожди, вскорости он поостынет, – заверила его Гертруда, а сама гадала, в какую беду попал Мартин. – Только ты бы сперва подыскал себе место да остепенился. Бернارد, он любит, чтоб человек был при деле. Прочитал он тогда про тебя в газетах и уж до того взбеленился. Сроду его таким не видывала.

– Не стану я искать себе место, – с улыбкой сказал Мартин. – Так ему от меня и передай.

Не нужно мне никакое место, и вот тебе доказательство. И ей на колени звонким, сверкающим золотым потоком устремились сто пятидолларовых монет.

– Помнишь, ты дала мне монету в пять долларов, у меня тогда не было на трамвай? Ну так вот она, эта монета, да еще девяносто девять ее сестриц, возраст у них разный, а все равно близнецы.

Гертруда и ехала-то к брату в страхе, а тут перепугалась насмерть. Да, конечно, она боялась не зря. Это уже не просто страшное подозрение, это уверенность. В ужасе глядела она на Мартина, и ее расплывшееся тело сжалось, словно золотой поток жег ее.

– Это твое, – засмеялся Мартин. Гертруда отчаянно зарыдала.

– Бедняжка ты мой, бедняжка! – со стоном повторяла она.

Мартин был ошарашен. Потом понял, отчего убивается сестра, и подал ей письмо издателей, сопровождавшее чек. С трудом разбирала она письмо, то и дело останавливалась, утирала глаза, а дочитав, спросила:

– Стало быть, деньги эти у тебя честные?

– Почестней, чем если бы я их выиграл в лотерею. Я их заработал.

Понемногу она поверила, старательно перечитала письмо. Долго пришлось объяснять ей, каким образом оказалось у него столько денег, и еще немало времени прошло, покуда она уразумела, что деньги и вправду ее, а он в них не нуждается.

– Положу их в банк на твое имя, – сказала наконец Гертруда.

– Даже и думать не смей. Деньги твои, трать в свое удовольствие, а не хочешь брать, отдам Марии. Она уж найдет, куда их девать. Только вот что я тебе скажу, найми-ка служанку и как следует отдохни.

– Расскажу все Бернарду, – объявила сестра, уходя.

Мартин поморщился, потом усмехнулся.

– Давай рассказывай. И может, он тогда опять пригласит меня обедать.

– А как же... наверняка пригласит, – пылко отозвалась Гертруда, притянула Мартина к груди, обняла и поцеловала.

И пришел день, когда Мартину стало одиноко. Вот он здоров, полон сил, а делать ему нечего. Писать и заниматься он перестал, Бриссенден умер, Руфь для него потеряна, и в жизни зияет пустота, а просто жить безбедно, похаживать в кафе да покуривать «Египетские» сигареты – не для него это. Правда, слышался ему зов Южных морей, но казалось ему, что в Соединенных Штатах игра еще не окончена. Скоро должны выйти две его книги, а есть у него в запасе и рукописи, которые, возможно, все же найдут издателя. Они принесут деньги, он подождет и уж тогда, богачом, отправится в Южные моря. На Маркизах есть одна долина возле бухты, ее можно купить за тысячу чилийских долларов. От подковообразной закрытой бухты долина уходит к головокружительным, увенчанным облаками горным пикам, и в ней добрых десять тысяч акров. Там полным-полно тропических плодов, диких куропаток и кабанов, бывает, забредет и стадо диких коров, а высоко в горах пасутся стада диких коз, и на них охотятся стаи диких собак. Дикое место. Людей там нет. И можно купить эту долину вместе с бухтой за тысячу чилийских долларов.

Бухта, помнится, великолепная, глубокая, туда спокойно могут заходить самые крупные суда, и притом безопасная. Справочник Южно-тихоокеанского пароходства даже рекомендует ее как лучшее на многие сотни миль место для малого ремонта судов. Он купит шхуну – из тех, что вроде яхты, дно обшито медью и развивают бешеную скорость – и станет торговать копррой и добывать жемчуг у островов. Долина и бухта станут его штаб-квартирой. Он построит просторный дом, крытый пальмовыми листьями, как спокон веку строят островитяне, и в доме, в долине, на шхуне у него будут темнокожие слуги. Там он будет принимать агента с фактории Тайохаэ, капитанов странствующих торговых судов и сливки тамошнего сомнительного общества. У него будет открытый дом, и принимать он всех станет по-королевски. И забудет книги, которые некогда так много для него значили, забудет мир, который оказался обманчивым.

Чтобы все это исполнилось, надо сидеть в Калифорнии и ждать, когда разбогатеешь. Деньги понемногу притекают. Если бы какая-нибудь из его книг завоевала успех, удалось бы продать всю груду рукописей. Можно бы составить сборники стихов и рассказов и уж тогда долина, бухта, шхуна у него в руках. Писать он больше не будет. Это решено. Но пока, в ожидании, когда книги будут напечатаны, надо что-то делать, выйти из тупого оцепенения, какой-то холодной отрешенности. Однажды воскресным утром Мартин узнал, что в этот день в Шелл-Маунд-парке каменщики устраивают гулянье, и напрямик туда направился. В прежние времена он частенько бывал на таких гуляньях, хорошо представлял, что это такое, и, едва вошел в парк, на него нахлынули ощущения той давней поры. В конце концов, он из того же теста, что весь этот рабочий люд. Среди тружеников он родился, среди них жил, и, хотя на время от них отошел, приятно снова оказаться среди своих.

– Неужто Март! – услышал он, и чья-то дружеская рука опустилась ему на плечо. – Где пропадал? В плаванье ходил? Ну, давай опрокинем стаканчик.

Он очутился старой компании, только из старых приятелей кое-кого не доставало, появились и новые, незнакомые лица. К каменщикам они не имели никакого отношения, но по-прежнему ходили на все подряд воскресные гулянья – потанцевать, подраться, позабавиться. Мартин выпил с ними и снова начал чувствовать себя человеком. Дурак он, что ушел от них; и конечно же, он был бы куда счастливее, если бы остался со своими и махнул рукой на книги и на всяких важных господ. Однако, пиво не казалось так хорошо, как в былые времена. Совсем не тот, не прежний вкус. Это Бриссенден виноват, отбил у него вкус к пиву, решил он и подумал, а

может, книги в конце концов отбили у него вкус к обществу друзей юности. Он решил не поддаваться и пошел в павильон для танцев. Встретил подручного слесаря с какой-то блондинкой, и она тотчас предпочла своему кавалеру Мартина.

– Ишь какой, всегда он так, – объяснил Джимми приятелям, которые стали над ним потешаться, когда Мартин с блондинкой унеслись от него в вальсе. – И плевать, я не в обиде. Уж больно я рад опять его повстречать. Гляди, как ее кружит, а? Эдак ласково. Как тут девчонку виноватить?

Но Мартин возвратил девчонку Джимми, и втроем, да еще с полудюжиной приятелей, они смотрели, как крутятся пары, и смеялись, и перебрасывались шутками. Все радовались возвращению Мартина. Ни одна его книга еще не вышла из печати. И он не поднялся в их глазах на какие-то мнимые высоты. Просто его любили такого, какой он есть. Он чувствовал себя принцем, вернувшимся после изгнания, и одинокая душа его расцветала, омытая их сердечным радушием. Он веселился вовсю, он был в ударе. Да и карманы были не пусты, и, как бывало, когда он возвращался из плавания, только что получив жалованье, он беспечно сорил деньгами.

В какую-то минуту среди танцующих мелькнула Лиззи Конноли в объятиях молодого рабочего парня, и позднее, пройдясь по павильону, Мартин набрел на нее – она сидела у стола с закусками и прохладительными напитками. Когда радостно-удивленные восклицания остались позади, Мартин вышел с нею на волю, где можно разговаривать, не стараясь перекричать музыку. С той минуты, как он с ней заговорил, она была в его власти. Он это понимал. Он читал это в гордом и покорном ее взгляде, во всей ее гордой и ласковой повадке, в том, как жадно она его слушала. Это была уже не та девчонка, какую он знал прежде. Теперь перед ним была женщина, и ее страстной, дерзкой красоте еще прибавилось прелести – все такая же страстная, она стала уже не такой пылкой и дерзкой, видно, научилась лучше владеть собой. «Красавица, настоящая красавица», – прошептал восхищенный Мартин. И он понимал, она в его власти, и скажи он только «Пойдем», она пойдет за ним на край света.

Едва у него мелькнула эта мысль, жестокий удар кулаком в скулу чуть не свалил его наземь. Нападающим двигала такая злость и так он спешил, что он не попал в челюсть, куда метил. Мартин кое-как устоял на ногах, обернулся навстречу новому яростному взмаху кулака. Он машинально пригнулся, и кулак, не задев его, скользнул мимо, противника рвануло вперед, крутануло. Мартин изо всей силы нанес короткий боковой удар левой. Противник рухнул на бок, вскочил, бешено кинулся на Мартина. Мартин увидел его искаженное неистовой злобой лицо, мельком подумал, с чего так зол на него этот парень. А тем временем, размахнувшись, нанес прямой удар левой. Парень опрокинулся назад, рухнул грудой тряпья. К ним уже подбегали Джимми с приятелями.

Все существо Мартина торжествовало победу. Будто вернулись беззаботные прежние дни, танцы, драка, веселье – даже еще лучше стало. Он не спускал настороженного взгляда с противника. Лишь мельком глянул на Лиззи. Обычно девушки поднимают визг, когда парни дерутся, но Лиззи не визжала. Затаив дыхание, она чуть подалась вперед и жадно следила за схваткой – рука прижата к груди, щеки пылают, в глазах жаркое, восхищенное удивление.

Парень поднялся с земли и теперь силился вырваться из рук честной компании.

– Она меня дожидалась! – орал он на весь белый свет. – Меня она дожидалась, а этот встрял и нахально ее увел! Пустите меня, говорят вам, пустите. Я с ним разделаюсь!

– Очумел, что ли? – спросил Джимми, вместе с другими удерживая парня. – Это ж Мартин Иден. Он боксер что надо, верно тебе говорю. Будешь соваться, он из тебя лепешку сделает.

– Он ее у меня из-под носа увел! – выкрикнул парень.

– Он одолел Летучего Голландца, а уж его-то ты знаешь, – увещевал Джимми. – Всего-то за пять раундов и свалил. А ты и минуты против него не выдержишься.

Это известие, кажется, несколько утихомирило разъяренного парня, и он смерил Мартина опасливым взглядом.

– По нему не видать, – насмешливо сказал он, но запала в насмешке не чувствовалось.

– Летучий Голландец тоже сперва не увидал, – заверил его Джимми. – Пошли, кончай с этим. Мало тут, что ли, девчонок. Пошли!

Парень дал себя увести, и вся компания двинулась за ним в сторону павильона.

– Кто это? – спросил Мартин у Лиззи. – И вообще, с чего он так вскинулся?

Боевой пыл, который когда-то жарко разгорался в нем и остывал не сразу, уже угас, Мартин поймал себя на том, что слишком придирчиво разбирается в себе, и понял: не для него это незатейливое существование, когда бездумно даешь волю любому порыву.

Лиззи вскинула голову.

– А никто, – сказала она. – Ухажер мой. – И, помолчав, объяснила: – Так уж пришлось. Больно тошно стало одной-то. А только я не забыла, – договорила она совсем тихо, глядя куда-то вдаль. – А его бы бросила и глазом не моргнула.

Она отвернулась, а Мартин, глядя на нее, знал: довольно только протянуть руку, чтобы сорвать этот плод, и еще подумалось, а много ли, в сущности, стоит безукоризненно правильная утонченная речь, и за этими мыслями забыл ей ответить.

– Здорово ты его отдубасил, – со смехом бросила Лиззи пробный камешек.

– А он крепкий парнишка, – великодушно признал Мартин. – Если бы его не увели, пожалуй, я не так бы легко с ним справился.

– А кто была дамочка, с кем я тебя видала в тот вечер? – спросила Лиззи. – Да просто знакомая, – ответил Мартин.

– Давно это было, – задумчиво прошептала она. – Будто тыща лет прошла. Но эту тему Мартин не поддержал. Перевел разговор на другое. Они пообедали в ресторане, он заказал вино и дорогие лакомства, а потом танцевал с ней, с ней одной, покуда она не устала. Он был отличный танцор, и Лизз кружилась с ним и кружилась, склоняясь головой ему на плечо, она была вне себя от счастья, и ей хотелось только, чтобы так было вечно. К вечеру они погуляли в парке, а потом, по доброму старому обычаю, она села на траву, а Мартин растянулся на спине, положил голову ей на колени. Он дремал, а Лиззи гладила его волосы, смотрела на его сомкнутые веки, – ее переполняла любовь. Внезапно открыв глаза, Мартин прочел признание, написанное на ее лице. Она опустила ресницы, вновь подняла и с ласковым вызовом встретила его взгляд.

– Я честная перед тобой, ждала тебя все годы, – сказала она тихо-тихо, чуть не шепотом.

Мартин понимал, что, как ни поразительно, это правда. И в душе отчаянно боролся с искушением. Он может сделать ее счастливой. Судьба отказала ему в счастье, но почему он должен отказать в счастье этой девушке? Можно бы жениться на ней, и пусть она живет во дворце на Маркизах под кровлей из пальмовых листьев. Так сильно было искушение, но властный внутренний голос оказался еще сильнее. Сам того не желая, Мартин был все еще верен Любви. Пора вольной, бездумной жизни миновала. Ее уже не вернуть, и к ней не вернуться. Он изменился, до этого часа он даже не понимал, как сильно изменился.

– Не гожусь я в мужья, Лиззи, – небрежно сказал он.

Рука, играющая его волосами, на миг замерла, потом опять принялась тихо их поглаживать. Лицо девушки словно отвердело, но то была твердость внезапно принятого решения, – щеки по-прежнему розовели, и вся она светилась нежностью.

– Не об том я... – начала она и запнулась. – Или... да мне все, все едино, – повторила она. – Я гордая, что ты мне друг. Я для тебя чего хочешь сделаю. Такая уж, видать, уродилась.

Мартин сел, взял ее за руку. Неспешно взял, с теплым чувством, но без страсти, и от этой

теплоты девушку пробрал холод.

– Не будем больше про это, – сказала она.

– Ты очень хорошая, сердце у тебе благородное, – сказал Мартин.. – Это мне надо гордиться, что я с тобой знаком. И я горжусь, горжусь. Ты для меня луч света в очень темном мире, и я должен быть честен перед тобой, как была честна передо мной ты.

– А мне все едино, честный ты со мной или нечестный. Ты чего хочешь со мной делай. Хоть в грязь кинь да растопчи. В целом свете одному тебе это можно, – с чувством, с вызовом прибавила она. – Зазря я, что ль, сызмальства сама об себе заботилась.

– Потому-то я ничего такого и не сделаю, – мягко сказал Мартин. – У тебя слишком большое сердце, слишком ты великодушная, не могу я с тобой поступать недостойно. Жениться я не собираюсь и не собираюсь... ну, любить, не женюсь, хотя прежде со мной так бывало. Мне жаль, что я пришел сюда сегодня и встретился с тобой. Но теперь уже ничего не поделаешь, и я ведь совсем не думал, что так обернется. Но послушай, Лиззи, ты мне так нравишься, никакими словами не сказать. Не просто нравишься. Я восхищаюсь тобой и уважаю тебя. Ты замечательная, ты замечательно хорошая. Да что толку в словах? Но я вот что хочу сделать. Тебе трудно жилось, позволь мне облегчить твою жизнь. (Глаза Лиззи засветились радостным светом – и снова погасли.) У меня почти наверняка скоро заведутся деньги... Много денег.

В эту минуту он махнул рукой на долину с бухтой, на крытый пальмовыми листьями дворец и нарядную белую шхуну. В конце-то концов, не все ли равно. Можно уйти в плаванье простым матросом куда угодно, на любом корабле, как уходил уже столько раз.

– Я хотел бы отдать эти деньги тебе. Есть ведь, наверно, что-то, чего тебе хочется, – пойти в школу или на курсы делопроизводства. Или захочешь выучиться на стенографистку. Я это устрою. Или, может, у тебя живы отец с матерью. Я могу купить для них бакалейную лавку или что-нибудь еще. Только скажи, чего ты хочешь, и я все устрою.

Лиззи не отвечала, сидела не шевелясь, глядя в одну точку сухими глазами, но в горле у нее застрял ком, и Мартин так отчетливо понял ее боль, что и у него самого ком застрял в горле. Зачем только он такое сказал. Всего-навсего деньги предложил он ей – такая эта дешевка перед тем, что предложила ему она. Он хотел отдать то, без чего мог обойтись, с чем мог расстаться легко, она же отдала ему себя, шла на позор, на стыд, на грех, который не простится ей и за гробом.

– Давай не будем про это, – сказала Лиззи, голос ее сорвался, и она сделала вид, будто закашлялась. И поднялась. – Пошли по домам. Устала до смерти.

Праздник кончился, почти все гуляки уже разошлись. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, оказалось, что вся компания их поджидает. Мартин тотчас понял, что это значит. Назревала заварушка. Компания– его телохранители. Они вышли из ворот парка, а за ними в отдалении следовала вторая компания, друзья Лиззиногo кавалера – потеряв даму, он собрал приятелей и готовился отомстить. Несколько полицейских, учуяв, что дело пахнет дракой, держались неподалеку и препроводили обе компании. одну за другой, к поезду на Сан-Франциско, Мартин сказал Джимми, он выйдет у Шестнадцатой улицы и доедет в Окленд трамваем. Лиззи сидела тихая, безучастная к назревающей драке. Поезд остановился на Шестнадцатой улице, у станции уже стоял трамвай, и кондуктор нетерпеливо трезвонил.

– Вон он дожидается. Давай беги, а мы их задержим, – посоветовал Джимми. – Живей! Не упusti его!

Враги растерялись было при этом маневре, но сейчас же соскочили с поезда и кинулись вдогонку. Пассажиры трамвая, степенные, рассудительные оклендцы, едва ли обратили внимание на парня и девушку, которые вскочили в трамвай и прошли на передние открытые места. Они не связали эту пару с Джимми, который вскочил на подножку и заорал

вагоновожатому:

– Врубай ток, старик, да гони отсюда! И тотчас круто обернулся, заехал кулаком в лицо бегущему парню, который пытался тоже вскочить в трамвай. Вдоль всего вагона кулаки молотили по лицам. Так Джимми с приятелями на всех подножках трамвая отражали атаку. Трамвай затрезвонил вовсю, рванулся вперед, и, отбив последних нападающих, Джимми со своими соскочил наземь, чтобы довести дело до конца. Трамвай помчался дальше, оставив далеко позади шквал битвы, а ошарашенные пассажиры и думать не думали, что причина переполоха спокойный молодой человек и хорошенькая работница.

Мартин сперва радовался драке, в нем вспыхнул давний боевой задор. Но задор этот быстро угас, сменился печалью. До чего же он стар, куда старше беспечных, беззаботных приятелей его прежних дней. Он ушел далеко, слишком далеко, назад уже не вернуться. Их жизнь, та, какую когда-то жил и он, ему теперь отвратительна. В ней он окончательно разочаровался. Он стал чужаком. Как показался противен вкус дешевого пива, так противно теперь ему водить компанию с этими парнями. Слишком он отдалился. Тысячи книг, что он держал в руках, разверзли между ними пропасть. Он сам отправил себя в изгнание. Он странствовал по бескрайнему царству разума, и вот уже нет ему возврата домой. Но ведь человек же он, и всечеловеческая потребность в обществе себе подобных остается неутоленной. Нового дома он не обрел. Как не способны его понять эти старые приятели, и родные, и всякие буржуа, так и девушке, сидящей рядом, которую он глубоко уважает, не понять ни его самого, ни того, как глубоко он ее уважает. Мартин думал обо всем этом, и печаль его окрасилась горечью.

– Помиришь с ним, – посоветовал он Лиззи при расставании, когда они стояли перед лачугой в рабочем квартале, где она жила неподалеку от угла Шестой и Маркет-стрит. Он говорил о молодом парне, которого сегодня оттеснил.

– Не могу я... теперь, – сказала Лиззи.

– Ну что ты, – весело сказал Мартин. – Только свистни, и он бегом прибежит.

– Я не про то, – просто сказала Лиззи.

И он понял, о чем она.

Он уже собирался проститься, и тут она потянулась к нему. Но не властно потянулась, не с желанием соблазнить, а с тоской и смирением. Мартин был бесконечно тронут. Его природное великодушие взяло верх. Он обнял Лиззи и поцеловал, и знал: ничто на свете не могло быть искренней и чище ее ответного поцелуя.

– Господи! – сквозь слезы выговорила она. – Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас!

И внезапно оторвалась от него и взбежала на крыльцо. У Мартина увлажнились глаза.

«Мартин Иден, – сказал он себе. – Ты не скот, ты проклятый ницшеанец. Ты должен был бы на ней жениться, и тогда это трепещущее сердце до краев наполнилось бы счастьем. Но не можешь ты, не можешь! Позор!»

"Бродяга старый, что бубнит про язву, – пробормотал Мартин, вспомнив строки Хенли. – Людская жизнь – ошибка и позор.

Да, так и есть, ошибка и позор".

«Позор солнца» вышел в свет в октябре. Когда Мартин разрезал шнурок срочной бандероли и шесть авторских экземпляров, посланных редакцией, упали на стол, глубокая печаль охватила его. Он подумал о том, как неистово ликовал бы, случись это всего несколько месяцев назад, и как далеко от ликования нынешнее холодное равнодушие. Его книга, первая его книга— а сердце не забилося чаще, и на душе одна лишь печаль. Теперь выход книги почти ничего не значит. Разве что будут кое-какие деньги, но и к деньгам он равнодушен. Мартин понес один экземпляр в кухню и подарил Марии.

— Эта я написал, — объяснил он, желая рассеять ее недоумение. — Написал вон в той комнате, и я считаю, мне помогал твой овощной суп. Возьми книгу. Она твоя. Пускай она напоминает тебе обо мне.

Мартин не хвастал, не рисовался. Просто ему хотелось ее порадовать — пускай гордится им, пускай знает, что не зря так долго верила в него. Мария положила книгу на семейную Библию в комнате для гостей. Теперь это святыня, ведь эту книгу сочинил ее постоялец, это — символ дружбы. Книга смягчила удар от того, что прежде он был рабочим в прачечной, и хотя Мария не могла понять ни строчки, она знала, что каждая строчка замечательная. Эта простая женщина, только и знающая прозу жизни да тяжкий труд, была щедро одарена талантом веры и верности.

Так же равнодушно, как взял он в руки отпечатанный «Позор солнца», читал Мартин рецензии, которые каждую неделю присылало ему бюро вырезок. Книга явно имеет успех. Значит, у него станет больше золота. Он сможет устроить будущее Лиззи, исполнить все свои обещания, и хватит еще и на то, чтобы возвести крытый пальмовыми листьями дворец.

Осторожные издатели «Синглтри, Дарнли и Ко» выпустили в свет полторы тысячи экземпляров, но после первых же рецензий стали печатать второе издание двойным тиражом, и не успело еще оно разойтись, заказали третье— в пять тысяч экземпляров. Одна лондонская фирма по телеграфу договорилась об английском издании, а вслед за ней тотчас стало известно, что во Франции, в Германии и в Скандинавии готовятся переводы. Трудно было бы выбрать более подходящее время для нападения на школу Метерлинка. Завязалась яростная полемика. Сейлиби и Геккель, в кои-то веки оказавшись заодно, поддерживали и защищали «Позор солнца», Крукс и Уоллес заняли противоположную позицию, а сэр Оливер Лодж пытался сформулировать промежуточную точку зрения, которая совпадала бы с его космическими теориями. Последователи Метерлинка объединились под знаменем мистицизма. Весь мир хохотал, читая серию якобы беспристрастных эссе Честертона, посвященных этой теме, и все вместе едва не испустили дух, когда по ним выпалил из всех орудий Джордж Бернард Шоу. Нечего и говорить, что в бой ринулось множество и не столь прославленных знаменитостей, и от пыли, пота и шума было не продохнуть.

"Невиданный случай, — писали Мартину «Синглтри, Дарнли и Ко». — Впервые критически-философский этюд раскупают как роман. Вы попали в самую точку, и все сопутствующие обстоятельства оказались непредвиденно благоприятными. Можете нимало не сомневаться, что мы куем железо, пока горячо. В Соединенных Штатах и в Канаде продано уже свыше сорока тысяч экземпляров, и печатается новое издание в двадцать тысяч экземпляров. Мы прилагаем все старания, чтобы удовлетворить спрос. И однако мы сами содействовали его росту. Мы потратили на рекламу уже пять тысяч долларов. Ваша книга обещает побить все рекорды.

При сем препровождаем копию договора на Вашу следующую книгу. Соболаговолите заметить, что мы увеличили Ваш гонорар до двадцати процентов — это предел, на который может решиться наше патриархальное издательство. Если наше предложение Вам подходит, не

откажете в любезности вписать название Вашей книги в соответствующем месте договора. Мы не ставим никаких условий касательно характера книги. Нас устроит любая книга на любую тему. Если она уже написана, тем лучше. Сейчас самое время, трудно себе представить более подходящий момент.

По получении подписанного договора мы будем иметь удовольствие послать Вам аванс в пять тысяч долларов. Как видите, мы верим в Вас и действуем с размахом. Хотелось бы также обсудить с Вами возможность заключения договора на некоторый срок, скажем, на десять лет, в который Вы отдаете нам исключительное право публиковать в виде книг все, что Вы напишете. Но об этом мы еще успеем условиться".

Мартин отложил письмо и подсчитал в уме, что пятнадцать процентов от шестидесяти тысяч это девять тысяч долларов. Он проставил название книги «Дым радости», подписал новый договор и отправил по почте в издательство вместе с двадцатью короткими рассказами, написанными еще до того, как он изобрел рецепт, помогающий писать рассказы для газеты. И с той скоростью, на какую способна почта Соединенных Штатов, получил от «Синглтри, Дарили и К°» чек на пять тысяч долларов.

– Мне надо, чтобы сегодня часа в два ты пошла со мной в город, Мария, – сказал Мартин в то утро, когда прибыл чек. – Или лучше встретимся в два на углу Четырнадцатой и Бродвея. Я буду тебя ждать.

В назначенный час она была на месте, но, гадая, зачем бы это он ее вытребовал, только и подобрала к загадке единственный ключ – башмаки, и ощутила горькое разочарование, когда Мартин мимо обувного магазина провел ее в контору недвижимого имущества. То, что произошло потом, на всю жизнь сохранилось у нее в памяти, как волшебный сон. Хорошо одетые джентльмены, разговаривая с Мартином и между собой, благосклонно ей улыбались, стучала пишущая машинка, на внушительном документе проставили подписи; был здесь и ее домохозяин, и он тоже подписал ту бумагу, а когда все это кончилось, уже на улице домохозяин сказал ей:

– Ну, Мария, вот и не надо тебе платить семь с половиной долларов в этом месяце.

Ошеломленная Мария слова не могла вымолвить.

– И ни за какой месяц больше не надо платить, – сказал домохозяин.

Мария бессвязно его благодарила, словно он сделал ей одолжение. И лишь когда она вернулась домой в Северный Окленд, потолковала с соседями и показала бумагу португальцу-бакалейщику, она в самом деле поняла, что стала владелицей домишка, в котором жила и за который так долго платила аренду.

– Чего ж перестали у меня покупать? – спросил португалец-бакалейщик, выйдя из лавки поздороваться с Мартином, когда тот вечером шел домой с трамвайной остановки; и Мартин объяснил, что больше сам не готовит, а потом зашел в лавку и выпил с хозяином по стаканчику. И заметил, что бакалейщик угостил его самым лучшим вином из своих запасов.

– Я съезжаю с квартиры, Мария, – сказал Мартин в тот вечер. – А скоро ты и сама отсюда уедешь. Тогда сможешь сдавать дом в аренду и будешь получать с жильцов плату. У тебя ведь брат не то в Сан-Леандро, не то в Хейуордсе молоком торгует. Так вот, белье, что взяла в стирку, отошли обратно нестираное, понимаешь? И завтра отправляйся в Сан-Леандро, или в Хейуордс, или где он там живет, повидайся с братом. Вели, чтоб приехал поговорить со мной. Я буду в гостинице «Метрополь» в Окленде. Надо думать, он знает толк в молочных фермах.

И стала Мария домовладелицей и хозяйкой молочной фермы, где ей помогали два работника, и у нее появился и неуклонно рос счет в банке, несмотря на то, что, весь ее выводок обзавелся башмаками и ходил в школу. Мало кому посчастливится встретить сказочного принца, об этом можно только мечтать, но Мария, вечная труженица, женщина трезвая, которая

отродясь не мечтала ни о каких сказочных принцах, повстречала своего принца в обличье бывшего рабочего из прачечной.

Между тем широкая публика начала интересоваться— кто же он такой, этот Мартин Иден? Своим издателям Мартин отказался дать какие-либо сведения о себе, но от газет так просто не отделаешься. В Окленде, родном городе Мартина, репортеры отыскивали десятки людей, которые могли о нем порассказать. Все, чем он был и не был, все, что делал, и много всякого, чего не делал, было подано публике, точно лакомое блюдо с приправой из моментальных снимков и фотографий, добытых у местного фотографа. Они, сохранились у него с давних пор, и теперь он их заново отпечатал и пустил в продажу. Так противны были Мартину журналы и все буржуазное общество, что поначалу он воевал против этой шумихи, но под конец сдался— так было проще. Оказалось, неудобно не встретиться с корреспондентом, журналистом, который приехал издалека, чтобы поговорить с ним. И потом, в сутках ведь двадцать четыре часа, а он уже не пишет, не занимается самообразованием, надо же чем-то заполнить день; и он поддался неожиданной для него причуде, стал давать интервью, высказывался о литературе и философии и даже принимал приглашения разных буржуа. К нему пришло непривычное спокойствие. Ничто больше не задевало. Он всем простил, даже молокососу-репортеру, который некогда изобразил его «красным»

— теперь Мартин разрешил ему сделать несколько снимков и согласился дать интервью на целую газетную полосу.

Время от времени он виделся с Лиззи, и она явно жалела, что он стал знаменитым. Это еще отдалило их друг от друга. Возможно, в надежде вновь приблизиться к нему, она и уступила настояниям Мартина — пошла в вечернюю школу и на курсы делопроизводства и стала одеваться у сверхмодной чудо-портнихи, которая стоила немислимых денег. С каждым днем Лиззи заметно менялась к лучшему, и Мартин стал уже подумывать, правильно ли он себя с ней ведет — ведь и согласилась она на все это и старалась ради него. Она хотела стать достойной его — обрести достоинства, которые, по ее мнению, он ценит. С другой стороны, Мартин никак не обнадеживал ее, обращался с ней по-братски и виделся редко.

Издательство «Мередит-Лоуэл и К0» выбросило «Запоздавшего» на книжный рынок в самый разгар популярности Мартина, и поскольку это была беллетристика, тираж даже превзошел «Позор солнца». Неделя за неделей две его книги стояли во главе списка бестселлеров — случай беспрецедентный. Морская повесть захватила не только любителей беллетристики и тех, кто зачитывался «Позором солнца», могучее многогранное мастерство, с каким она была написана, покоряло. Сперва он с блеском разгромил литературу мистицизма, а потом своей повестью убедительно показал, что же такое истинная литература, которую защищает, проявив себя как редкий талант — критик и творец в одном лице.

К нему хлынули и деньги и слава; он вспыхнул в литературе подобно комете, но вся эта шумиха не слишком его трогала, разве что забавляла. Одно его изумляло, сущий пустяк, которому изумился бы литературный мир, узнай он об этом. Но мир был бы. изумлен скорее не этим пустяком, а изумлением Мартина, в чьих глазах пустяк этот вырос до громадных размеров. Судья Блаунт пригласил его на обед. Да, пустяк, но пустяку предстояло вскоре превратиться в нечто весьма существенное. Когда-то он оскорбил судью Блаунта, был с ним чудовищно груб, а судья, встретившись с ним на улице, пригласил его на обед. Мартину вспомнилось, как часто он встречался с судьей Блаунтом у Морза и хоть бы раз тот пригласил его на обед. Почему же судья не приглашал его тогда?

— спрашивал себя Мартин. Он, Мартин, не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же разница? В том, что написанное им вышло в свет в виде книги? Но ведь написал он это раньше, работа была уже сделана. Это вовсе не достижение последнего времени. Все уже

завершено было в ту пору, когда судья Блаунт заодно со всеми высмеивал его увлечение Спенсером и его рассуждения. Значит, не за то, что в нем и вправду ценно, пригласил его судья на обед, а за то, что он поднялся на какие-то мнимые высоты.

Мартин усмехнулся, принял приглашение и подивился собственной учтивости. На обеде, где присутствовало несколько важных господ с женами и дочерьми, Мартину явно предназначена была роль знаменитости, а судья Блаунт, при горячей поддержке судьи Хэнуэлла, отведя его в сторонку, принялся уговаривать Мартина стать членом «Стикса» – сверхизбранного клуба, в котором состояли не просто богатые люди, но люди выдающиеся. Мартин предложение отклонил и изумился больше прежнего.

Он все еще занят был тем, что разделялся с грудой своих рукописей. Он был завален просьбами издателей. Они сделали открытие, что он отличный стилист, но стиль у него отнюдь не заслоняет содержания. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», попросило прислать еще пять-шесть подобных же этюдов, и он снабдил бы их желаемым, послал кое-что из своей груды, но тут «Журнал Бертона» вздумал рискнуть и попросил пять этюдов, предложив по пятьсот долларов за каждый. Мартин ответил, что согласен прислать, но по тысяче долларов за этюд. Он не забыл, что все эти рукописи когда-то были отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь наперебой их выпрашивали. И отказали они тогда хладнокровно, не задумываясь, по шаблону. В свое время они обирали его, теперь он намерен обогатить их. «Журнал Бертона» заплатил за пять этюдов столько, сколько он запросил, а остальные четыре у него выхватил по той же цене «Ежемесячник Макинтоша».

«Северное обозрение», не столь богатое, не могло с ними тягаться. Так вышли в свет «Служители тайны», «Взыскующие чуда», "Мерило своего "я", «Философия иллюзии», «Божественное и скотское», «Искусство и биология», «Критики и пробирки», «Звездная пыль» и «О пользе ростовщичества» – и вокруг каждого подолгу не стихали бурные споры, недовольство и ропот.

Издатели писали ему, предлагали ставить любые условия, что он и делал, но отдавал в печать то, что было уже написано прежде. Он решительно отказывался от новых работ. О том, чтобы опять взяться за перо, он и помыслить не мог. У него на глазах литературная чернь растерзала Бриссендена, и, хотя его самого эта же чернь подняла на щит, он не оправился от удара и не испытывал к ней ни малейшего уважения. И нынешняя его слава казалась ему бесчестьем, предательством по отношению к Бриссендену. Его корбило, но он твердо решил продолжать печататься и разбогатеть.

Он получал такие, например, письма от редакторов: «Около года назад мы имели несчастье отказаться от Вашей любовной лирики. Она произвела на нас тогда огромное впечатление, но мы были уже связаны другими обязательствами и это помешало нам принять Ваши стихи. Если они у Вас, если Вы будете так любезны, что передадите их нам, мы с радостью опубликуем их все на Ваших условиях. Мы готовы также предложить Вам наивысший гонорар, если Вы разрешите издать их книгой».

Мартин вспомнил про свою трагедию, написанную белым стихом, и вместо лирики послал ее. Перед тем как послать, он ее перечитал и поразился, до чего же это незрело, беспомощно и попросту никчемно. Однако послал, и трагедию напечатали, о чем редактор сожалел потом всю жизнь. Публика возмущалась и, не верила своим глазам. Не мог этот напыщенный вздор выйти из-под пера такого мастера, как Мартин Иден. Утверждали, что вовсе не он это написал, либо журнал напечатал грубейшую подделку, либо Мартин Иден по примеру Дюма-отца, на вершине успеха поручает подмастерьям писать за него. Когда же Мартин объяснил, что трагедия эта – ранний опыт, сочинена в пору его литературного младенчества, но журнал отчаянно ее домогался, журнал подняли на смех, и редактор был сменен. Отдельным изданием трагедию так

и не выпустили, хотя договор был заключен и аванс Мартин положил себе в карман.

«Еженедельник Колмена» пространной телеграммой, которая обошлась ему в добрые триста долларов, предложил Мартину написать для них двадцать очерков, каждый по тысяче долларов. Пусть Мартин за счет «Еженедельника» разъезжает по стране и пишет о чем ему заблагорассудится. Большую часть телеграммы составлял перечень возможных тем – доказательство, сколь широкий выбор предоставляется Мартину. Единственное ограничение – очерки должны быть посвящены внутренним проблемам Соединенных Штатов. Мартин ответил телеграммой за счет получателя, что принять их предложение не может, о чем очень сожалеет.

«Уики-Уики», опубликованный в «Ежемесячнике Уоррена», тотчас же завоевал общее признание. Позже его выпустили отдельным роскошным изданием, с большими полями и прекрасным оформлением, оно произвело фурор и было мигом распродано. Критики единодушно предсказывали, что он займет место рядом с двумя классическими произведениями двух великих писателе – с «Духом в бутылке» Стивенсона и «Шагреневой кожей» Бальзака.

Читатели, однако, встретили сборник «Дым радости» довольно холодно и не без подозрительности. Смелые, чуждые условностей, эти рассказы бросали дерзкий вызов буржуазной морали и предрассудкам; не когда Париж стал сходить с ума по маленьким шедеврам, мгновенно переведенным на французский, американская и английская читающая публика тоже загорелась, сборник пошел нарасхват, и Мартин заставил патриархальное издательство «Синглтри, Дарнли и Ко» заплатить ему за третье издание по двадцать пять процентов с экземпляра, а за четвертое – по тридцать. В эти два тома вошли все его рассказы, которые напечатаны были раньше или печатались теперь в приложениях. «Колокольный звон» в «страшные» рассказы составили один сборник, а во второй вошли «Приключение», «Выпивка», «Вино жизни», «Водоворот», «Толчая» и еще четыре рассказа. Издательство «Мередит-Лоуэл» составило сборник из всех его эссе и этюдов, а издательству «Максмиллан» достались «Голоса моря» и «Стихи о любви», причем последние выходили приложением к «Спутнику женщины» и Мартин получил за них баснословный гонорар.

Отделавшись от последней рукописи, Мартин вздохнул с облегчением. До белой шхуны и тростникового дворца было уже рукой подать. Что ж, во всяком случае, он опроверг утверждение Бриссендена, будто ничего стоящего журналы вовек не напечатают. Его, успех наглядно показал, что Бриссенден ошибался. И однако почему-то думалось, что в конечном счете прав Бриссенден. Успех ему принес прежде всего «Позор солнца», а не все остальное, что он написал. Остальное попало в печать по чистой случайности. Ведь сначала журналы отвергли все подряд. Но вокруг «Позора солнца» разгорелись споры, и он оказался на виду. Если бы не «Позор солнца», он остался бы в неизвестности, и в неизвестности остался бы «Позор солнца», если бы чудом не попал в самую точку. Издательство «Синглтри, Дарнли и К°» само считало, что произошло чудо. Первое издание выпустили тиражом в полторы тысячи экземпляров и сомневались, удастся ли его распродать. Опытные издатели, они больше всех были поражены успехом книги. Для них это и вправду было чудо. Они так и не оправились от удивления, и в каждом их письме Мартин ощущал почтительный трепет, вызванный тем загадочным событием. Найти объяснение они не пытались. Не было этому объяснения. Такой уж вышел случай, противоречащий всему их опыту.

Так размышляя, Мартин и решил, что невелика цена его славе. Ведь его книги раскупали и осыпали его золотом буржуа, а по тому немногому, что знал он о буржуа, ему не ясно было, как они могли оценить по достоинству или хотя бы понять то, что он пишет. Подлинная красота и сила его книг ничего не значили для сотен тысяч, которые раскупали и шумно восхваляли автора. Все вдруг помешались на нем, на дерзком смельчаке, который штурмом взял Парнас, пока боги вздремнули. Сотни тысяч читают его и шумно восхваляют, в своем дремучем

невежестве ничего, не смысла в его книгах, как, ничего не смысла, подняли шум вокруг «Эфемериды» Бриссендена и разорвали ее в клочья... Эта волчья стая ластится: к нему, а могла бы впиться в него клыками. Ластиться или впиться клыками— это дело случая, одно ясно и несомненно: «Эфемерида» несравнимо выше всего, что написал он, Мартин. Несравнимо выше всего, на что он способен. Такая поэма рождается однажды в несколько столетий, а значит, восхищению толпы грош цена, ведь та же самая толпа вываляла в грязи «Эфемериду». Мартин глубоко, удовлетворенно вздохнул. Хорошо, что последняя рукопись продана и скоро со всем этим будет покончено.

Мистер Морз встретился с Мартином в холле гостиницы «Метрополь». Пришел ли он на какое-то деловое свидание или только затем, чтобы пригласить Мартина на обед, осталось неясно. Хотя Мартин склонялся ко второму предположению. Так или иначе он получил приглашение на обед, и пригласил его мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и разорвал помолвку.

Мартин не разозлился. Его это даже не задело. Он терпеливо выслушал мистера Морза, спрашивая себя, легко ли далось этому господину такое унижение. И приглашения не отклонил. Просто неопределенно обещал как-нибудь заглянуть и спросил о семье, особенно о миссис Морз и Руфи. Не запнулся, вполне естественно произнес ее имя, хотя втайне удивился, что не ощутил внутреннего трепета, не застучало чаще сердце, не обдало жаркой волной. Он получал много приглашений на обеды и кое-какие принимал. Люди просили знакомых представить их ему, чтобы пригласить его к себе. И этот пустяк по-прежнему изумлял его и превращался в нечто значительное. Его пригласил обедать Бернард Хиггинботем, и Мартин изумился больше прежнего. Припомнились дни, когда он отчаянно голодал и никто не приглашал его на обед. Тогда-то он очень нуждался в обедах, а их не было, и его одолевали слабость и дурнота, и он худел просто-напросто от голода. Вот ведь нелепость. Когда ему позарез надо было пообедать, никто ему этого не предлагал, а теперь, когда он может заплатить за сто тысяч обедов, и притом теряет аппетит, обеды сыплются на него со всех сторон. Но почему? Несправедливо это и не по заслугам. Он тот же, что был. Все, что он написал, в ту пору было уже написано, работа была уже сделана. Супруги Морз считали его бездельником и лодырем и через Руфь настаивали, чтобы он пошел служить в какую-нибудь контору. А ведь они знали, что он пишет. Руфь давала им рукопись за рукописью. И они читали. Читали все то, из-за чего имя его сейчас повторяют все газеты, и как раз потому, что имя его повторяют все газеты, Морзы и пригласили его на обед. Одно несомненно: сам Мартин, и его писания Мор-зам всегда были глубоко безразличны. Значит, и сейчас он нужен им не сам по себе, не ради того, что он написал, но ради его славы, оттого, что он стал знаменитостью, а еще – почему бы и нет – оттого, что у него есть примерно сотня тысяч долларов. Именно так буржуазное общество и оценивает человека, и чего иного от этой публики ждать? Но он горд. Он презирает подобную оценку. Пусть его ценят за него самого или за его книги, в конце концов, они и есть выражение его самого. Так ценит его Лиззи. Для нее и его работа не в счет. Она ценит его, его самого. Так ценит его и Джимми, давний знакомец, и все прежние приятели. В дни, когда он был с ними, они не раз это доказывали; доказали это и на воскресном гулянье в Шелл-Маунд-парке. Плевать им на его писания. Любят они и готовы отстоять в драке просто Мартина Идена, своего парня, парня что надо.

Но есть еще Руфь. Она полюбила его за него самого, это бесспорно. Но как бы он ни был ей дорог, буржуазная мера ценностей для нее дороже. Она восстала против его писательства, и прежде всего, видимо, потому, что оно не приносило денег. Этой меркой она мерила его «Стихи о любви». Она тоже настаивала, чтобы он поступил на службу. Правда, у нее это звучало более изящно – «добиться положения в обществе», но смысл был тот же, и у него в голове засело старое наименование. Он читал ей все, что выходило из-под его пера, – стихи, рассказы, эссе, «Уики-Уики», «Позор солнца», решительно все. И она каждый раз упорно настаивала: надо идти служить, идти, работать... Боже милостивый! Да разве он не работал, отнимая часы у сна, не щадя себя, все ради того чтобы стать достойным ее!

Итак, постепенно пустяк перерастал в нечто более значительное. Мартин был здоров телом и в здравом уме, он ел досыта, спал вволю, и однако этот пустяк стал его навязчивой идеей. Моя

работа была уже сделана, слова эти преследовали его. Он сидел напротив Бернарда Хиггинботема за тяжеловесным воскресным обедом над Хиггинботемовой лавкой и еле сдерживался, чтобы не заорать:

– Моя работа была уже сделана! И теперь ты меня кормишь, а тогда предоставил мне голодать; не желал пускать на порог, клял меня на чем свет стоят, потому что я не шел служить. А я уже завершил свою работу, все было уже написано. Вот сейчас я говорю – и ты не смеешь меня перебить, ловишь каждое мое слово, почтительно выслушиваешь все, что бы я ни сказал. Твоя партия насквозь прогнила, в ней полно жуликов, говорю я, а ты, чем бы разъяриться, бекаешь и мекаешь и соглашаешься – да, мол, в моих словах много правды. А почему? Потому что я знаменит, потому что у меня куча денег. Не потому; что я Мартин Иден, парень что надо и не такой уж дурак. Ляпни я, что луна сработана из зеленого сыра, ты и тут поддакнешь, во всяком случае, не заспоришь, потому что у меня есть деньги... горы денег. А ведь книги мои написаны давным-давно, говорят тебе, моя работа была уже сделана, когда ты плевать на меня хотел и втоптывал в грязь.

Но Мартин не заорал. Мысль эта грызла, терзала непрестанно, а он улыбался и сохранял выдержку. А когда он замолчал, принялся разглагольствовать Хиггинботем. Он ведь тоже преуспел в жизни и гордится этим, он и сам выбился из низов. Никто ему не помогал. Он никому ничем не обязан. Он верный сын отечества, содержит большую семью, растит детей. И «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет» – вот высшая награда его трудам и деловитости. Он любил лавку Хиггинботема, как иные мужчины любят своих жен. Он раскрыл перед Мартином душу, поведал, как дальновидно, с каким размахом воздвигал сей монумент. И сейчас он тоже строит планы, честолюбивые планы. Район этот разрастается. Лавка становится для него мала. Было бы помещение побольше, он бы ввел немало новшеств, которые сберегают труд, дают доход. И он этого добьется. Он из кожи лезет вон, придет время, и он купит смежный с лавкой участок и построит еще один двухэтажный каркасный дом. Верх можно будет сдавать внаем, а весь нижний этаж обоих домов займет «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». По фасаду протянется новая вывеска, Хиггинботем стал ее описывать, и даже глаза у него заблестели.

Мартин не слушал. Моя работа была уже сделана, опять и опять звучало в мозгу, заглушая трескотню лавочника. Неотвязный припев этот сводил с ума, и Мартин попробовал отделаться от него.

– Во сколько, говоришь, это обойдется? – вдруг спросил он.

Зять, который в это время распространялся о широких возможностях торговли в своем квартале, замолк на полуслове. Он не упоминал сейчас о том, во сколько обойдется постройка нового дома, но знал. Подсчитывал десятки раз.

– При нынешней цене на лес хватит четырех тысяч, – сказал он.

– Вместе с вывеской?

– Про это я не подумал, считал, раз дом выстрою, значит, вывеска само собой. – А земля?

– Еще три тысячи.

Хиггинботем подался вперед и, облизывая губы, беспокойно шевеля пальцами, смотрел, как Мартин выписывает чек. Но вот чек передан ему, он глянул на сумму – семь тысяч долларов.

– Я... я больше шести процентов платить не смогу, – выговорил он.

Мартин чуть не рассмеялся, но вместо этого резко спросил:

– Сколько это было бы?

– Обожди-ка. Шесть процентов... шестью семь... четыреста двадцать долларов.

– Выходит тридцать пять долларов в месяц, верно?

Хиггинботем кивнул. – Тогда, если ты не против, уговоримся так. – Мартин глянул на

Гертруду. – Капитал в твоём распоряжении, если на тридцать пять долларов в месяц наймешь прислугу. Семь тысяч твои, если обещаешь, что Гертруда больше не будет везти на себе всю тяжелую работу по дому. Идет?

Мистер Хиггинботем трудно сглотнул. Жена не должна больше будет работать по дому – какое оскорбление его бережливости. Великолепный подарок – только оболочка пиллюли, горькой пиллюли. Жена не должна будет работать! Он задохнулся от злости.

– Что ж, ладно, – сказал Мартин. – Я сам буду платить тридцать пять долларов в месяц и...

Он потянулся через стол за чеком. Но Бернард Хиггинботем поспешно прикрыл чек рукой.

– Согласен! Согласен! – крикнул он. Садясь в трамвай, Мартин почувствовал, до чего устал и до чего ему тошно. Взглянул на вывеску – воплощение самодовольства. – Свинья, – проворчал он. – Свинья, свинья.

Когда «Журнал Макинтоша» напечатал «Гадалку», на видном месте, с рисунками Бертье и Уэина, Герман Шмидт забыл, что прежде назвал эти стихи непристойными. Стал везде рассказывать, что эти стихи посвящены его жене, постарался, чтобы новость достигла ушей какого-нибудь репортера, и, конечно, не отказал в интервью штатному сотруднику газеты, который явился к нему в сопровождении штатного фотографа и штатного художника. И вот в воскресном приложении целую страницу заняли фотографии и приукрашенные карандашные портреты Мэриан вместе с множеством подробностей из личной жизни Мартина Идена и его семьи, и тут же, с особого разрешения «Журнала Макинтоша», была крупным шрифтом перепечатана «Гадалка». Весь квартал всполошился. Добропорядочные матери семейств возгордились знакомством с сестрой знаменитого писателя, а те, кто не был знаком, спешили удостоиться этой чести. Владелец скромной мастерской по ремонту велосипедов только посмеивался и решил заказать новый токарный станок.

– Это вышло получше рекламы, и ни гроша мне не стоило, – сказал он жене.

– Надо бы. пригласить его на обед, – предложила Мэриан.

И Мартин пришел на обед, и старался быть вежливым с жирным мясником-оптовиком и его еще более жирной женой – люди они нужные, могут оказаться полезными начинающему молодому предпринимателю вроде Германа Шмидта. Однако залучить их в его дом могла только такая соблазнительная приманка, как его знаменитый зять. Был за столом и еще один человек, привлеченный той же приманкой, – главный управляющий агентствами велосипедной компании Эйса на тихоокеанском побережье. Шмидт хотел угодить ему и снискать его расположение, ведь через него можно было проникнуть в Оклендское велосипедное агентство. Итак, Герман Шмидт счел за благо иметь такого зятя, хотя в глубине души не понимал, как это Мартин стал знаменитостью. В тихие ночные часы, когда жена крепко спала, а ему не спалось, он с великим трудом одолел книги и стихи Мартина и порешил, что все, кто их раскупает, просто сдурели. А Мартин отлично это понимал, видел Шмидта насквозь и, откинувшись на стуле, алчно глядел на его голову и в воображении обрушивал на него удар за ударом, – экая немецкая дубина! Но одно Мартину все-таки нравилось в нем. Хоть он бедняк и непременно решил выбиться в люди, а нанял служанку, избавил Мэриан от тяжелой работы. Мартин потолковал с главным управляющим агентствами Эйса и после обеда отозвал их с Германом в сторонку и снабдил зятя деньгами, чтобы он смог открыть лучший в Окленде магазин велосипедов и деталей к ним. Больше того, после, в разговоре один на один, Мартин сказал Герману: пускай приглядывает автомобильное агентство и гараж, наверняка он с таким же успехом сумеет заправлять еще и этим.

На прощанье Мэриан обняла Мартина и со слезами на глазах стала говорить, как она его любит и всегда любила. Правда, посреди этих уверений она запнулась, но тотчас заплакала, путаясь в словах, стала его целовать, и он понял, это – мольба простить ее за то, что прежде она

не верила в него и настаивала, чтобы он шел работать.

– Деньги у него не продержатся, точно тебе говорю, – доверительно сообщил Шмидт жене. – Я заговорил про проценты, так он взбесился, заодно и капитал послал к чертям и говорит, попробуй только заикнись про это опять, разобью твою немецкую башку. Так и сказал – твою немецкую башку! Но он человек порядочный, хоть и не деловой. Теперь я выйду в люди, спасибо ему, он человек порядочный.

От приглашений к обеду отбою не было, и чем чаще Мартина приглашали, тем сильнее он удивлялся. Почетным гостем сидел он на банкете Арден-клуба, среди людей выдающихся, о которых он слышал, о которых читал всю свою жизнь, и они говорили ему, что, едва прочитав в «Трансконтинентальном» «Колокольный звон», а в «Осе» «Пери и жемчужину», тут же разгадали в нем огромный талант. Господи, думал он, слушая это, а я голодал и ходил в отрепьях! Почему вы не накормили меня обедом тогда? Тогда это было бы в самый раз. Моя работа была уже сделана. Если вы кормите меня сейчас за то, что сработано прежде, почему же не кормили тогда, когда я в этом нуждался? Ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчужине» я с тех пор не изменил ни слова. Нет, вы кормите меня сейчас не за то, что сработано. Кормите потому, что все меня кормят, и потому, что это почетно

– кормить меня обедом. Вы кормите меня из стадного чувства, потому что и вы тоже чернь и потому что бессмысленная стадная тупость ввела у черни моду – кормить меня обедами. Но при чем тут сам Мартин Иден и книги, которые он написал? – печально спросил он себя, а потом поднялся и искусно, остроумно ответил на искусный остроумный тост.

Так оно и шло. Где бы Мартин ни оказывался – в Пресс-клубе, в Редвуд-клубе, на светских чаепитиях и литературных сборищах, – всегда речь заходила о «Колокольном звоне» и «Пери и жемчужине», и о том, что их прочли еще когда они впервые появились в журнале. И всегда Мартина бесил невысказанный вопрос: «Почему вы не кормили меня тогда? Моя работа была уже сделана. „Колокольный звон“ и „Пери и жемчужина“ не изменились ни на волос. В них и тогда было то же мастерство, те же достоинства. Но не из-за них вы меня угощаете, не из-за других моих вещей. Вы потому угощаете, что теперь это признак хорошего тона, потому что сейчас вся чернь помешалась на желании угостить Мартина Идена».

И в такие минуты ему нередко виделся лихой парень в двубортном пиджаке и в шляпе с широченными полями. Так произошло однажды в Окленде, в Дамском клубе. Он поднялся со стула, прошел по эстраде и тут увидел – в раскрытых настежь дверях в конце просторного зала встал лихой парень в двубортном пиджаке и в шляпе с широченными полями. И так пристально, так упорно вглядывался в него Мартин, что пятьсот разодетых дам с любопытством обернулись, не понимая, что же он там увидел. Но увидели только пустой проход между рядами. А Мартин видел молодого хулигана, который враскачку шел по проходу, и думал, а снимет ли парень шляпу, без шляпы он никогда еще его не видел. Парень прошел по проходу, вот он уже на эстраде. И от мысли обо всем, что еще предстояло этой тени юного Мартина Идена, он едва не зарыдал. Парень заносчиво шагнул прямо к Мартину и растворился у него в сознании, сгинул. Пятьсот пар рук в перчатках мягко зааплодировали, подбадривая знаменитого гостя, который вдруг так смутился. И Мартин отогнал видение, улыбнулся и заговорил.

Инспектор школ, славный старик, остановил Мартина на улице и стал вспоминать, как у него в кабинете Мартина исключали из школы за драку.

– Я прочел в журнале твой «Колокольный звон», уже давно прочел, – сказал он. – Хороший рассказ, не хуже Эдгара По. Великолепно, сказал я тогда, великолепно!

«Да, и с тех пор ты дважды проходил мимо меня на улице и не узнавал меня, – едва не сорвалось у Мартина. – Оба раза я был голоден и шел к ростовщику. И однако моя работа была уже сделана. Тогда ты меня не узнавал. Почему же узнал теперь?»

– Я как раз на днях сказал жене, хорошо бы тебе как-нибудь у нас отобедать, – говорил меж тем инспектор. – И она совершенно согласна со мной. Да, совершенно согласна.

– Отобедать? – резко переспросил, чуть не крикнул Мартин.

– Ну да, да, отобедать... просто разделить скромную трапезу со старым инспектором, негодник, – беспокойно залепетал он и робко ткнул Мартина в бок, пытаясь изобразить дружескую шутливость.

Мартин пошел прочь ошеломленный. На углу он остановился и растерянно поглядел вокруг.

– Провалиться мне на этом месте! – пробормотал он наконец. – Да старик меня испугался.

Однажды к Мартину пришел Крейс, один из тех, которые из «настоящего теста»; и Мартин радостно потянулся к нему, в ответ же получил пылкий подробный рассказ о некоей затее, достаточно сумасбродной, чтобы заинтересовать скорее романиста, чем человека с деньгами. Посреди объяснений Крейс ненадолго замолчал и вдруг заявил, что из большей части «Позора солнца» ясно – Мартин спятил.

– Но я к вам пришел не философию разводить, – тут же продолжал Крейс. – Мне вот что надо знать:

вложите вы в это предприятие тысячу долларов? – Нет, не вложу, во всяком случае, не настолько уж я спятил, – ответил Мартин. – Но я сделаю другое. Когда-то я провел у вас самый замечательный вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего не купишь за деньги. Теперь у меня есть деньги, и они для меня ничего не значат. Я охотно уделю вам тысячу долларов, которые вовсе не ценю, за то, что вы дали мне в тот вечер и что бесценно. У вас нет денег. У меня их больше чем достаточно. Вам они нужны. За ними вы и пришли. Незачем их выманивать хитростью. Вот, возьмите.

Крейс не выразил удивления. Сложил чек, спрятал в карман.

– На таких условиях я готов подписать договор и обеспечить вам сколько угодно подобных вечеров, – сказал он.

– Слишком поздно, – Мартин покачал головой. – Тот вечер для меня единственный и неповторимый. Я побывал в раю. Для вас-то, понятно, такое в порядке вещей. Для меня все было иначе. Никогда уже мне не подняться на такие высоты. С философией я покончил. Больше и слышать о ней не хочу.

– Первый раз в жизни заработал на своей философии, – заметил Крейс, задержавшись в дверях. – И опять мои акции упали до нуля.

Как-то мимо Мартина по улице проехала миссис Морз, она улыбнулась ему и кивнула. Он улыбнулся в ответ и приподнял шляпу. Встреча ничуть его не задела. Месяцем раньше ему стало бы противно, а может быть, и любопытно, и он стал бы гадать, о чем подумала в ту минуту миссис Морз. Теперь же он просто не обратил внимания на эту встречу. Он тут же о ней забыл. Забыл, как забывал, пройдя мимо, о здании Центрального банка или муниципалитета. И однако ум его не знал ни минуты передышки. Мысль опять и опять шла по одному и тому же кругу. Средоточием этого круга оставалось одно: «Моя работа была уже сделана»; вот что непрестанно точило его. Эта мысль завладевала им поутру, едва он просыпался. По ночам она отравляла его сны. Все, что происходило вокруг, если только он вообще это замечал, тотчас связывалось с мыслью: «Моя работа была уже сделана». Тропа безжалостной логики вела его к заключению, что он – никто, ничто. Март Иден лихой парень, и Март Иден матрос – вот это был он, живой, настоящий; но Мартина Идена знаменитого писателя на свете не было. Мартин Иден знаменитый писатель – призрак, выдумка черни, стадным мышлением черни втиснутая в живого, из плоти и крови, Марта Идена, лихого парня и матроса. Но его не проведешь. Он не идол, которому поклоняется толпа, вместо жертвенных даров преподнося ему обеды. Не так он глуп.

Он читал про себя в журналах, вглядывался в напечатанные там свои фотографии, и под конец ему начинало казаться, что и лицо это – не его. Он тот парень, который жил, и трепетал от восторга, и любил; был беззаботен, легко сносил всяческие неурядицы и прощал другим их грешки; служил простым матросом, ходил в плавание в диковинные края и верховодил своими приятелями в драках былых лет. Он тот парень, который поначалу опешил перед тысячами книг

в бесплатной библиотеке, а потом научился в них разбираться и одолел их; он тот парень, который до полуночи не гасил свет, и вскакивал по будильнику, и сам писал книги. Но, вот нелепый обжора, которого усердно пичкает торжественными обедами чернь, – это не он.

Попадалось в журналах и такое, что его забавляло. Все они заявляли на него права. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, в неустанном поиске новых талантов, именно он представил читающей публике и Мартина Идена. На то же претендовала «Белая мышь», и «Северное обозрение», и «Журнал Макинтоша», пока всех не заглушил «Глобус». Этот победоносно ссылался на свои старые номера, где похоронены были искалеченные «Голоса моря». «Юность и время», который, уклонившись от оплаты счетов, снова ожил, тоже объявил о своем преимущественном праве на Мартина, но никто, кроме фермерских детей, этого не прочел. «Трансконтинентальный» горделиво и убедительно поведал, как он первый открыл Мартина Идена, и «Оса» горячо заспорила, похваляясь «Пери и жемчужиной». В этом назойливом шуме совсем потонуло скромное притязание издательства «Синглтри, Дарнли и К°». К тому же у этой издательской фирмы не было своего журнала, благодаря которому голос ее стал бы слышнее.

Газеты подсчитывали гонорары Мартина. Стало известно о щедрых предложениях, которые делали ему иные журналы, и к нему стали запросто обращаться за пожертвованиями оклендские священнослужители, а любители жить на подачки засыпали его письмами. Но хуже всего оказались женщины. Фотографии Мартина печатались всюду и везде, а газетчики всячески расписывали его мужественное, бронзовое от загара лицо, его шрамы, могучие плечи, ясные, спокойные глаза и слегка впалые щеки аскета. Наткнувшись на «аскета», Мартин с улыбкой вспомнил свою бесшабашную юность. Среди женщин, которых он теперь встречал, нередко то одна, то другая устремляла на него взгляд оценивающий, благосклонный. Он смеялся про себя. Вспоминал предостережение Бриссендена и опять смеялся. Что-что, а женщинам его не погубить. Это все в прошлом.

Однажды Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, и она перехватила взгляд, который бросила на него хорошо одетая красивая дама. Взгляд задержался чуть дольше, был несколько внимательней, чем полагается, Лиззи поняла, что он означает, вся гневно напряглась. Мартин заметил это, заметил и причину и сказал, что уже привык к таким взглядам, на него это вовсе не действует.

– Должно действовать, – сказала Лиззи, глядя на него горящими глазами. – Больной ты, потому и не действует.

– В жизни не был здоровее. В весе и то прибавил, целых пять фунтов.

– Ты не телом больной. С головой неладно. Как-то не так у тебя шарики крутятся. Даже мне видать, а кто я такая.

Мартин задумался, молча шел с ней рядом.

– Я бы все отдала, чтоб это у тебя прошло, – вырвалось у Лиззи. – На такого мужчину да не действует, когда женщина эдак поглядит. Куда это годится. На хлипкого какого не действует, это еще ладно. А ты ж не из таких. Убей меня бог, Мартин, пускай хоть какая тебя растормошит, я все одно порадуюсь.

Мартин довел Лиззи до дверей вечерней школы и вернулся в «Метрополь».

У себя в номере он опустился в глубокое кресло, и сидел и смотрел в одну точку. Не задремал он. И ни о чем не думал. В голове не было ни мыслей, ни воспоминаний, лишь изредка перед закрытыми глазами всплывали незванные картины прошлого, отчетливые, красочные, лучезарные, Мартин видел их будто не осознанно, как во сне. Но он не спал. В какую-то минуту встряхнулся, посмотрел на часы. Ровно восемь. Дел никаких, а ложиться спать слишком рано. И опять в голове ни мыслей, ни воспоминаний, а перед закрытыми глазами появляются и исчезают

картины. Станные картины. Все какая-то листва, и ветви, похоже, кустарника, и все насквозь пронизано солнечными лучами.

Очнулся он от стука в дверь. Он не спал и сразу решил: стучат, значит, телеграмма, или письмо, или может, горничная принесла белье из прачечной. Он подумал о Джо: где-то его теперь носит. И отозвался машинально:

– Войдите.

Все еще занятый мыслями о Джо, он не обернулся к двери. Услыхал, как ее тихонько притворили. Надолго воцарилась тишина. Он забыл про стук в дверь, сидел, тупо уставясь в одну точку, и вдруг услышал женское рыдание. Невольный, судорожный, подавленный, придушенный всхлип. Все это Мартин мысленно отметил, пока оборачивался. Миг – и он вскочил.

– Руфь! – вымолвил он пораженный, не веря глазам.

Она была страшно бледная, вся как натянутая струна. Стояла у самой двери, одной рукой держалась за косяк, другая прижата к груди. Потом жалобно протянула руки и шагнула навстречу Мартину. Он взял ее за руки, повел к креслу, и при этом заметил

– они холодные как лед. Придвинул другое кресло, сел на широкий подлокотник. Он был растерян, не мог вымолвить ни слова. Ведь он не сомневался, что между ними все кончено бесповоротно. И теперь чувство было примерно такое же, как если бы прачечная гостиницы в Горячих ключах вдруг наводнила гостиницу «Метрополь» грязным бельем за целую неделю и ему надо было сейчас же все это перестирать. Несколько раз хотел он заговорить и всякий раз не решался.

– Никто не знает, что я здесь, – еле слышно сказала Руфь и очаровательно улыбнулась.

– Что ты сказала? – переспросил Мартин. Звук собственного голоса удивил его. Руфь повторила.

– А-а, – только и ответил он и помедлил, не находя слов.

– Я видела, как ты вернулся, и несколько минут выждала.

– А-а, – опять сказал Мартин.

Никогда еще ему так не изменял дар речи. В голове ни единой мысли. Он чувствовал себя тупым и неловким, но, хоть убей, не знал, что сказать. Да было бы легче, если бы сюда вторглась прачечная Горячих ключей. Он бы просто засучил рукава и принялся за работу.

– А потом ты вошла, – сказал он наконец. Она кивнула не без лукавства и чуть распустила шарф на шее.

– Сначала я увидела тебя на другой стороне улицы с той девушкой.

– А, да, – просто сказал Мартин. – Я провожал ее в вечернюю школу.

– Так что же, ты мне не рад? – спросила Руфь после нового короткого молчания.

– Да, да, – поспешно ответил Мартин. – Но ведь это неосторожно, что ты пришла сюда?

– Я проскользнула незаметно. Никто не знает; что я здесь. Я очень хотела тебя видеть. Я пришла сказать тебе, что была ужасно глупая. Я пришла, потому что больше не могу без тебя, потому что сердце рвалось к тебе, потому что... потому что очень хотела прийти.

Она встала с кресла и подошла к нему. Часто дыша, положила руки ему на плечо, еще миг – и прильнула к нему, а Мартин по неизменной своей доброте и снисходительности вовсе не желал ее обидеть, он понимал, что оттолкнуть ее, когда она вот так рванулась к нему, – значит жестоко ее оскорбить, ибо нет для женщины обиды горше, и он обнял Руфь и прижал к себе. Но не было жара в этом объятии, не было нежности. Она прижалась к нему, вот он ее и обнял, только и всего. Руфь прильнула к нему, а потом потянулась, обхватила руками его шею. Но его не обдало жаром, лишь было неловко и неудобно.

– Почему ты так дрожишь? – спросил он. – Тебе холодно? Зажечь камин?

Он хотел высвободиться, но она крепче прижалась к нему, ее трясло.

– Это просто нервы, – стуча зубами, сказала она. – Сейчас возьму себя в руки. Ну вот, мне уже лучше.

Дрожь понемногу утихла. Мартин все держал Руфь в объятиях, но недоумевать перестал. Теперь он знал, зачем она пришла.

– Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, – объявила Руфь.

– Чарли Хэпгуд? Это тот, который всегда изрекает прописные истины? – тяжело вздохнув, сказал Мартин. Потом прибавил: – А теперь, я полагаю, твоя мамаша хочет, чтобы ты вышла за меня.

Это был не вопрос. Мартин сказал это вполне уверенно, и у него перед глазами заплясали ряды цифр – его гонорары.

– Возражать она не станет, я знаю, – сказала Руфь.

– Она считает, что я подходящий для тебя муж?

Руфь кивнула.

– А ведь теперь я в точности такой же, как был, когда она разорвала нашу помолвку, – вслух размышлял Мартин. – Я совсем не изменился. Я тот же самый Мартин Иден, даже стал хуже – я теперь курю. Ты разве не чувствуешь, как от меня несет табаком? В ответ Руфь прижала к его губам пальчики – очень мило, игриво, в ожидании поцелуя, которым Мартин, бывало, отзывался на это. Но нежного поцелуя не последовало. Мартин подождал, пока она отняла пальчики, и продолжал:

– Я остался каким был. Я не устроился на службу. И не ищу службу. Больше того, и не собираюсь искать. И по-прежнему убежден, что Герберт Спенсер великий, благородный человек, а судья Блаунт непроходимо глуп. Я на днях у него обедал, лишний раз убедился.

– Но ты не принял папино приглашение, – упрекнула Руфь.

– Значит, тебе это известно! Кто его послал? Твоя мамаша?

Руфь молчала.

– Значит, и вправду она его подслала. Так я и думал. А теперь, надо полагать, она послала тебя?

– Никто не знает, что я здесь, – запротестовала Руфь. – Ты думаешь, мама бы мне разрешила?

– Выйти за меня замуж она тебе разрешила, это уж наверняка.

– О, Мартин, зачем ты такой жестокий! – вскричала Руфь. – Ты даже ни разу меня не поцеловал. Ты как каменный. Подумай, на что я решилась! – Вздрогнув, она огляделась по сторонам, хотя во взгляде ее сквозило и любопытство. – Подумай только, куда я пришла.

«Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас!» – зазвучали в ушах у Мартина слова Лиззи.

– Почему ты не решилась на это раньше? – резко спросил он. – Когда у меня не было работы? Когда я голодал? Когда я был тот же, что теперь, – как человек, как художник, тот же самый Мартин Иден? Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней, – это не только тебя касается, но всех и каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали очень высоко ценить и приходится все время напоминать себе, что я – прежний. Та же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на руках и на ногах. Я тот же самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та же. Я не додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как личность я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А теперь чего ради я им вдруг понадобился, вот что непостижимо. Сам по себе я им наверняка не нужен, ведь я все такой же, как прежде, когда не был им нужен. Значит, я нужен им из-за чего-то еще, из-за чего-то, что вне меня, из-за того, что не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание – вовсе не я. Оно обитает в чужих умах. И

еще я всем нужен из-за денег, которые заработал и зарабатываю. Но и деньги – не я. Они есть и в банках и в карманах первого встречного. Так что же, из-за этого я тебе теперь понадобился – из-за признания и денег?

– Ты разбиваешь мне сердце, – сквозь слезы вымолвила Руфь. – Ты ведь знаешь, я люблю тебя, и я здесь оттого, что люблю тебя.

– Боюсь, ты не уловила мою мысль, – мягко сказал Мартин. – Я о чем говорю: если ты меня любишь, как же это получилось, что теперь ты любишь меня гораздо сильнее, чем прежде, когда твоей любви хватило лишь на то, чтобы мне отказать?

– Забудь и прости, – воскликнула Руфь. – Помни лишь, что я все время любила тебя! И теперь я здесь с тобой.

– Боюсь, я расчетливый купец, глаз не спускаю с весов, стараюсь взвесить твою любовь и понять, что она такое.

Руфь высвободилась из рук Мартина, выпрямилась, посмотрела на него долгим испытующим взглядом. Хотела было заговорить, но заколебалась и передумала.

– Понимаешь, мне вот так это представляется, – продолжал Мартин. – Когда я был совершенно такой же, как теперь, никто, кроме людей из моего прежнего окружения, ни в грош меня не ставил. Когда все мои книги были уже написаны, никто из тех, кто читал рукописи, ни в грош их не ставил. В сущности, сочинительство даже роняло меня в их глазах.словно это занятие если не вовсе позорное, то предосудительное. Все и каждый твердили: «Иди работать».

Руфь знаком показала, что не согласна.

– Да-да, все, кроме тебя, – сказал Мартин, – ты называла это «добиться положения в обществе». Простое слово «работа», как многое из написанного мною, тебя оскорбляет. Звучит слишком грубо. Но поверь, было не меньшей грубостью, когда все вокруг поучали меня, как лодыря без стыда и совести. Но не будем отвлекаться. Меня напечатали, публика меня заметила, и от этого твоя любовь совершенно преобразилась. За Мартина Идена, чья работа была уже сделана, чьи книги были уже написаны, ты выходить не хотела. Твоя любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы ты стала его женой. А теперь она достаточно сильна, и я поневоле делаю вывод: любовь твоя стала сильнее оттого, что меня напечатали и публика меня заметила. О гонорарах не упоминаю, ты о них, пожалуй, не думала, но, уж конечно, твои родители стали относиться ко мне по-другому в том числе и из-за них. Все это, разумеется, не лестно для меня. Но, что еще хуже, заставляет меня усомниться в Любви, в таинстве любви. Неужто любовь так примитивна и вульгарна, что должна питаться внешним успехом и признанием толпы? Похоже на то. Я сидел и думал об этом, пока у меня голова не пошла кругом.

– Бедная, дорогая моя голова. – Руфь подняла руку, ласково провела по волосам Мартина. – Пусть больше не идет кругом. Попробуем начать сначала. Я все время тебя любила. Да, конечно, я оказалась слабой, подчинилась маме. Мне не следовало так поступать. Но ведь ты так часто и с такой снисходительностью говорил о человеческих слабостях и заблуждениях. Будь снисходителен и ко мне. Я ошиблась. Прости меня.

– Да простил я, – нетерпеливо сказал Мартин. – Когда, в сущности, нечего прощать, простить легко. Ты не сделала ничего такого, что требует прощения. Каждый поступает как умеет, большего не дано. С таким же успехом я могу просить у тебя прощения за то, что не шел работать.

353

– Я желала тебе добра, – горячо заверила Руфь, – Ты же знаешь. Как я могла любить тебя и не желать тебе добра.

– Верно. Но, желая мне добра, ты бы меня загубила. Да, да, – отмел он ее попытку возразить. – Ты загубила бы меня как писателя, загубила бы дело моей жизни. Я по природе

своей реалист, а буржуазии по самой ее сути реализм ненавистен. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И ты всячески внушала мне страх перед жизнью. Ты бы ограничила меня рамками приличий, загнала бы меня в закуток жизни, где все жизненные ценности искажены, фальшивы, опошлены. – Руфь опять хотела было возразить. – Пошлость – да, именно так, махровая пошлость – это основа буржуазной утонченности и культуры. Повторяю, ты хотела ограничить меня рамками приличий, сделать из меня такого же буржуа, с вашими классовыми идеалами, классовыми понятиями и классовыми предрассудками, – Мартин невесело покачал головой.

– Ты даже сейчас не понимаешь, о чем я говорю. Тебе кажется, все это просто мое воображение. А для меня это сама правда жизни. В лучшем случае тебя немножко озадачивает и забавляет, как это неотесанный парень, едва выбравшись из трясины невежества, берется судить о твоём сословии и называет его пошлым.

Руфь устало опустила голову к нему на плечо, и по телу ее опять прошла нервная дрожь. Мартин подождал, не заговорит ли она, потом продолжал.

– Тебе теперь нужно возродить нашу любовь. Нужно, чтобы мы поженились. Нужен я. Но слушай... если бы мои книги остались незамеченными, я все равно был бы таким, какой я есть. А ты бы сторонилась меня. И все из-за этих чертовых книг...

– Не ругайся, – прервала Руфь. От ее упрека Мартин опешил. Он горько рассмеялся.

– Вот-вот, решающая минута, на карту поставлено, как тебе кажется, все твоё счастье, а ты по-прежнему боишься жизни... боишься жизни и крепкого словца.

Уязвленная его словами, она поняла нелепость своего упрека и все же решила, что он уж слишком преувеличивает, и обиделась. Они долго сидели молча, Руфь совсем приуныла, а Мартин размышлял об ушедшей своей любви. Теперь он знал, что настоящей любви не было. Он любил Руфь своей мечты, небесное создание, которое сам же и сотворил, светлую, сияющую музу своих стихов о любви. Подлинную Руфь, маленькую буржуазку, со всеми присущими ее среде недостатками и с безнадежно ограниченной истинно буржуазной психологией, он никогда не любил.

Она вдруг заговорила.

– Да, многое из того, что ты сказал, правда. Я боялась жизни. Я недостаточно тебя любила. Я научилась любить лучше. Я люблю тебя за то, какой ты есть, и каким был, даже за то, как ты сумел стать таким. Люблю за то, чем ты непохож на всех, кого называешь моим классом, за твои убеждения, я их не понимаю, но непременно сумею понять. Всеми силами постараюсь – и пойму. И даже то, что ты куришь и ругаешься – это часть тебя, и я полюблю в тебе и это. Я еще могу научиться. За последние десять минут я многому научилась. Ведь вот я осмелилась прийти сюда, это знак, что чему-то я уже научилась. Ох, Мартин... Она расплакалась и прильнула к нему.

Впервые он обнял ее с нежностью и сочувствием, и лицо ее просветлело, она благодарно прижалась к нему еще теснее.

– Слишком поздно, – сказал он. Ему вспомнились слова Лиззи. – Я болен... нет-нет, не телом. Больна душа, мозг. Как будто все потеряло для меня цену. Все стало безразлично. Будь ты такая несколько месяцев назад, все, пожалуй, было бы иначе. Теперь слишком поздно.

– Нет, не поздно! – воскликнула Руфь. – Вот увидишь. Я докажу тебе, что моя любовь выросла, она для меня больше, чем этот мой класс и все, что мне дорого. Я отброшу все, чем дорожат буржуа. Я больше не боюсь жизни. Я оставлю отца и мать, и пусть у моих друзей мое имя станет притчей во языцех. Я останусь с тобой, прямо сейчас, и, если захочешь, пусть это будет свободная любовь, и я буду горда и счастлива, что я с тобой. Раньше я предала любовь, но теперь ради любви я предаю все, что толкнуло меня на ту прежнюю измену.

Она стояла перед ним, глаза ее сияли.

– Я жду, Мартин, – прошептала она, – жду твоего согласия. Посмотри на меня!

Великолепно, подумал он, глядя на Руфь. Она искупила все свои слабости, восстала наконец, как истая женщина, презрела железные правила буржуазных условностей. Великолепно, блистательно, безрассудно. Но что же это с ним? Ее смелость не восхитила его, не взволновала. Только умом понимает он, как это блистательно, великолепно. Ему бы загореться, а он холодно оценивает ее. Сердце молчит. И нет ни тени желания. Опять вспомнились слова Лиззи.

– Я болен, очень болен, – Мартин безнадежно покачал головой. – Только теперь и понял, как я болен. Что-то ушло из меня. Я никогда не боялся жизни, но у меня и в мыслях не было, что я могу ею пресытиться. А теперь я сыт по горло и ничего больше не хочу. Если бы я еще мог чего-то хотеть, я сейчас пожелал бы тебя. Сама видишь, как я болен!

Мартин откинул голову и закрыл глаза; и как плачущий, ребенок забывает о своем горе, заглядевшись на солнечный свет, проникший сквозь мокрые от слез ресницы, так и Мартин забыл о своей болезни, о Руфи, обо всем, глядя, как сквозь густую массу зелени пробивается жаркий солнечный свет и слепящими лучами льется, под опущенные веки. Она не приносит покоя, эта зеленая листва. Слишком резок, слишком ярок солнечный свет. Смотреть больно, а он все смотрит, сам не зная почему.

Он очнулся от стука дверной ручки. Руфь стояла у двери.

– Как мне отсюда выйти? – спросила она со слезами в голосе. – Я боюсь.

– Ох, прости, – Мартин вскочил. – Видишь, я сам не свой. Я и забыл, что ты здесь. – Он прижал руку ко лбу. – Понимаешь, я не в себе. Сейчас провожу тебя домой. Выйдем черным ходом. Никто нас не увидит. Опустит вуаль, и все обойдется.

Крепко держа его под руку, шла она по тускло освещенным коридорам, спускалась по узкой лестнице.

– Теперь я в безопасности, – сказала Руфь, едва они вышли на улицу, и хотела отнять руку.

– Нет-нет, я провожу тебя до дому, – отозвался Мартин.

– Нет, пожалуйста, не надо, – возразила она. – Это совершенно лишнее.

Опять она попыталась высвободить руку. Мартина взяло любопытство. Сейчас когда ничто ей не грозит, она боится. Панически хочет отделаться от него. Но ведь теперь ей бояться нечего, должно быть, это просто нервы. И Мартин удержал ее руку и пошел вместе с ней. Они прошли с полквартиры, и вдруг впереди какой-то человек в длинном пальто отпрянул в подъезд. Проходя мимо, Мартин мельком заглянул в подъезд и, несмотря на поднятый воротник, узнал брата Руфи, Нормана.

По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была оглушена случившимся. Он – равнодушен. Он упомянул, что уезжает, возвращается в Южные моря, а она попросила прощенья за то, что пришла. Вот и все разговоры. У ее подъезда они чинно распрощались. Пожали друг другу руки, пожелали доброй ночи, Мартин приподнял шляпу. Дверь захлопнулась, Мартин закурил и повернул обратно, к гостинице. Проходя мимо подъезда, в котором прежде укрылся Норман, Мартин остановился и в раздумье заглянул туда.

– Она лгала, – сказал он вслух. – Старалась внушить мне, что поступила безрассудно смело, а сама знала, что брат, который ее привел, ждет, чтобы проводить ее обратно. – Мартин расхохотался. – Ох, уж эти буржуа! Когда у меня не было ни гроша, я, видите ли, недостойн был показаться рядом с его сестрой. А когда у меня завелся счет в банке, он сам приводит ее ко мне.

Мартин повернулся на каблуках, двинулся было дальше, и тут бродяга, идущий в ту же сторону, окликнул его мимоходом:

– Слышь, мистер, может, дашь четвертак на ночлег?

Не слова, а голос заставил Мартина круто обернуться. Миг

– и он уже стискивал руку Джо.

– Не забыл, как мы с тобой распрощались в Горячих ключах?

– говорил Джо. – Я тогда сказал, мы, мол, еще встретимся. Прямо чуял. И вот нате.

– А ты молодцом, – любуясь им, сказал Мартин. – И раздобыл.

– Ну ясно, – Джо так и сиял. – Покуда не пошел бродяжить, знать не знал настоящей-то жизни. Тридцать фунтов поднабрал и чувствую себя лучше некуда. В те-то дни я как вол работал, стал кожа да кости. А вот бродяжить – это по мне.

– Да, но на ночлег у тебя денег нет, – проворчал Мартин, – а ночь холодная.

– Чего? На ночлег нету? – Джо сунул руку в карман штанов и вытащил горсть мелочи. – Спину гнувши столько не заработаешь, – ликовал Джо, – Больно ты шикарный, вот я к тебе и подъехал.

Мартин со смехом сдался.

– У тебя тут не на один стаканчик, – намекнул он.

Джо ссыпал деньги в карман.

– Не пойдет, – объявил он. – С выпивкой покончил, не из-за чего такого, просто сам не желаю. Мы как с тобой расстались, я раз только и накачался, и то промашка вышла, потому на голодное брюхо. Я когда работаю зверски, так и пью зверски. А живу как человек, стало быть, и пью как человек – опрокину стаканчик, если есть охота, и крышка.

Мартин сговорился на завтра с ним увидеться и пошел в гостиницу. Задержался у конторки портье, посмотрел расписание пароходов. Через пять дней на Таити отходила «Марипоза».

– Позвоните завтра и закажите мне отдельную каюту, – сказал он портье. – Не на палубе, а внизу, с наветренной стороны, с левого борта, запомните, с левого борта! Запишите-ка лучше.

У себя в номере он тотчас лег в постель и уснул сном младенца. Все, что произошло в этот вечер, не затронуло душу. Душа ко всему оставалась глуха. Мимолетна была и радость от встречи с Джо. Уже через минуту и сам Джо, и необходимость вести с ним разговор стали ему тягостны. Ничего не значило и предстоящее через пять дней отплытие к любимым Южным морям. Итак, Мартин закрыл глаза и спокойно, безмятежно проспал восемь часов. Ничто не тревожило его сон. Он не ворочался, спал без сновидений. Уснуть – значило забыться и, просыпаясь по утрам, он просыпался нехотя. Жизнь надоела и постыла, и неизвестно было, как убить время.

– Послушай, Джо, – так он встретил наутро своего прежнего напарника, – тут на Двадцать восьмой улице есть один француз, он накопил кучу денег и возвращается во Францию. У него маленькая, но шикарная, хорошо оборудованная паровая прачечная. Если хочешь остепениться, это в самый раз для начала. На-ка возьми, приоденься на это и к десяти часам будь в конторе вот у этого человека. Он по моей просьбе подыскал прачечную, он тебя отведет туда и все покажет. Если она тебе понравится и ты решишь, что она стоит этих денег – двенадцати тысяч, скажешь мне, и она твоя. А теперь шагай. Я занят. Увидимся позднее.

– Ну вот что, Март, – медленно, распаясь, – сказал Джо. – Я нынче утром пришел свидеться с тобой. Ясно? Ни за какой не за прачечной я пришел. Пришел покалякать, для ради старой дружбы, а ты мне тычешь в рожу какую-то прачечную. Так вот что я тебе скажу, катись ты со своей прачечной ко всем чертям!

Джо ринулся было вон из комнаты, но Мартин схватил его за плечо и повернул к себе.

– Ну вот что, Джо, – сказал он, – за такие штуки я сейчас дам тебе по башке! Да еще как дам, ради старой-то дружбы. Ясно?.. Ну, будешь дурить, будешь?

Джо оказался в клинче и, извиваясь, корчась, пытался высвободиться. Крепко обхватив друг друга, они закружились по комнате и с треском повалились на обломки, только что бывшие креслом. Джо был повержен, руки раскинуты и прижаты к полу, колено Мартина придавило ему грудь. Когда Мартин отпустил его, он тяжело дышал и ловил ртом воздух.

– Теперь слушай, – сказал Мартин. – И нечего со мной лаяться. Я хочу первым делом покончить с прачечной. А потом придешь и потолкуем ради старой дружбы. Говорю тебе, я занят. Погляди. Горничная как раз принесла утреннюю почту – гору писем и журналов.

– Как я буду разбираться во всем этом и толковать с тобой? Ты пойди сообрази насчет прачечной, а потом посидим.

– Ладно, – нехотя согласился Джо. – Я-то думал, ты хочешь от меня отделаться, ну, видать, ошибся. А только в открытом бою тебе меня не одолеть, Март. Я тебя запросто достану, у меня рука подлинней.

– Что ж, как-нибудь наденем перчатки и поглядим, – с улыбкой сказал Мартин.

– А как же. Дай только запущу прачечную. – Джо вытянул руку. – Видал, какой размах? Ты у меня покувыркаешься.

Когда дверь за Джо затворилась, Мартин вздохнул с облегчением. Он стал бирюком. День ото дня тяжелей становилось вести себя с людьми по-людски. Со всеми было не по себе, чтобы разговаривать, приходилось делать над собой усилие, и это злило. Все ему досаждали, и, едва с кем-либо встретясь, он уже искал предлога, чтобы отвязаться от человека.

Когда Джо ушел, Мартин не набросился на почту, как бывало, с полчаса он сидел, лениво развываясь в кресле, ничего не делал, и лишь изредка смутные, недодуманные мысли проходили в его сознании, вернее, эти мысли и составляли его вяло пульсирующее сознание.

Потом он очнулся и стал просматривать почту. Там был десяток писем с просьбой об автографе – Мартин узнавал их с первого взгляда; были письма охотников до подачек; и еще послания разных маньяков, начиная от чудака, который изобрел действующую модель вечного двигателя, и другого, который доказывал, что земная поверхность это внутренняя сторона поллой сферы, и до человека, просившего поддержать его деньгами, чтобы купить нижнекалифорнийский полуостров и обратить его в коммунистическую колонию. Были письма от женщин, жаждущих познакомиться с Мартином, и одно такое письмо вызвало у него улыбку: к нему была приложена квитанция на оплату постоянного места в церкви, корреспондентка

приложила ее в знак того, что она женщина добропорядочная, в подтверждение своей респектабельности.

Редакторы и издатели тоже внесли свою каждодневную лепту; первые осаждали его мольбами о рассказах, вторые— мольбами о книгах, о его злосчастных рукописях, которыми раньше пренебрегали, и тогда, чтобы снова отправлять их по редакциям, он на долгие безотрадные месяцы отдавая в заклад все свои пожитки. Пришли неожиданные чеки за право публикации в английской периодике и авансы за переводы на иностранные языки. Английский агент Мартина писал, что продал права на перевод трех его книг немецким издателям, и сообщал, что уже поступили в продажу переводы на шведский, за что автору не причитается ни гроша, так как Швеция не участвует в Бернской конвенции. Была здесь и просьба разрешить его перевод на русский, пустая формальность, так как Россия тоже не подписывала Бернскую конвенцию.

Потом Мартин обратился к объемистой пачке вырезок, которую прислали из бюро вырезок, и почитал, что пишут о нем и о его популярности, вернее, уже о громкой славе. Все, что им создано, было кинуто публике сразу, одним щедрым взмахом. Пожалуй, отсюда и весь шум. Публика восторгается им, как восторгалась Кипплингом в ту пору, когда тот лежал на смертном одре, — вся чернь, движимая все тем же стадным чувством, вдруг схватилась его читать. Мартин помнил, как, прочитав Кипплинга, наградив бурными аплодисментами и ни черта в нем не поняв, все та же чернь несколько месяцев спустя вдруг набросилась на него и втоптала в грязь. При этой мысли Мартин усмехнулся. Кто знает, может, через несколько месяцев так же обойдутся и с ним — почему бы нет? Ну, нет, он одурачит всю эту чернь. Он будет далеко, в Южных морях, будет строить свой тростниковый дворец, торговать жемчугом и копррой, носиться по волнам на хрупких катамаранах, ловить акул и скумбрию, охотиться на диких коз среди утесов по соседству с Долиной Тайохае.

Так думал Мартин и вдруг понял: нет, безнадежно. Со всей ясностью он увидел, что вступил в Долину теней. Все, что было в нем живо, блекнет, гаснет, отмирает. До сознания дошло, как много он теперь спит и как все время хочет спать. Прежде сон был ему ненавистен. Сон отнимал драгоценные мгновения жизни. Четыре часа сна в сутки— значит, четыре часа украдены у жизни. Как его злило, что не спать нельзя. А теперь его злит жизнь. Она потеряла вкус, в ней не стало остроты, она отдает горечью. И это — гибель. Кто не стремится жить, тот на пути к концу. Слабый инстинкт самосохранения шевельнулся в Мартине, и он понял, надо отсюда вырваться. Оглядел комнату— придется укладывать вещи, даже подумать тошно. Лучше, наверно, заняться этим в последнюю очередь. А пока можно позаботиться о снаряжении.

Он надел шляпу, вышел и до полудня коротал время в охотничьем магазине, покупая автоматические винтовки, патроны и всякую рыболовную снасть. Спрос в торговле изменчив, и он выпишет товары, только когда приедет на Таити и узнает, что сейчас в ходу. А можно чтобы их доставили из Австралии. На том он с удовольствием и порешил. Незачем сразу же что-то делать, ведь что-либо делать сейчас неприятно. Довольный, он возвращался в гостиницу, предвкушая, как усядется в удобное глубокое кресло, и, войдя в номер, внутренне застонал — в кресле сидел Джо.

Джо был в восторге от прачечной. Все договорено, и завтра он вступит во владение. Мартин лег на кровать и закрыл глаза, а Джо все говорил свое. Мысли Мартина уносились далеко, так далеко, что минутами он не отдавал себе в них отчета. Лишь изредка он через силу что-то отвечал старому приятелю. А ведь это Джо, славный малый, которого он всегда любил. Но Джо слишком полон жизни. Его громогласное жизнелюбие отзывалось болью в душе Мартина, мучительно бредило усталые чувства. И когда Джо напомнил, что они собирались надеть боксерские перчатки и помериться силами, Мартин чуть не взвыл.

– Смотри, Джо, заведи в своей прачечной такие правила, какие придумал тогда в Горячих ключах, – сказал Мартин. – Чтоб без сверхурочной работы. И без ночной... У катков никаких детей. Детей вообще на работу не ставь. И платить по справедливости.

Джо кивнул, вытащил записную книжку.

– Вот гляди. Я перед завтраком сидел над этими правилами. Чего про них скажешь?

Он прочел их вслух, и Мартин одобрил их, с досадой при этом думая, когда же Джо наконец уйдет.

Под вечер Мартин проснулся. Медленно пришел в себя. Оглядел комнату. Видно, когда он задремал, Джо тихонько ускользнул. Очень мило с его стороны, подумал Мартин. Закрыв глаза и опять уснул.

В последующие дни Джо был поглощен хлопотами в своей новой прачечной и не слишком ему докучал; а газеты сообщили, что Мартин взял билет на «Марипозу», только накануне отплытия. Однажды в нем затрепыхался инстинкт самосохранения, он пошел к врачу, и тот тщательно его обследовал. Все оказалось в полном порядке. Сердце и легкие просто великолепные. Насколько мог судить доктор, все органы были в норме и работали нормально.

– Вы здоровы, мистер Иден, – сказал доктор, – совершенно здоровы. Вы в прекрасной форме. Признаюсь, я завидую вашему организму. Здоровье превосходное. Какова грудная клетка! В ней и в вашем желудке секрет вашего замечательного здоровья. Такой крепыш – один на тысячу... на десять тысяч, Если не вмешается какой-нибудь несчастный случай, вы проживете до ста лет.

И Мартин понял, что Лиззи правильно поставила диагноз. Тело у него в порядке. Неладно с «мыслительной машинкой», и тут одно лечение – отправиться в Южные моря. Но вот беда, сейчас, накануне отплытия, у него пропала охота пускаться в путь. Южные моря пленяли не больше, чем буржуазная цивилизация. Предстоящее отплытие не радовало, а мысль о физических усилиях, которые тут потребуются, ужасала. Окажись он уже на борту, ему бы полегчало.

Последний день был тяжким испытанием для Мартина. Прочитав в утренних газетах о его отъезде, Бернард Хиггинботем с Гертрудой и всем семейством явились прощаться, пришли и Герман Шмидт с Мэриан. Да еще надо было закончить какие-то дела, оплатить счета, вытерпеть бесконечную череду репортеров. С Лиззи Конноли он наскоро простился у дверей вечерней школы и поспешил прочь. В гостинице он застал Джо – тот весь день был занят в прачечной и только теперь сумел вырваться. Это была последняя капля, но Мартин вцепился в ручки кресла и с полчаса разговаривал со старым приятелем и слушал его.

– Ты не привязан к этой прачечной, Джо, так и. знай. Никаких таких обязательств у тебя нет. Можешь в любую минуту ее продать, а деньги растратировать. Как только она тебе опротивеет и захочется побродяжить, бросай все и шагай. Живи как душе угодно.

Джо только головой покачал.

– Нет уж, спасибо, Март, я свое отшагал. Бродяжить хорошо, да есть одна загвоздка – девчонки. Таким уж я уродился, люблю девчонок. Без женского полу тоска заедает, а пошел бродяжить, хочешь не хочешь обходишься без них. Бывает, иду мимо дома, а там пляшут, вечеринка, слышно, женщины смеются, в окошко глянешь – они в белых платьях, лица улыбочивые – ух-ты! И таково тошно делается. Больно я люблю плясать да пикники, да гулять при луне, и все такое. Я от прачечной не отступлюсь, чтоб и вид приличный, и в кармане чтоб денежки звенели. Я уж углядел девчонку, как раз вчера, и знаешь, я с ней хоть сейчас под венец. Вот хожу целый день посвистываю, все она у меня на уме. Красотка, глаза добрые, голосок нежный – другой такой отродясь не встречал. Я от нее не отступлюсь, будь уверен. Слышь, Март, а ты чего не женишься, с такими-то деньжищами? Мог бы взять за себя самую что ни на

есть раскрасавицу.

Мартин с улыбкой покачал головой, а сам подумал, чего ради кого-то тянет жениться. Удивительно это и непостижимо.

В час отплытия он увидел с палубы «Марипозы», как за толпой провожающих прячется Лиззи Конноли. "Возьми ее с собой,

– мелькнула мысль. – Так легко быть добрым. Она будет бесконечно счастлива". На миг им завладело искушение, но в следующую же минуту он ужаснулся. Паника охватила его. Усталая душа громко протестовала. Застонав, Мартин отошел от поручней. «Ты слишком болен, приятель, слишком болен», – пробормотал он.

Он сбежал в свою каюту и укрывался там, пока пароход не вышел из гавани. За обедом в кают-компании оказалось, ему предоставлено почетное место, по правую руку от капитана; по всему было видно, что на пароходе он знаменитость. Но никогда еще окружающим не встречалась такая нелюдимая знаменитость. Всю вторую половину дня Мартин провел на палубе в шезлонге, закрыв глаза, урывками дремал, а вечером рано лег спать.

На другой день, оправясь от морской болезни, все пассажиры высыпали на палубу, и чем больше народу видел Мартин, тем сильнее в нем росла неприязнь. И однако он понимал, что несправедлив. Это неплохие и добрые люди, заставлял он себя признать, но тут же уточнял: неплохие и добрые как все буржуа, со всей присущей их сословию духовной ограниченностью и скудоумием. Когда они заговаривали с ним, его одолевала скука, такими поверхностными, пустопорожними были их рассуждения; а шумная веселость и чрезмерное оживление тех, кто помоложе, отпугивали его. Молодежь неугомонно развлекалась: играли в серсо, набрасывали кольца, прогуливались по палубе, или с громкими криками кидались к борту смотреть на прыжки дельфинов и на первые косяки летучих рыб.

Мартин много спал. После завтрака усаживался в шезлонг с журналом и все не мог его дочитать. Печатные страницы утомляли. Он недоумевал, откуда берется столько всего, о чем можно писать, и, недоумевая, задремывал. Его будил гонг, возвещающий второй завтрак, и его злило, что надо просыпаться. Бодрствовать было нерадостно.

Однажды он попытался выйти из оцепенения и отправился в кубрик к матросам. Но нет, с той поры, когда он и сам ходил в плавание, матросское племя словно подменили. Тупые лица, неповоротливые мозги, не люди, а какие-то двуногие скоты... Что у него с ними общего? Мартином овладело отчаяние. Тем, кто наверху, Мартин Иден сам по себе вовсе не нужен, а вернуться к своему классу, к тем, кому он был нужен в прошлом, невозможно. Они ему не нужны. Теперь они так же невыносимы, как тупоумные пассажиры первого класса и шумливая молодежь.

Жизнь стала для Мартина – как для больного слишком яркий свет, режущий усталые глаза. В каждую минуту бодрствования жизнь ослепительно сверкала вокруг, обдавала слепящим блеском. От этого было больно, нестерпимо больно. Впервые в жизни плыл Мартин первым классом. В плавании его место всегда было в кубрике, либо у штурвала, либо он грузил уголь в черном чреве угольного трюма. В те дни, взбираясь по железным трапам из душлимого жара корабельных недр, он часто мельком видел пассажиров – в белой прохладной одежде, под тентами, которые защищали их от солнца и ветра, они только и делали, что наслаждались жизнью, а подобострастные стюарды исполняли каждое их желание, каждую прихоть, и Мартину казалось, их жизнь – сущий рай. Ну что ж, вот он знаменитость на корабле, в центре внимания, сидит за столом по правую руку от капитана, и рад бы вернуться назад, в кубрик и в трюм, но тщетны поиски утерянного рая. Нового рая он не обрел, а теперь нет возврата и к старому.

Он силился расшевелить себя и хоть чем-то заинтересоваться. Подошел к столу младших

корабельных чинов и рад был унести ноги. Заговорил со свободным от вахты старшиной-рулевым, неглупым малым, и тот сразу же стал развивать социалистические идеи и всучил Мартину пачку листовок и брошюрок. Мартин слушал человека, разъясняющего ему рабскую мораль, и, слушая, лениво думал о своем ниществе. Но чего она стоит, в конце концов, эта философия Ницше? Вспомнилась одна из безумных идей Ницше— безумец усомнился в самом существовании истины. И как знать? Возможно, Ницше был прав. Возможно, истины нет ни в чем, нет истины и в самой истине и это понятие — истина — просто выдумка. Но он быстро устал размышлять, с удовольствием опять уселся в шезлонг и задремал.

Так маялся он на корабле, а впереди ждала новая маета. Что будет, когда корабль пристанет к Таити? Придется сойти на берег. Придется заказывать товары, искать шхуну, которая доставит его на Маркизы, делать тысячи дел, одна мысль о которых приводит в отчаяние. Всякий раз как он набирался мужества и заставлял себя подумать, он понимал, что стоит на краю гибели. В сущности, он вступает в Долину теней, и, что самое страшное, смерть его не страшит. Если бы он боялся, он устремился бы к жизни. Но он не боится и потому погружается все глубже в царство теней. Все прежние радости уже не радуют. «Марипоза» была теперь на краю северо-восточных пассатов, и пьянящий ветер, налетая, раздражал Мартина. И уклоняясь, от настойчивых ласк друга давних дней и ночей, он переставил шезлонг.

В день, когда «Марипоза» вошла в тропики, Мартину стало совсем невмоготу. Он больше не спал. Он пресытился сном, и теперь волей-неволей приходилось бодрствовать и переносить слепящий свет жизни. Он беспокойно бродил по кораблю. Воздух был липкий и влажный, а налетавший дождь не приносил свежести. Жить было больно. Мартин шагал по палубе, пока это не стало слишком мучительно, тогда он опустил в шезлонг, долго сидел, потом через силу встал и опять принялся шагать взад-вперед. Заставил себя наконец дочитать журнал и отобрал в корабельной библиотеке несколько томиков стихов. Но стихи не увлекли его, и опять он пошел бродить.

После ужина он допоздна оставался на палубе, но это не помогло — когда он спустился к себе в каюту, уснуть не удалось. Привычный способ отдохнуть от жизни ему изменил. Это было уже слишком. Мартин включил свет и попытался читать. Среди взятых в библиотеке книг был томик Суинберна. Мартин лежал и просматривал его и вдруг поймал себя на том, что читает с интересом. Он дочитал строфу, стал было читать дальше и снова вернулся к той же строфе. Потом положил раскрытую книгу на грудь, переплетом вверх, и задумался. Вот оно... то самое! странно, как же он раньше не додумался! Вот в чем весь смысл; все время его сносило в этом направлении, и теперь Суинберн показал, что это и есть верный выход. Ему нужен покой, и покой ждет совсем близко. Мартин посмотрел на открытый иллюминатор. Да, он достаточно широк. Впервые за долгие недели в нем всколыхнулась радость. Наконец-то он знает, как исцелиться от всех недугов. Он опять взял книгу и медленно прочел вслух:

Надежды и тревоги
Прошли, как облака,
Благодарим вас, боги,
Что жить нам не века.
Что ночь за днем настанет,
Что мертвый не восстанет,
Дойдет и в море канет
Усталая река.^[1]

Опять он посмотрел на открытый иллюминатор. Суинберн дал ему ключ. Жизнь – зло, вернее, стала злом. Стала невыносима. «Что мертвым не подняться!» С бесконечной благодарностью повторил он эту строчку. Вот в чем истинное милосердие. Когда мучительно устал, от жизни, смерть готова успокоить тебя, одарить вечным сном. Но зачем ждать? Пора. Он встал, выглянул в иллюминатор, посмотрел на – молочно-белую пену у борта. Тяжело груженная «Марипоза» идет с большой осадкой, и, если повиснуть на руках, ноги окажутся в воде, можно соскользнуть бесшумно. Никто не услышит. Взметнулась водяная пыль, обдала лицо. Он ощутил на губах соленый вкус, это было приятно. Подумалось, не написать ли свою лебединую песнь, но он засмеялся и отмел эту мысль. Некогда. Скорей бы со всем этим покончить.

Выключив свет, чтобы не выдать себя, он полез в иллюминатор ногами вперед. Плечи застряли, и он втиснулся обратно, решил попытаться еще раз, прижав одну руку к боку. Пароход как раз накренился. помог ему, и он проскользнул, повис на руках. Ноги коснулись воды, и Мартин разжал пальцы. И вот он в молочно-белой пене. Темной стеной, лишь кое-где прорезанной освещенными иллюминаторами, пронесся мимо борт «Марипозы». Хорошо идет, быстро, Мартин и оглянуться не успел, как очутился за кормой, спокойно поплыл среди гаснущего шороха пены.

Бониту приманило белеющее тело, она ткнулась в него, и Мартин громко рассмеялся. Она укусила его, боль напомнила, почему он здесь. Пока, выбирался из каюты, забыл, для чего это делает. В отдалении тускнеют огни «Марипозы», а он – вот он, уверенно плывет, словно намерен достичь ближайшей суши, до которой добрая тысяча миль.

То был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но, едва рот оказался под водой, руки сами пришли в движение, рванули его вверх. Воля к жизни, мелькнула мысль, и он презрительно усмехнулся. Что ж, воли ему не занимать, хватит на то, чтобы одним последним усилием разрушить себя и сгинуть.

Он принял вертикальное положение. Глядя вверх, на тихие звезды, выдохнул из легких воздух, быстрым, мощным движением рук и ног по грудь поднялся из воды. И этим прибавив силы для толчка, ушел под воду. Потом расслабился и, не шевелясь, белой статуей стал погружаться. Он нарочно глубоко вдыхал воду, как больной вдыхает наркоз. Но едва его стало душить, руки и ноги невольно заработали и вынесли его на поверхность, под ясный свет звезд. Воля к жизни, с презрением подумал он, напрасно силясь не вдыхать воздух в разрывающиеся легкие. Что ж, придется попробовать по-другому. И он вздохнул, набрал полные легкие воздуха. Этого хватит, чтобы уйти далеко вниз. Перевернулся и, напрягая все свои силы, всю волю, пошел вниз головой вперед. Глубже, глубже. Глаза открыты, и ему виден призрачный, фосфоресцирующий след метнувшихся бонит. Только бы они не кинулись на него, вдруг это сломит напряженную волю. Но рыба стая не кинулась, и у него хватило времени поблагодарить жизнь за эту ее последнюю милость.

Вниз, вниз, ноги и руки уже устали и он еле плывет. Конечно, он уже глубоко. От давления на барабанные перепонки боль и шумит в голове. Становится невыносимо, невтерпез, и все-таки он заставляет руки и ноги вести его вглубь, но наконец воля сломилась и воздух разом вырвался из легких. Пузырьки воздуха, летучими шариками устремляясь вверх, ударялись о щеки, о глаза, скользили по ним. Потом пришла боль, его душило. Это страдание не смерть, билась мысль в меркнущем сознании. Смерть не страдание. Это страшное удушье – жизнь, муки жизни, это последний удар, который наносит ему жизнь.

Упрямые руки и ноги слабо, судорожно задвигались, забили по воде. Но он перехитрил их, перехитрил волю к жизни, что

побуждала их двигаться, биться. Он уже слишком глубоко. Им больше не вынести его на

поверхность. Казалось, его неспешно несет по морю сновидений. Краски и отсветы играют вокруг, омывают его, переполняют. А это что? Кажется, маяк, но он в мозгу – вспыхивает, слепит яркий свет. Белые вспышки чаще, чаще. Долгий гулкий грохот, и Мартину кажется, он катится вниз по громадной, нескончаемой лестнице. И вот он где-то внизу, рухнул во тьму. Это он еще понял. Рухнул во тьму. И в миг, когда осознал это, сознание оборвалось.

notes

Примечание

Перевод Р.Облонской
Оригинал:

"From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be
That no life lives forever;
That dead men rise up never;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea."

См. о переводе стихотворения Суинберна «Сад Прозерпины»